

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2001

9

2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**ДО КОНЦА 2001-ГО И В 2002 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ЕВА ДАТНОВА. Война дворцам (четыре года);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Однодневная война;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);

ВЛ. НОВИКОВ. Высоцкий (главы из книги);

(См. на обороте)

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захолустье (повесть);
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рас-
сказах);**
ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР. Через тридцать семь лет (стихи);
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное по-
вестование);**
РОМАН СЕНЧИН. Нубук (повесть);
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); Рандеву в конце мил-
лениума (эссе);**
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Хмель памяти (рассказы);
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов. Очерки изгнания;**
ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);
ИЛЬЯ ТЮРИН. Из наследия;
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаньч (повесть);
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Форма и структура в искусстве
звука и слова;**
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера (роман);
**ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. Новый язык «нелинейной архи-
тектуры»;**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМО-
ЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ
ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА,
АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ
ШАРГУНОВА;** стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА,
ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ
КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИП-
КИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЕГА
ЧУХОНЦЕВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИ-
КИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМ-
НЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ,
МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчику журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2002 года — 300 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novu Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ — Слово из жизни живой, стихи	7
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Любовь к отеческим гробам, роман	11
ТАТЬЯНА МИЛОВА — ...Я все же договорю, стихи	72
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ — Такая вот любовь, короткие рассказы	75
ТАТЬЯНА БЕК — В километре от рая, стихи	84
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Трикотаж, автоверсия	88
СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ — А песне сносу нет, стихи	118

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ПРУТКОВИАДА. Публикация и предисловие Алексея Смирнова	120
--	-----

ОПЫТЫ

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ — Жизнь как римейк	135
------------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации	144
---	-----

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — О пользе науки	151
----------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ КАПЛАН — Заглянем за стенку. Топография современной русской фантастики	156
--	-----

Борьба за стиль

ЛАРИСА МИЛЛЕР — Чаепитие ангелов	171
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — То, во имя чего	175

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Никита Елисеев. Между Оруэллом и Диккенсом	178
Алексей Машевский. Авангардизм традиционности	185
Евгения Свитнева. Координаты духа, или Дикопись в ритме свинга	189
Дмитрий Дмитриев. Русская литература XX века: разные тексты или гипертекст?	193
Михаил Горелик. Рильке из Магадана	197
Юрий Кублановский. Обнаруженный заговор	200

КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	204
КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА	211
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	213

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДМИТРИЙ ПОСПЕЛОВСКИЙ — По поводу статьи священника Вигилянского	217
--	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	221
Периодика (составитель Андрей Василевский)	224
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА
С 90-ЛЕТИЕМ!**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫДВИНУЛА НА ПРЕМИЮ «ДЕБЮТ»
ПОДБОРКУ РАССКАЗОВ СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА
«УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ» (2001, № 1).**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ

*

СЛОВО ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОЙ

Художник — разрушитель икон

Вихрь одежды евангельской
Или руки молящие,
или краешек нимба оставит,
Лик святой соскоблив, уничтожив.

Он сказал: «Красота разрушенья сильнее
Красоты созиданья...
Прекрасны горящие зданья,
Акт искусства Нерона,
вернее сказать, артефакт,
А икона-руина...
не ближе ли Богу она
Тех, что в храме целехоньки?»
2000.

Крик свињи

Крик свињи убиваемой,
Крик красный,
под ножом вопль животный
С детства запомнился,
в жилы проник, мозг пронзил.

Вышел из хлева мужик,
кровью забрызганный, грязный,
Авель вышел...

Авель, скотник библейский,
скольких скотов ты забил,
Меньших братьев сгубил
Жизнедавцу небесному в жертву?

2001.

Живота некрещеного...
А душа? Неужели спаслась?
С дымом костра унеслась
и блуждает, как дым, и поныне
Где-то там, в океане.
2000.

На мотив Андерсена

Кай, попавший в Лапландию,
в край замороженных гроз,
В ледяные чертоги
и пытаюсь из льдышек мерцающих,
Белых, черных, прозрачных,
слово составить,
Слово из жизни живой.
Что еще ему делать
посреди Красоты ледяной,
Среди глыб угрожающих
и забыв златовласку соседку,
Ласкового пса,
плющом обвитый дом...
2000.



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ

Роман

Когда-то жара была счастьем. Не наслаждением, а именно счастьем. Теперь же какой-то воображаемый контекст давно погас, и жара сделалась просто докукой. Притом опасной — мама... Что за ночь нас ожидает? Мысленно я был уже у стариков и домой направлялся только ополоснуться да переодеться.

С тех пор как в моем доме поселились чужие люди — мои безвременно одряхлевшие дети, — у меня больше нет дома. Родная дочь, благодарные небесам, только делает нам визиты — зато богоданная всегда востренько наблюдает за нами. Поэтому у гробового входа в родное пепелище я постарался принять выражение непроницаемой корректности.

Квартиру в самом центре центра я получил в качестве выдающегося деятеля науки и техники — в своем воззвании к властям Угаров не скупился на эпитеты. Но в пыльной духовке двора только что лопухи не растут, и все невозвратней растворяется в ржавчине «Запорожец» с проломленной крышей — жертва весенней чистки в верхах (такая же глыбища льда взорвалась у моего заднего каблука, когда я — была не была! — проскакивал ледосброс с Двенадцати коллегий, — обдало ледяными брызгами и восторгом). В подъезде теплая прель, разогретый аммиак, фурункулезные стены... Но ущербные ступеньки довольно чистые: новая дворничиха — из бывших. Из образованных. «Юля», — откликается во мне, однако я все равно раскланивался бы с этой увядшей девочкой в бантиках с особенной предупредительностью. На промежуточной площадке бурый наплыв успевшего подернуться корочкой дерьма и одноразовый шприц с нитями крови (разорванная упаковка валяется здесь же). Высшие ценности современной мастурбационной культуры — М-культуры, желающей обслуживать только себя: постижение мира она заменила самовыражением, а деяние — переживанием, которое теперь исхитрились сосать прямо из шприца. Юля, должно быть, тоже прибирает подобные прелести.

Дверной ключ опять отозвался болью: «куч» — выговаривал маленький Митька, и никак не рассечь проклятую связь между умненьким прелестным барсучком и кривляющимся неопрятным боровом. Дверь закрыта на два оборота — значит, запирала Катька. Ее детская старательность обдаёт подобравшуюся душу расслабляющей нежностью. Я уже много лет пытаюсь помогать Катьке в уборке квартиры (богоданная дочь на это время невозмутимо исчезает), но она неизменно отказывается: «Ты же плохо сделаешь». — «Зато не ты». — «Я так не могу». Она не умеет халтурить, ибо от-

Мелихов Александр Мотельевич родился в 1947 году в г. Россошь, детство провел в Казахстане. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Автор пяти книг прозы и многих журнальных и газетных статей. В «Новом мире» опубликовано три романа — «Изгнание из Эдема» (1994, № 1), «Роман с простатитом» (1997, № 4 — 5), «Нам целый мир чужбина» (2000, № 7 — 8), связанные общими персонажами с публикуемым романом. Лауреат премии Союза писателей С.-Петербурга, Петербургского ПЕН-клуба и др. Живет в С.-Петербурге.

вечает за все. «Ты достукаешься — вот не буду завтракать!» — этой угрозой я могу добиться от нее чего угодно. Более слабое средство: «Вот наемся перед обедом бутербродов». Но она и здесь сдается с безнадежным укором: «Мерзкий тип!..» — «То-то же. Смотри у меня».

Теперь я часто люблюсь собаками: они напоминают мне Катьку своим чистосердечием и добросовестностью. В соседнем Михайловском саду я иногда встречаю туристически экипированную маленькую женщину, повелевающую двумя развевающимися колли — молодой и немолодой. Маленькая повелительница сколь есть силенок запускает от лопаток обломок ветки, и собаки летят наперегонки. Если первой успевает старшая, с веткой в зубах она семенит с торжествующей улыбкой к хозяйке. Зато младшая, ухватив добычу, начинает носиться радостными кругами, и старшая мчится рядом с беспомощным лаем. А потом бросается к госпоже и жалобным воем умоляет прекратить наконец это безобразие.

А у меня долго не затихает в груди довольно болезненный спазм нежности: Катька... Она с незапамятных пор любит целовать меня в редяющие волосы и легонько нюхать при этом. Чтобы удовлетворенно кивнуть — не подменили, мол. Или досадливо покрутить носом: шампунем перебил!.. Она и сама находит в себе много общего с собаками, при виде простодушных собачьих морд где-нибудь в рекламе у нее всегда вырывается счастливый смех: уж до того собаки не важничают, не следят за выражением своего лица! Впрочем, обожает она всяческую живность вплоть до боксеров — не только собак, но и людей; с содроганием кося в телеэкран, с полминуты она может выдержать даже удары какого-нибудь Тайсона: «Какие внимательные глаза — прямо умная горилла! Зачем только он ему ухо откусил?..» Для нее и тяжеловесы вроде детей — этот необуздан, этот трусоват, но что с них взять, с мальчишек! Ее приводят в восторг и вкрадчивые повадки тигра, и коротконогая стремительность носорога. При виде грозно скользящих узким проливом ракетноносцев она вдруг может просиять: «Смотри, смотри!» С берега на эскадру надменно взирают две козы — им же и дела нет до мировых конфликтов: смотрят себе как ни в чем не бывало! Когда ворона ни свет ни заря будит ее, терзаемую бессонницей, своим хриплым карканьем, она обращается к ней даже сочувственно, будто к выжившей из ума бабке: ну? чего ты раскричалась, дура?..

Катьку восхищает и длиннолапая пружина гепарда, и точеная мешковатость косули. А когда гепард, скручиваясь и раскручиваясь, — «Все для бега!..» — летит за — «Ну почему она такая медлительная?!» — косуленькой, в роковой миг Катька отворачивается: «Зачем, зачем это показывают?!» Переждав самое ужасное, она осторожно выглядывает из-под ладони и натывается на круглящийся сквозь продранный бок желудок — и содрогается совсем всерьез. И, уже не оберегая свой внутренний мир, потерянно досматривает, как гепард волочет куда-то отгрызенное бедро. «Вот и мы для своих детей тоже на все готовы...» — горестно шепчет она. У Катьки за плечами университет, у ее матери — два класса церковно-приходской школы, но святыни у них общие. Правда, Катька все-таки не предлагает разрывать конями женщин, оставляющих детей в роддомах: в проявлениях гнева прогресс налицо. Но в умилениях!.. Нет, вы посмотрите, посмотрите, с какой осторожностью слониха отгоняет хоботом своего глупого слоненка... А ведь надоел, наверно. В Заозерье у нас была простенькая пластинка «Бежит по улице слоненок». Над неуклюжим малышом потешались всякие-разные попугаи, и только мудрая слониха знала, что когда-то он станет могучим благородным слонем. Сияющими от непролившихся слез глазами Катька вглядывалась в маленького Митьку и еле слышно взывала к нему: когда же ты станешь слонем?.. Признаться, с рождением Митьки и меня подобные пошлости стали позывать на слезу — с дочкой я себя вел более ответственно. (Моя мама тоже лишь после моего рождения начала плакать в кино — после старшего брата, дитяти Осоавиахима, она

искусывала губы, но еще держалась.) И вот Дмитрий наконец-то разъелся, по крайней мере в полслона — под фамильным барсучьим подбородком небритое вымя мотается по-коровьи, зато на слоновьих ляжках штаны (вид сзади) обвисают и впрямь как у слона. Однако для Катьки он все равно Митенька, Барсучок. Для нее теперь все дети. Разглядывая опять же по телевизору солдат на броне, она непременно порадуется: тепло одеты, свитера им стали выдавать.

И моя мама превратилась в Бабушку Веру, как-то незаметно набравшись добродушия и простодушия. Даже вспомнить трудно, что эта городская старушка в вязаном тюрбане тоже принадлежит к поколению героев: поехала за мужем в ссылку в Якутию, там его никуда не брали, хоть подыхай при минус пятидесяти с двумя детьми. Она устроилась в охрану обогащательной фабрики, изучила наган на пятерку, сопровождала каждый вечер курьера, относившего дневную промывку золота с фабрики в контору черным пронзительным пустырем. Однажды золотиносец провалился ногой сквозь наст, она рванула драпать (думала, всадили финку в спину), но через три шага развернулась и чуть не бабахнула с колена. Незадолго до того блатные взяли сейф в конторе — она через окно увидела свою напарницу в такой же, как у нее, шинели, с трехгранным напильником под лопаткой...

А тридцатипятилетняя Бабушка Феня, когда «еёный» мужик, сбросив перед битвой «бронь», попросив прощения и попрощавшись, загремел с эшелонном из «Ворши» неведомо куда, «подхватила» и с двухгодовалым Лешей на спине (а он был толстый, как Митюнчик, всегда подчеркивала Катька), подгоняя трех дочек от пяти до пятнадцати, зашагала по горячей пыли через триста верст, достигнув родного «Вуткина» на целых два дня раньше немцев. При земле она всегда чувствовала себя спокойней; пускаясь в воспоминания о молодости, она прежде всего мечтательно произносила: «Как я тада работала!..» (Правда, понаблюдав за Катькиной карьерой при двух детях, электричке в семь утра и десять вечера и колодце без стиральной машины, она однажды призадумалась: мы хочь по выходным отдыхали...) В «Вуткине» большинство баб до колхоза были «трудящие», но в колхозе как отрезало — к брезгливому ее презрению: она работала не за страх и не за совесть, а за смысл существования. Она и в старости сияла неземным светом, когда мы возили навоз, сажали картошку, квасили капусту... И в город она перебралась только из-за мужа, который бежал от преимуществ колхозного строя, чтобы потом четверть века жить с ощущением крупной жизненной удачи. Он и на войне потерял только остатки волос (плешь была стянута могучим рембрандтовским струпом от горящего бензина) и в сгоревший дом вернулся с трофеями — полуметровой кипой почти не ношенных солдатских подштанников и зеркальной дверью от платяного шкафа, на многие годы самой роскошной вещью в их жилище — сначала просто квадратной утопанной яме, крытой обугленными бревнами да все той же родимой землей. Затем, оглядевшись, в обмен на кровельные работы на возрождающейся ферме он обзавелся поросенком, в обмен на котельные услуги выговорил в соседней столовой ежедневные помои, из обрезков какого-то летного алюминия накроил кружек и кастрюль (последний доисторический ковшик Катька хранит и поныне), а когда превратившаяся в старуху Бабушка Феня начинала причитать, что и есть нечего, и детям в школу ходить не в чем, он только посмеивался, кайфуя при праздничной керосиновой лампе, сменившей лучину: ничего, Аграфенушка, мы-то проживем, а вот люди горя тяпнут!

И сала на кабанеросло с буханку стоймя — со всеми соседями под всю водку усидели не больше четвертой части. И снова двинули в гору: перебрались в Заозерье на железную дорогу, устроились в вагончике — зато под Ленинградом! Правда, старшие дочки уже стеснялись признаваться, что не имеют своего дома. Хотя чего? Деревянный пол, буржуйка из

железной бочки, которую отец начинал протапливать с пяти утра. Однако шапочки инея на клепках так и не таяли — друг жизни фикус скоро зачах: второй хлеб, с величайшим почтением отзывалась о дровах Бабушка Феня. А потом новый успех — целая комната в деревянном, чешуйчатом от облупленной краски бараке с настоящей печкой; старшая дочь окончила Высшую партийную школу, средняя уехала на целину, образовался простор, на этажерке появились вязаные салфетки вместо резных тетрадных листочков — и снова удар, на этот раз апоплексический... Катькино поколение детворы еще помнило дюжего дядь Петю в промасленном ватнике, спокойно носившего в одиночку шпалы, за которые другие брались только вдвоем, и привозившего с заработков по чемодану конфет для всего двора. Следующему же запомнилась только странная фигура, которая, волоча ногу в солдатских подштанниках из все той же неизносимой партии, брела через двор в съехавший набок почерневший сортир — наш с Катькой на первое десятилетие нашего брака. Ночные приступы буйного безумия, заставлявшие Катьку с матерью годами спать вполглаза, запредельная, выскобленная, как палуба, нищета, пропитанная духом парашаи, в которой задохнулся другой друг жизни — второй фикус... Иногда передышкой ради ненадолго сдавали отца в психушку, чтобы мучиться от собственной жестокости — в ушах стояли его мольбы и клятвы больше так не делать. После ночных дежурств в кочегарке Бабушка Феня часто теряла сознание и в пятьдесят выглядела на семьдесят. Но однажды белой ночью она вывела Катьку на крыльцо и сказала с растроганной наставительностью: ты послушай — соловьи...

Терзания, что отец так и умер на казенной койке, начались позднее (даже банно-малиновая отцовская сожженная лысина, которую Катька сумела разглядеть через окно больничного барака, — даже она высветилась в Катькиной памяти лишь через месяцы). Сразу же все поглотили огненные знаки — ДЕНЬГИ... Сорок рублей привезла богатая сестра-партработница, двенадцать — бедная сестра-работница, Леша служил в Западной группе войск — впрочем, он еще на гражданке начал попивать, а потому стремился минимизировать бесполезные расходы. Тогда как одна только оградка требовала семидесяти рублей. Притом сварщик, многожды сидевший за широким отцовским столом, потребовал еще пятерку за срочность. И Дистанция, в которой покойник не сходил с Доски почета, отказалась выделить грузовик. И плотник, друг и собутыльник до гробовой доски, потребовал бутылку за казенные гробовые доски. И родня, выведенная Катькиным отцом из «вуткинского» пленения, месяцами до обустройства спавшая у его семейства на голове, внезапно впала из бедности в нищету и даже в долг не давала больше трех рублей. А между тем Бабушка Феня готова была скорее лечь в гроб сама, чем допустить на поминках недостаточно тугой холодец...

Сколь ни осточертело мне самоуслажденчество интеллигенции с ее вечными борениями из-за М-принципов, все-таки еще более жуткую клоаку являет собой нутро простых людей, поглощенных исключительно реальностями. Более всего меня, пожалуй, поразил шуряк, отказавшийся вернуть отцовский костюм, ссуженный ему в молчаливом предположении, что для последнего торжества он его возвернет. От всех этих историй я одуревал, словно от исповедей пациентов в сумасшедшем доме: да не снится ли мне это?! А Бабушка Феня с полной простотой припоминала, как еще «у Ворши» один отцовский друг попросил поносить пальто, а потом объявил, что никаких «польт» в глаза не видел. А что на вешалке, это крестный привез из Бердянска.

Хотя для самой Бабушки Фени было немислимо даже мысленно покуситься на чужую собственность, повествовала она как о деле самом обыкновенном: Катькин отец потащил свое пальто с вешалки, друг кинулся не давать, отец, отступив от всегдашнего принципа «Я тебе лучше свое отдам, только бы не ругаться», развернулся да как хрястнет... Эта дикость и

впрямь не так уж и выпирала из того месива, которым мне представлялись отношения в Катькиной родне. Во время войны народ исхитрился вместо брусков для правки кос использовать застывшую сосновую смолу, перемешанную с песком, и Бабушка Феня однажды случайно увидела в окно, как отцовская сестра закидывает «еёный» суррогатный брусок под крыльцо — чтобы потом отдать любимому племяншу. Абсолютно, повторяю, непособная на что-либо в этом роде, Бабушка Феня, однако, не видела и ничего странного в том, что нелюбимого родственника можно обокрасть в пользу любимого.

Когда речь заходила о лишней пуговице, их испепеляющая зависть не знала ни братьев, ни сестер. В этом мире десятилетиями перемывались клокочущим ядом такие наследственные ценности, как пуд лука, «кубел» сала... Взял три шпалы, пообещав вернуть брусом, а вернул опять-таки шпалами — на подобные темы могли часами переругиваться и мои заозерские соседи. И каким чудом эта окружающая среда могла произвести на свет Бабушку Феню, превыше всего на свете ставившую мир и согласие... При том, что она с чрезвычайнейшим вниманием относилась к мельчайшим достоинствам и лука, и сала, и дров, она вовсе не была юродивой. И уж тем более не имела она и призрака гордыни, которая позволяет утешаться собственной безупречностью, — она вся была направлена вовне. Но сколько бы мерзостей она ни наблюдала в этой единственной для нее реальности, ей ни разу не пришлось в голову признать их нормой: в мире идеалов она оставалась столь же твердой, сколь мягкой она была в мире реалий. Она и в семьдесят ахала так же сокрушенно, как в шестнадцать, по поводу того, что наш солидный непьющий сосед (непьющими здесь становились только от скупердяйства да презрения к окружающим) в своем заборе каждую «досточку» подгонит (краденную на станции), а на задах общего сортира, вычерпав сколь надо удобрений, доски уложит обратно так, что в выгребную яму только чудом не ухнул соседский малолетка. Бабушка Феня оставалась добродетельной исключительно из любви к добродетели — никакой пользы от нее она не ждала. «Видите, что с нами люди делают?» — горестно вопрошала она, изредка задумываясь, какие выгоды ее семейству принесли честность и щедрость. Но в патетическую минуту — при виде очередного свинства — она могла вновь страстно провозгласить: «Надо жить, чтоб тебе люди не проклинали!» «Люди» — в ее устах это было суровое слово, обычно она называла их «людюшки». Временами меня утомляло ее непреходящее умиление по всем поводам. Брат приехал пилить со мной дрова — «братчик родненький приехал!». Еду навестить мать — «к мамочке родненькой поехал!». Садимся обедать без водки — «ни граммуточки не выпили». Ее вечные «картошечка», «капуска», «мяско» иногда приводили мне на память Иудушку Головлева. Но она действительно питала нежность ко всему полезному — и не ради приносимой им пользы, а ради того умиления, которое рождалось в ней созерцанием всего, что шло как должно. Всего, что отзывалось идеалом. Если она видела ядреную картошку в чьем угодно огороде, крепкие грибы в чьей угодно корзине, ладные дрова в чьей угодно поленнице — «ах, у Ягоровых картошечка уродилась!», «двадцать белых Узяткин с лесу принес», «ах, хороши дрова Семишкиным завезли!». Уже умирая, почти утратив зрение, она попробовала еле живыми пальцами новую клюкву, за которой Катька специально ездила на Заозерские мхи, и с невыразимой нежностью прошептала: «Клюковка...» Клюковка все равно оставалась еще одним алым кусочком смальты в умильной мозаике мироздания. Да здравствует мир без меня!

Больше всего она любила благолепие — «людюшки» дружно сидят за столом или дружно работают «вместечки», коровы хрупают сеном и умиротворенно отдают молоко, собаки ластьются к хозяевам и ярятся на чужих (но только на цепи), младенцы захлеб глотают молочко, земля напитывает сытностью картошечку... Довольно долго эта каратаевщина меня тоже

умиляла, но когда мне пришлось «вместечки» с Бабушкой Феней принимать какие-то решения и проводить их в жизнь, я обнаружил, что она в любой момент готова пожертвовать истиной и целесообразностью ради сиюминутного переживания мировой гармонии. М-гармонии. В любом планировании она видела душевную черствость, граничащую с низостью, а то и с жестокостью. Все должно делаться само собой, как сама собой наливается соком клюква на болоте. Если вдруг обнаружилось, что «усе бабы» попокупали новые ведра, а «в одних в нас» чернеют язвы по зеленой эмали — надо немедленно кидаться в магазин за новыми ведрами, пренебрегая низкими опасениями, что денег может не хватить до зарплаты: когда не хватит, тогда и будем думать. А составить заранее перечень расходов первой необходимости и посмотреть, останется ли на ведра, — от такой расчетливости ее с души воротило. Как меня воротило от ее категорического нежелания признать ту очевидность, что Леша пьет, — нет, он не «пьет», а только «выпиваить». После очередного его безобразного загула она могла проклясть его страшными словами: «Чтоб и к гробу не допустили!» — а потом снова отрицать и самый факт его пьянства. Это безмятежное презрение к истине — многолетняя пытка этим презрением, — отчасти и она подвинула меня к наиболее изуверским и самоубийственным формам культа правды без прикрас. То есть без признаков жизни.

Вся до мозолей, казалось, от мира сего, от крестьянского мира, от земли и от сохи, Бабушка Феня была необузданной наркоманкой, возводящей приятное переживание неизмеримо выше дела, когда на карту ставилось согласие с миром: она не ощущала благолепия в том, что требовало воли и предусмотрительности, а потому решительно не желала с ними зняться. Если ребенок просит конфет, надо ему сначала дать — «ён же ж просить!» — а уж только потом сокрушаться, что «ён не хочет вужинать». Если «ён не хочет» делать уроки, а «хочет» в Дистанцию глядеть кино — пусть глядит. Ну а когда он и раз, и два, как это было с Лешей, провалится в институт, только тогда — не раньше — можно начать всплескивать руками, до чего «яму не везет». (Леша, правда, постоянно посмеивался, что при нашем с Катькой университете он получает больше нас, вместе взятых.) Случалось, я почти ненавидел ее — как и она меня (но ей, я уверен, ни разу не пришло в голову определить мою бессердечность как еврейскую, тогда как я не раз испытывал соблазн квалифицировать ее безмозглость как именно русскую черту), — когда я видел, какими сволочатами становятся с нею мои милые детки. Однажды я застал, как пятилетний Митька, загнав в угол, пинает ее валеночками в галошах — пришлось, внутренне съежась, отвесить ему затрещину. Он завыл, она запричитала, я с трясущимися руками... В ее соседстве мне автоматически отводилась роль деспота, который только требует, требует, требует — хотя вот же рядом человек еще более взрослый все разрешает, разрешает, разрешает...

Чтобы нейтрализовать этот дух квиетизма, я довольно вяло препятствовал нарастающей иронии взрослеющих детей в их отношении к вечному детству бабушки. «Усе собрались, — разнеженно припоминает она, — Онисим, Яхрем...» — «Трифиллий, Дула и Варахасий», — радостно доканчивает второклассник Митька, только что прочитавший «Шинель». «Абакан (Аввакум), Фрол...» — начинает хмуриться Бабушка Феня. «Павсикахий и Вахтисий». «Он мене совсем не вважайть», — жалуется Бабушка Феня, и я формально грожу Митьке пальцем: она будет распускать, а я подтягивать — дудки-с. Мы с Митькой когда-то сочиняли еврейские фамилии: Дудкис, Нахер... Дмитрий до сих пор любовно вворачивает бабушкины, когда-то раздававшие меня, словечки: «обернул» вместо «опрокинул», «прийшел» (оно же «увалился»), «войду» (в смысле «уйду»), «перебавил», «больненько», «разу негде» (в смысле «нет места»)... Дочка, кстати, плакала на бабушкиных похоронах, как самая обычная простушка... В нас

с нею еще оставалось что-то человеческое. А Бабушка Феня с угасанием жизни становилась лишь теплее: какая ты, «дочушка», счастливая — «ён в тебе не пьеть», чуть не ежедневно напоминала она заевшейся Катьке. В простонародье это главный критерий — наркоман мужик или не наркоман. В смысле алкоголик. Она четверть века помнила каждую книгу, которую я прочел ей во время болезней (она любила толстое и про родню — «Вечный зов», «Тихий Дон»), сама в свободные минуты, а то и часы, шевеля губами, уходила с головой в могучие тома: когда ее забирали из третьего класса церковно-приходской школы сидеть с новорожденной племянницей, учительница приходила переубеждать отца с матерью четыре раза: девочка, мол, со способностями. В первые годы я даже сам искал случая почитать ей «Теркина» или поставить Мусоргского, истинно счастливый оттого, что возвращаю народу золото, добытое из его же толщи. Но Бабушка Феня заметила, что я при этом начинаю слегка частить и захлебываться, и стала смотреть на меня с ласковым состраданием, будто на Митьку: дурачок, мол, маленький, померь коло тебе. «Заходиться» из-за того, чего нет, она обожала и сама, но — чувствами все-таки посюсторонними: ужасом, негодованием, — а я-то заходился от восхищения, переживания совсем уж бесполезного... Поэтому я начал притворяться как можно более педантичным, читая вслух уже и Митьке: у меня перехватывало горло от удачных созвучий даже в каком-нибудь дурачком «Мистере Твистере» — гремит океан за высокой кормой... А Евангелие я читал ему почти сердито, чтобы выговорить без слез «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» — завет, которому я ни минуты не предполагал следовать.

С каждым годом она все больше умилялась тому, что я постоянно вожусь с детьми, что никогда не ругаюсь, что беспрерывно где-то подрабатываю и каждый грош несу в семью, что постоянно кормлю целую ораву друзей-приятелей, но могу из командировки привезти пустую бутылку из-под молока... Катьку это тоже умиляло, однако она просила Бабушку Феню не рассказывать об этом прежде всего Леше, ибо он презирал мелочность, а потому жил за наш счет. Я даже гордился широтой своей природы и умением помнить добро: когда мы еще были студентами, как-то в подпитии Леша сунул нам на эскалаторе пару мятых трех — я испытывал гордое наслаждение, возвращая их сторицей, — пока Бабушка Феня однажды не сказала про меня, жалостно кивая на каждом слове: «А яму хочь на голову клади — усе стерпить». Зато чем холоднее и отчужденнее я становился, тем больше повышались в цене скудеющие крохи моей некогда необъятной любвеобильности. Когда же я сделался совсем чужим и ледяным, меня начали обожать как мудреца и почти святого. Но мне претило обожание, добытое умением внушать страх. При этом я сохранял готовность делиться мусором — деньгами: все свои первые заграничные гонорары я вкладывал в землю — хоронил без разбора разветвленную Катькину родню.

Бабушка же Феня к этой поре сделалась подлинно святой: окончательно сложив с себя ответственность за что-либо, она получила возможность уже совсем без помех отдаться созерцанию мировой гармонии, чему-то умиляясь, о чем-то неглубоко и недолго скорбя и купаясь во всеобщей любви и почитании. Размер ее пенсии — 24 (двадцать четыре) рэ — вызывает стойкое недоверие у всех моих знакомых страдальцев за впервые познавший бедность народ: ведь единственное преступление советской власти заключалось в том, что она помешала им вовремя защитить диссертацию. Но в глазах Бабушки Фени эта удивительная пенсия лишь подчеркивала ее жизненный успех: Катька засыпала ее всякими М-ненужностями, стараясь хоть чем-то усладить свою обиду за долгие годы материнной нищеты.

Теперь, когда Бабушка Феня наконец ни в чем не нуждалась, вся до поры до времени затаившаяся родня набивалась к нам в застолье и так пышно ее славословила, что у меня губы сводило от гадливости. Кажется,

только сегодня я уяснил, что их восхищение добротой и бескорыстием было так же искренне, как нежелание чем-то им жертвовать. А главное — эта их М-любовь вовсе не была бесплодной: именно она творила праведников. Эта всосавшаяся в лук и сало низкая почва в застольях восхваляла небеса — и тем из века в век воодушевляла дурачков и дурочек, принимавших эти восхваления всерьез. Катька и поныне собирает доступные остатки старой «вуткинской» гвардии (тридцать лет прожившей в Ленинграде, не заметив в нем ничего, кроме родни, работы и магазинов) на годовщину материнной смерти, а недоступным рассылает деньги — одним за то, что любили маму, другим — чтоб прочувствовали, какие они сволочи.

Мы с Катькой много лет были беднее всех на наших мэнээсовских ставках. «Нужно было пять лет корячиться», — тешилась родня. «Они не для того ниверситет кончали, чтоб стерванты покупать, а чтоб навучной работой заниматься и в силармонию ходить», — отбрехивалась Бабушка Феня. Хотя в душе думала недалеко от родни. Музыку — скажем, «Встречу с песней» — можно и по радио слушать. Ну, иногда не грех и пластинку поставить — она любила «Вальс-фантазию» Глинки и «Лунную сонату», ударные места которой в минуты просветительского опьянения я ей частенько прокручивал. Ее умиление после этого иногда обращалось в горечь — она могла вдруг горько задуматься о своем «Леши»: «и для чего жить человек?..» Почтение к высокому, правда, не помешало ей в свое время отдать Катьку — любимицу всех учителей, круглую пятерочницу, уже прочитавшую Шекспира, Толстого, Диккенса, Чехова и прочая, и прочая — в Индустриальный техникум для скорейшего обретения «специальности». Полгода, которые Катька там провела, запомнились ей безысходным кошмаром с бесконечным черчением бессмысленных катунов, кривошипов, золотников, коленвалов, шестеренчатых и червячных передач... Вдобавок с нею теперь учились и жили в общежитии настоящие барышни, и одна из них попеняла Катьке, что пора уже обзаводиться шелковой комбинацией вместо длинной трикотажной майки, кои до конца дней (судя по белью, которое мне приходилось выжимать) носила Бабушка Феня. Вспоминая об этой Катькиной майке, я всегда испытываю порыв озолотить ее какими-то невероятными нежностями, но обычно насыщаюсь одной. В техникуме платили крошечную — то есть весьма существенную — стипендию в четырнадцать рэ, а потому Катька, уже ни на что не надеясь, готовилась провести меж клапанов и карбюраторов остаток дней. Но Бабушка Феня среди своей беспросветности сумела разглядеть и Катькину и не колеблясь забрала ее обратно в школу — к будущей медали, университету и — в апогее — к браку с самым умным и благородным человеком на земле. «Ничто не стоит слезинки ребенка» — этот безответственный принцип иной раз приносил и великие плоды.

Еще в войну — война в ковригинском семействе всегда оставалась в двух шагах — одна из Катькиных сестер нечаянно грохнула об пол чудом раздобытую банку с молоком и, вцепившись в волосы, завывала над лужей, как над покойником. И перепуганная Бабушка Феня со всей силой любви и укоризны произнесла самый главный свой завет: «Да рази ж можно так по вешшам убиватца!»

Убиваться можно было только по человеку. Правда, не по себе. И вообще не по старикам. «Етто по закону», — умиротворенно говорила она, возвращаясь с похорон какой-нибудь соседской старухи — такие похороны она посещала едва ли не с аппетитом. Как-то в очередной раз явилась со двора раздосадованная: у всех баб, оказалось, заготовлено «смертное», а у ней одной нет. «Мама, ну уж как-нибудь купи, если понадобится», — стараясь не вдумываться, урезонивала ее Катька, но когда речь шла о том, что есть у всех, Бабушка Феня не знала компромиссов. «Я же в шкаф буду бояться залезать!» — уже почти со слезами отбивалась Катька, а Бабушка Феня только разнеженно смеялась, приглашая позабавиться и меня: «Ну

когда-нибудь же ж я вмру?» — «Вот когда „вмрешь“... Ты еще здесь гроб поставь!» — «Не, гроба и я буду бояться. А это ж рубаха!..»

И когда наконец подступающая смерть и в самом деле начала отнимать у нее сначала драгоценную возможность быть в гостях, потом — сидеть на лавочке, потом и добираться самой до кухни, где мы болтаем, — тогда она ни разу не выказала ни малейшей зависти к живущим, ни даже абстрактной обиды на жизнь: повиноваться установленному ходу вещей было для нее чем-то само собой разумеющимся. Другое дело, по собственной инициативе в чем-то себе отказывать — «лутче тада живой у гроб лечь».

Но на смертном одре, повинуюсь мировому закону, она переносила все страдания и просто неудобства с поразительной кротостью, почти презрительно отмахиваясь и от вечно стынувших ног («Мене теперь хочь в огню держи!»), и от вечных шишек в постели («Старой бабе и на печи ухабы»). А ее неугасимый интерес к чужой жизни при угасании собственной я готов был назвать величием души, если бы не привык связывать величие с бунтом. Едва слышным голосом она расспрашивала даже самых сторонних гостей обо всех их чадах и домочадцах, а потом, отдыхая после каждого слова, рассказывала о наших достижениях: «Митя досрочно хвизхимию сдал, осталось две лабораторки». А напоследок просила: «Ты йди через двор, чтоб я на тебе поглядела». Интересно — я только сейчас осознал, что в последние годы она почти перестала спрашивать о Леше — видно, могла закрывать глаза на то, что он выпивоха, но не на то, что он подлец: годами не показываться, десятилетиями не давать ни полушки... На людях-то она не признала бы этого и под пыткой — верность это была или апломб? Или еще и оборона — раздвоенные язычки зависти много лет язвили ее в уязвимые места: бабы страшно завидовали ее безмятежной жизни за любящими дочерьми и зятьями, каждый из которых полагал себя самым любимым — кроме меня, действительно самого любимого, но считавшего, что любить меня не за что.

Но на пороге смерти унялась и зависть. А Бабушка Феня, избавившись наконец от последней напасти, за самые элементарные проявления внимания благодарила так проникновенно, что я начинал немножко корчиться от стыда. В свое время меня коробило, что она, постоянно нам в чем-то помогая, непременно потом рассказывает, сколько она при этом натерпелась: если останется с маленьким Митькой, обязательно окажется, что он все три часа проплакал. Зато она и на одре смерти продолжала помнить из года в год каждую переданную ей мою рубашку от нижнего белья, не интересуясь, что этих рубашек я просто не носил.

Боли, одышку, издевательское безобразие приближающегося конца — тяжкий запах изо рта, недели неудержимого поноса — она принимала с кроткой грустью, словно выходки беспутного сына: «Что ж с йим будешь делать?..»

Все, чего сумела добиться пытка, — это превратить в лик страдальческой доброты ее обычное выражение благостного приятия мира, с которым она и теперь смотрит на нас из деисусного чина Катькиного фотоиконостаса. Такой я впервые увидел ее на крыльчке чешуйчатого барака, образцово-показательную, не слишком старую бабульку в платочке, «бурдовой» (сама красила) «кохте» и переднике, на котором классическим жестом были сложены классически натруженные руки. «Сыночки» — это у нее было излюбленное обращение. «Хорошие люди Ковригины, говорили в народе», — мечтательно пробормотал Славка. Мы с ним всю дорогу потешались над всем подряд («Вам тыкву вынесут», — благословил нас Женька), и ему было не остановиться. Катька среди сессии решила навесить мать, а мы решили (без билета, естественно) навесить ее. Катька выбежала на крыльцо сияюще-заспанная: «А я от мамы отбиваюсь — скажи, говорю, что меня нет!..» Мне впервые бросилась в глаза ее грудь под привычной табачной рубашкой — более низкая и подвижная, чем всегда, —

«этот самый расстегнула, когда спала», — невольно догадался я. Солнце припекало сквозь холодный ветерок, насыщенный сыростью травяных корней, со станцийки доносились объявления, под которые предстояло расти нашим детям. Из новенькой травки выпучивались три могучих бараньих лбища, на одном из которых впоследствии оказалось очень удобно колоть дрова — на диво звонко разлетались: валун не пружинил в отличие от чурбака. Но — после этой молодецкой игры нос колуна оказался расплюснутым.

А о два других лба мне предстояло десять лет спотыкаться, непроглядными осенними вечерами шлепая через дворовое болото к помойке или покосившемуся сортиру, — но пока что его серый параллелограмм никак не намекнул о нашей будущей близости. Сзади к нему подступали сказочные темные ели, среди лунного серебра которых предновогодними ночами мне предстояло выбирать и, оглядываясь, лихорадочно рубить для детей символы их счастливого детства. Протянувшееся к неведомым заводям озеро тоже было подсвечено Катькой — темно-янтарное от растворенного торфа, на водосбросе желтой пеной напоминавшее квас (пепси-колы мы еще не знали). К Катькиному восторженному ужасу, я из лихачества перенырнул озеро почти пополам, так что чуть не отдал концы: обжигающая вода перехватила дыхание — никак было не набрать воздуха без всхлипа. Потом Катька «ня площь» Бабушки Фени умиротворенно любовалась, как мы со Славкой, будто на Смоленском кладбище, оба в плавках, оба ладные, но я стройней и мускулистей, режемся в волейбол. Правда, со Славкой я всегда испытывал некоторое напряжение, ибо он в любой момент, в любой компании мог, когда надоест, внезапно забрать свой мяч и прекратить игру.

Когда нас гостеприимнейше («Хорошие люди Ковригины!») потчевали щами в нашей с Катькой будущей комнате, ее сверхскромная обстановка уже подсвечивалась поэзией, то есть фантазией (впоследствии полностью утраченной). Но наибольшее почтение у меня вызвали тяжелые и простые, будто из камня, крашенные краской для пола стулья: на них сидели наши солдатики, катившие на железнодорожной платформе домой из Германии. Бабушка Феня попросила (для нее и в сорок лет все были сыночки), они скинули — стулья эти Катька постаралась заменить в первую очередь, когда начала по комиссиям обживать собственную мебелью, — всю по десять — двадцать рублей, всю на горбу, на трамвае, на электричке — такую солидную и даже почти новую после общежитских руин... В ожидании Митьки она так долго вылавливала — еще и дефицитный — кухонный пенал, что потом это стало вернейшим способом отделаться от дочки: «Мы в мебельный, пойдем с нами». — «Не-ет!» — в ужасе кричала она, и мы отправлялись в кино. В детстве Катька страшно завидовала богатым девочкам, обладательницам алюминиевой «посудки» — ей оставалось только лепить пирожки из грязи, не имея возможности цивилизованно их испечь: у Катьки и дома-то была только пара кастрюль про все дела да еще «протвени» отцовского производства. Так что, обзаведясь собственным гнездом, Катька принялась потихоньку таскать в него то маленькую сковородку, то низенькую кастрюльку — помню, Бабушка Феня одна стоит перед этой кастрюлькой и дробно смеется. «В бабку Ходоску пошла, — отсмеявшись, заключила она. — Та тоже любила посуду». Никаких новых свойств человек сам приобрести не мог — он мог только уродиться в чью-то «природу».

После щей нам со Славкой было предложено заночевать на чердаке сарая, но в тот раз мы из какой-то удали отказались и ушли по шпалам в наливающуюся алым белую ночь, перебрасываясь мячом, покада он не стал исчезать и вновь возникать лишь у самого лица. Катька была расстроена нашим отказом, но все-таки, когда мы скрылись из глаз, начала попытываться у матери, кто из нас ей больше понравился. Славка хорош, вы-

звав его из памяти, с «вудовольствием» полюбовалась им Бабушка Феня, но вынуждена была признать, что я все-таки «лутче»: «Такой ятный — улыбочка етта, походочка легенькая...»

Катька и сегодня во всем мысленно советуется с мамой — воображаемые объекты вообще играют решающую роль в человеческой истории. Катька, как и Бабушка Феня, тоже одушевляет все живые и мертвые стихии и входит с ними в глубоко личные отношения и даже после самых жестоких размолвок с ними в конце концов находит какие-то оправдания всем, кроме Сталина, Гитлера и Зюганова. «Рожа масляная!» — гневно бросает она телевизору.

Бабушка Феня смотрела на вещи шире. Одна дочь ее была полудиссиденткой, другая низовым парработником — она даже не удостоивала выяснять, из-за чего они собачатся: ясно, что из-за ерунды. Коммунист, не коммунист — был бы человек хороший. Она два года промучилась под немцами, побиралась при четырех маленьких детях по соседним деревням, стояла под расстрелом, но ни тени вражды к немцам ни разу не выказала — вроде как работа у них была такая. Она даже и не надеялась, что наши вернуться, — они прошли оборванные, измученные, а немцы прикатили на машинах чистые, *изривые*... Правда, когда маленький Митька спросил у нее, почему русские победили немцев, она наставительно ответила: «Потому что русских победить нельзя». Катька не столь оптимистическая, зато более последовательная патриотка. Бабушка Феня ихнего старосту осуждала исключительно за то, что он конфисковал у нее какую-то свеклу. А вот десять лет ему дали зря. «Но он же предатель!» — пробовала жалобно возмутиться Катька, и Бабушка Феня страдальчески сморщилась: «Так какая власть была — той ён и подчинился!» С тем же состраданием она впоследствии говорила об отделившихся прибалтах: «Ну не хотять и не хотять».

Совсем блаженной она все-таки не была — помню, под горестные Катькины причитания мы с Катькой волочем под руки по обледенелой платформе ускользящего пьяного парня на двух протезах, а Бабушка Феня поспешает сзади, приговаривая: «Ну чего б нам на следующей электричке поехать!..» Она и грустным историям не каждый раз позволяла истязать свою доброту, в сердцах восклицая: «У нас свово горя много!»

Она страшно переживала, что Леша «выпиваить». Но если к нам заезжали гости с выпивкой, она непременно напоминала: «Леши-то оставьть». Воры вообще — это были паразиты с паразитов, но укравший Колька — «он же ж сирота, хто ж яго чему хорошему вчил!». И, работая на хлебозаводе, она совершенно искренне клялась перед бабами, насильно пихавшими ей яйца в сумку: «Я же ж не потому не беру, что я честнея усех, я до смерти боюся, хочь вы мене зарежьтя!» Соседка была — из змей змея, породе потаскучья, сплавившая — самое страшное преступление — трех деток в интернат: «Мужики ей, паскуде, нужны, без мужиков у ей голова болить, извянить меня, у сучки!» Но когда «сучка» попадала на аборт, одна только Бабушка Феня сокрушенно увязывала «взелок» с пирожками и яблоками: «Хто ж еттой простигосподи еще снесеть!..»

Выше отдельного человека была только его связь с семьей. Когда Катька колебалась, брать ли ей мою богомерзкую еврейскую фамилию — стоит ли осложнять детям жизнь, — Бабушка Феня торжественно ее наставляла: «А что яму, то й вам!» — «А дети?..» — «И детям!» Когда Катька трусила лететь в отпуск на самолете, Бабушка Феня удивленно смеялась: чего ж бояться — разобьетесь, так «вместечки».

Церковь она посещала с удовольствием, но не любила, когда там бьют молодые: это дело, она считала, старушечье, «а каждый должен быть, как яму положено: старуха — как положено старухе, парень — как парню». Весной могла вдруг вернуться с улицы расстроенная: все бабы уже окна выставляли! И когда мы потом две недели тратили лишние дрова из-за

нагрывавших холодов, она не чувствовала ни малейшей неловкости: главное, быть как все. Когда Катька некоторое время подсинивала веки, Бабушка Феня прямо «заходила» — умоляла меня поставить Катьке фингал: «Чтоб было сине, так хоть знать с-за чего!» После одной своей шабашки я нарочно сбрасывал бороду по частям — оставлял то шведскую, то испанскую, — и она всякий раз плевалась с новым оттенком: «Ну обезьяна и обезьяна! А теперь козел! — И спохватывалась: — Ты ж красивый, зачем ты себе вродуешь?!»

Раз свой — значит, красивый, в сравнении с родством истина ничего не стоила. Чем родней, тем красивей. Она раз двести переспрашивала меня: «Я не пойму, кто с вас выше — ты или Леша?» И я двести раз нудно повторял, что я выше на два сантиметра. «Ну?..» — каждый раз изумлялась она. Пока я наконец не ответил: «Леша, Леша выше». — «Ну?..» — изумилась она как-то по-новому и больше не переспрашивала.

Однако если дело не касалось родни, она была очень внимательна к внешности, чрезвычайно ценила красоту («красивый, мордатый»), но и часто восхищала меня не слишком-то благостной остротой глаза: «тонконогая, как овца», «скулы кроличьи», «губа отвисла, как у старой кобылы». Нежно причитала над старшим «унуком»: носик этот мамин тупой! (Мама, самолюбивая Лешина Ленка, покосилась на нее долгим хмурым взглядом. Бабушки Фенины дворовые подруги не любили Ленку, наговаривали, что она бьет бессловесного «толстуна» Митьку: у, говорит, медведыш этот, да как даст ему поддых — он и задохнулся, аж посинел.) Собственный нос Бабушка Феня тоже готова была обсуждать с полной объективностью: круглый, «в нас во всех круглые носы — только в тебе еще с балдавешкой», вглядевшись, сообщала она Катьке (считавшейся в ту пору похожей на Марину Влади). Это выражение привело меня в такой восторг, что я назавтра же предложил Катьке стереть сажу с «балдавешки». И Бабушка Феня немедленно вступилась: «В ей хороший нос!» — «Так это же ваше выражение». — «Ну?..» Не придавать значения собственным словам представлялось мне верхом безнравственности, мне казалось, нравственность — это просто любовь к истине. Только сейчас я начал понимать, что мораль противоположна истине: истина должна изгонять противоречия, а мораль, наоборот, вбирать их как можно больше в своем стремлении защитить всех и каждого. Поэтому добрый человек не может быть последовательным, а последовательный — добрым. Я выбрал последовательность.

Сейчас-то и я порой вворачиваю «грозою яго подыми» или «хват хватил». А в свое время, когда дочка называла жидкое пюре «обмачкой», я едва удерживался от подзатыльника: говори по-человечески! Мы с Митькой такие — нам важно не что делают, а как говорят. Катька распекает его, убитого раскаянием второклашку, за позднее появление: «Все гули да погули на уме!» И вдруг он гневно скидывает поникшую голову: «Нет такого слова — *погули!*» Вечный пафос у Бабушки Фени — и отраженно у Катьки — меня, конечно, тоже раздражал: путаются под ногами котята — «с ног сбивают!», кто-то проявляет элементарную настойчивость — «яму хочь камни с неба вались!», «ноги смерзлись» — слегка замерзли ноги, проголодался — «вмираить есть хочет». Эти штуки я искоренял в детях слишком даже, наверно, последовательно: меня бесило, что она «привичать» их боготворить свои мелкие физические нужды, вместо того чтобы их презирать. Зато купить простуженному Митьке сразу два мороженых — это пожалуйста: «Ен же ж просить!» — «Просит... Вы же не его, вы себя жалуете!»

Зато в мире главным — выдуманном — она уже непреклонно становилась на сторону порядка и справедливости. Чуть через порог — и уже всплескивает руками: «А что ж вы делаете, паразиты!» — в телевизоре (когда дети немножко поумнели, я допустил в дом этого врага) двое молодцов месяц третьего. Так он же предал, украл, убил — протестуют Кать-

ка с детьми, и она немедленно успокаивается: «А, ну так и место яму!» Так ему, иными словами, и надо. Мы с Бабушкой Феней — логика и доброта — мало подходили друг другу. Мальчишки под окном ломают нашу смородину: «Ах, паразиты!» — негодует Бабушка Феня. «А ну пошли отсюда!» — с притворной свирепостью кричу я в форточку. «Разбойнички маленькие...» — тут же жалеет их она. Так паразиты все-таки или разбойнички, черт возьми?!

Однако в целом мы ладили: Бабушка Феня ради лада поладила бы и с сатаной, а я все же человек воспитанный. От ядовитых замечаний я иной раз не удерживался, но их положено цедить, а Бабушка Феня была туговата на ухо — не станешь же орать что-то утонченно-язвительное... Кроме того, она совершенно не помнила обид — ни тех, которые наносили ей, ни тех, которые по простодушию наносила она. Кстати, это тоже меня раздражало: я считал тягчайшим из грехов отворачиваться от какого бы то ни было знания. Именно из-за ее лакировочной манеры Бабушка Феня в итоге составила обо мне то безмерно завышенное представление, от которого мне становилось совестно: буквально со слезами принимала мои под сказанные Каткой подарки, которые ничего мне не стоили. Как сейчас вижу: в коробом стоящем до земли плаще она оглядывает себя, словно бы негодуя — я вам что, пугало огородное?.. И произносит растроганно: «Так это хошь бы и ветер — ноги закрытые...»

Катка, конечно, сильно продвинулась по пути рационалистической цивилизации. Когда она за обедом советовала нам: «Кладите больше масла», — а Бабушка Феня возражала: «Зачем больше, кашу маслом не испортишь», — Катка озадаченно умолкала вместе со всеми. Пуще того: «И в кого вы у меня такие змеи!» — сокрушалась Бабушка Феня из-за того, что ее образованные дочери не любят разговаривать с попутчиками в поезде. Хотя истинной змеей была тетка Манька — та, что пыталась заныкать брусочек, а впоследствии наговаривала полубезумному Каткиному отцу, что его плохо содержат, так что после каждого ее визита он учинял посильный разгром. Прекратить общение хоть с кем-то из родни Бабушке Фене не могло и прийти в голову. Но в ее обращении с Манькой сквозила — невозможно поверить — ирония. А когда та уходила, она немедленно раскатывала нижнюю губу, как у Маньки, и, бессмысленно трясая головой, начинала «верещеть» ее лишенным интонаций пронзительным голосом механической игрушки: «Мене кот вкусил, шерт проклятый, — я взяла кочергу, била его, била, хотела вбить...»

Вторая золовка, Человек-гора, намеренного зла не делала — просто, навещая больного брата, клала бублик у изголовья и начинала выть басом; я этих концертов наслушался на клановых похоронах — впечатляет, особенно когда завершается пантомимой «ослепла от горя». Ее неизменно отпаивают водой и выводят под руки — я каждый раз заново дивлюсь, сколько же театральности таится в простом человеке. Лишь теперь я понял, что театр, воображение — это и есть первобытная стихия человека, которую цивилизованность вовсе не развивает, а только гасит.

Я был изумлен, узнав, что в молодости она считалась красавицей, но, взглядевшись, обнаружил в ее лице признаки даже некоторой античности, утонувшие в трясущихся лиловых щеках и выражении горестной опаски что-то упустить. Ее Бабушка Феня изображала гораздо снисходительнее — как та «уваливается» всегда с одной и той же фразой: «Я с вутра не евши...» (однако эта по-детски алчная копна, возвращаясь с принудительных работ в Германии, не прихватила медной полушки).

Но когда старухи «втроих» заводили песню на три голоса — один пронзительный, другой басовитый, третий очень нежный, хотя и слабаватый... Слова были черт-те о чем — «когда б дали нам по рюмочке винца», — но дикая гармония подирала таким морозцем, такие восторженные слезы закипали на глазах и такое изумление оттягивало вверх брови: да

чья же это душа звучит через этих добрых, злых, глупых, щедрых, алчных деревенских девчонок семидесяти лет от роду?..

Тетку Маньку Катька настояла похоронить в одной оградке с отцом — осквернить святое место: так, она считала, будет *правильно* — у Маньки не было семьи. А тетка Человек-гора на каждой священной годовщине так теперь обжирается у нас за столом, что ее непременно выворачивает на все деликатесы. Наша дочь заранее с ненавистью удаляется, Дмитрий, скрывая брезгливость, похохатывает, а Катька с особенным упоением бросается заворачивать скатерть, чтобы лава не поглотила расположившиеся у подножия сооружения, подносить тазики, полотенца, приговаривая: ничего, ничего, — а потом упоенно набивает ей сумку съестным и, залив тетку на прощанье медом пожеланий, падает на диван в сладостном изнеможении: ее мама еще раз восторжествовала над ковригинским отродьем.

Однако в поездках, к великому огорчению Бабушки Фени, даже она предпочитала помолчать и почитать, вместо того чтобы, как «людюшки», расспросить, кто да откуда, да куда, да зачем, да от кого, то изумленно-негодующе всплескивая руками, то горячо поддакивая, то покатываясь со смеху, легонько отталкивая собеседника рукой (уморил, мол, «чумаюдник!»), если покажется, что он намеревался пошутить... Поскольку Бабушка Феня из-за глуховатости половины слов не разбирала, то на всякий случай она смеялась вдвое чаще, чем это требовалось даже по ее нетребовательным критериям, ибо всякую почудившуюся ей бессмыслицу она из деликатности старалась принять за шутку. «Глухой не дослышит, так сбрешет», — с удовлетворением (торжество порядка вещей) повторяла она.

Однако она не извлекала из собственной максимы никаких уроков и тоже реагировала на первую пришедшую на ум версию, никогда не подвергая ее сомнению. «Митька поцарапал колено», — сообщаю я Катьке, и Бабушка Феня соболезнующе смеется: «Да рази ж можно полено поцарапать — оно же ж деревянненькое!» Какого же она о нас мнения, иной раз ужасался я, если думает, мы не знаем, что полено деревянное? Она ничего не думает, легко отвечает Катька, и знает, о чем говорит. Если, прогуливаясь с нею, я спрашиваю о каком-нибудь доме странной архитектуры: «Ты не знаешь, что это такое?» — она умиротворенно отвечает: «Какое-то здание». Образование не нанесло ее архетипическим чертам непоправимых искажений. Правда, при исполнении социальных обязанностей она производит впечатление вполне интеллигентное — ну, несколько подпорченное задумчивостью и непосредственностью. А уж когда возникает угроза ее обширному гнезду (куда входим не только мы, но и все ей, матери-командирше, подчиненные), она немедленно становится мудрой и расчетливой образованной дамой. Но чуть почувствует себя среди своих, так тут же сыплются оборотцы вроде «обрадовалась до смерти», «хоть зарежь», «хоть стой, хоть падай», «провалиться на этом месте», «села и запела» (заболталась), «наговорил сорок бочек арестантов» (происхождение неизвестно), «невидаль мышей» (знал, но забыл), а также простодушные жесты типа повертеть пальцем у виска, черкнуть им по горлу («хоть режь!») или молниеносно скрутить сразу четыре кукиша с использованием мизинцев: «Рули-рули, на тебе четыре дули» (эквивалент — «шишеньки!»). Если я развлечения ради интересуюсь, чего она бродит по дому, она утрированно бурчит себе под нос все то же поселковое: «Чего надо, того и брожу». Или: «Тебя не спросила». И у меня по телу пробегает щекотка умиления. Как от Митьки когда-то. Если ей нечего возразить, она вдруг может передразнить меня: «Бе-бе-бе!» Бывает, я по несколько дней каждый раз смеюсь про себя, вспоминая это «бе-бе-бе». Правда, ее вечное «хоть зарежь!» меня раздражает, как, во-первых, всякий пафос, а во-вторых, как фамильное пристрастие к театральности.

С Лешей я особенно нахлебался этого добра — очень уж страстно я распахивал душу, чтобы он мог спустить в нее свои излияния под возлия-

ния. Вот мы с ним, как лягушки, распластывая коленки по вздувшейся пузырящейся фанере древнековригинской кухонной тумбы (но клеенка уже новенькая — Катькина), припадаем друг к другу в запредельной пьяной М-искренности, отделенные от вечерней кухонной жизни творимой нами высочайшей драмой. «Вызывают в штаб — у меня все сразу оборвалось: что-то с батей... — Леша надолго роняет свой траченный временем чуб. Я тоже в пронзительной скорби опускаю глаза (негоже видеть друга в минуту слабости), однако успеваю особым взмывом нежности и сострадания запечатлеть и Катькино (только что чуть порыжелое) золото этого чуба, и его надменный фундаментализм (на рубеже шестидесятых почти все крутые парни перечесали свои удалые чубы на декадентщину стильных коков, но Леша устоял). Я изнемогаю от бессилия выразить одними лишь киваниями, до какой степени я *понимаю* его и как испепеляюще презираю жирных тупиц, не способных ощутить всю сложность его природы: дали, мол, тебе десять дней, не считая дороги, навещать умирающего отца, так и навешай, до больницы на автобусе всего полдня туда и обратно. Легко сказать! А если **ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ**, что ты загулял с Ленкой, а к отцу за десять дней не собрался?! Как быть в подобных трагических обстоятельствах?! Катьке тот Лешин приезд до сих пор вспоминается чем-то вроде бреда: отец в больнице при смерти, она лежит с температурой под сорок, мать на дежурстве в котельной, а Леша с Ленкой в полумраке со значением соударяются бокалами и, ставя пластинку за пластинкой, исходят томлением под тихую музыку, покачивая силуэтами бедер: где Любовь, там не до совести — Катька так и не поняла этого урока. «Разлюбил меня бы, что ли, сама уйти я не решусь». Ленка долго обожала эту недобрую песню, исполняемую мрачным женским баритоном, но уйти в конце концов все-таки решилась. Точнее, выгнать Лешу. За пьянство.

В ту лихорадочную пору, когда мы с Катькой торопились перезнакомить друг друга с главными фантомами наших внутренних миров, носившими скромные имена родных и знакомых, образ и Лешиной Ленки был мне явлен хотя и второплановой, но тоже колоритной фигуркой. Увлекаюсь, Катька иной раз заруливала и в зону подробностей не самых возвышенных с простодушием ребенка, радостно повторяющего взрослую похабщину: «У Ленки у самой ноги кривые, она говорит: я как увидела Лешины ноги в отглаженных брюках...» У моих папы с мамой было раз и навсегда постановлено, что внешность значения не имеет, и тем более было не принято обсуждать чьи бы то ни было физические качества, расположенные ниже пояса. Особенно недопустимо было мужчинам обсуждать женщин, и наоборот. Словом, Катька сама меня спровоцировала при первом же знакомстве скосить глаза на Лешины ноги и невольно отметить, что они хотя и отглаженно-прямые, но коротковатые. А вот у Ленки действительно и ноги оказались кривоватые, и платье не настолько в обтяжку, что парочка швов была надпорота от натуги. «Ленка все делает быстро, плохо», — не раз дивился я бесхитростной меткости Катькиного языка. Ленка немедленно расположила меня к себе той самой свойской манерой, которая сегодня автоматически удваивает мою корректную отгороженность. Правда, во мне, как обрубленный хвост боксера, все равно дергался боксерский импульс врезаться встречным, когда она «хлестала» Лешу по морде своими детскими ладошками, если он являлся пьяный. (Катька в подобных случаях встречала меня радостным смехом: совсем, мол, как большой!)

Ленка была во столько же раз круче Катьки, во сколько Леша был круче меня... Кстати — в чем же все-таки круче? Ну, конечно, я на танцах в ДК «Горняк» ходил хоть и не в чмошниках, но и отнюдь не в авторитетах — далеко от Москвы. А Леша в свою орлиную пору был настоящим странствующим рыцарем, с ватагой верных друзей наводившим страх на танцплощадки Дистанции, Леспромхоза, Бетонного завода, Ильича и Лей-

пясую, именуемого в народе «Ляписово». Но ведь зато я красил фабричную трубу, из которой ступеньки-скобки можно было вынуть рукой, прыгал по крутящимся бревнам на лесосплаве, блуждал в тумане по черным осыпям Тянь-Шаня... Ха — рисковать, оставаясь в мире *чистеньких*, — разве это риск! Разве это риск — подраться на ринге или бурной ночью переплыть через Геллеспонт, — вот ты попробуй поплавать как ни в чем не бывало среди акул и осьминогов социального дна, где нет ни романтической красоты, ни спортивных ограничений — кроме единственного неподкупного долга принимать как нечто само собой разумеющееся беспощадность и бессовестность. Да, на поверхностный взгляд я и там умел держаться; но опытный взор мгновенно просекал маменькиного сынка из мира чистеньких, которого в глубине души передергивает от хамства, который в еще более глубокой глубине верит, что задержать, скажем, милиционер имеет право, а ударить не имеет. Настоящий мужик на хамство должен спокойно изрыгнуть ответное хамство, на беззаконие только сплунуть. Кудахтать из-за нарушения каких-то условностей... А я то и дело кудахтал, возбуждая в Леше прямо-таки злорадство: а ты, мол, думал — как?..

Да, да, похоже, он презирал меня за то, что я буквально расстраиваюсь, когда в кино кто-то болтает, ерзает, не давая выбрать надежный просвет между черными солнцами впередисидящих голов: я уже тогда ощущал, что ссора с хамом — самое неудачное из самоуслаждений; победишь ты или проиграешь — фильм все равно будет испорчен. А Леша без предисловий встряхивал нагльца за плечо: что ты вертишься, как мандавошка на ...! Это было главное: если ты не считаешь хамство и свинство чем-то само собой разумеющимся — можешь выиграть первенство мира по боксу, голыми руками покорить Эверест и с завязанными глазами на одной ножке проскакать по канату над Ниагарой, — ты все равно останешься маменькиным сынком. Когда Леша тер мне спину в бане, я по остервенелым рывкам мочалки огорченно чувствовал, как его злит искусственная отделанность моей фигуры — дутое золото ловить молодых дурех вроде Катьки. Тогда как любая настоящая баба без колебаний выбрала бы его, настоящего мужика — с широкой костью, вольно отвисающим животом, жирноватой спиной, с фиолетовыми созвездиями бывших прыщей под рыжим пухом (золото его волос тоже было несколько показным — вот Катька так везде была златорунной). Так что я невольно продолжал раздувать его досаду и поддельным молодечеством, чокаясь с ним бормотухой среди распаренных тел и веников предбанника, и деланной легкостью, с которой я подавал ему наших жен на подножки тормозных площадок, когда мы выходили из непроглядного леса на залитую прожекторами и заваленную сучковатыми курганами будущих дров товарную станцию Ляписово. Я раздражал Лешу и преувеличенно непринужденным смехом, которым встречал его, как, вероятно, он и сам подозревал, не очень смешные шутки, — этим смехом я пытался отогнать прочь каверзных духов честности, и, может быть, ровно те же самые духи требовали и от него освистать мой спектакль чистеньких для чистеньких. «Видал?» — внезапно просунулся он ко мне тщательно уложенным непросохшим чубом, подводно фосфоресцирующим в ртутном свете овальных фонарей, освещающих единственный ляписовский тротуар вдоль железнодорожной платформы. «Что?» — вынужден был переспросить я, чувствуя, что безнадежно проваливаюсь. «А, телок!..» — с окончательной безнадежностью отмахнулся он и быстро нагнал оторвавшихся от нас жен, с которыми, оказывается, вознамерились полюбезничать два ляписовских щеголя — подлинные Лешины наследники, судя по отглаженным черным брючатам, белым рубашечкам и новеньким, с расчесочки, чубам. Поравнявшись с одним из них, Леша хоккейным тычком бедер сместил его с поребрика на Выборгское шоссе и поинтересовался с неподдельной любознательностью: «А что такое?..»

Я дрался как лев — но это нас не сблизило: от него не укрылось, что я не просто «махаясь» в строгих рамках ляписовской реальности, а по-прежнему преследую какие-то воображаемые цели — «мы спина к спине у мачты»... Да и моя боксерская стойка, взвинченные нырки, хуки-крюки, в то время как он, посмеиваясь, двигал то коленом в пах, то пальцем в глаз, то локтем в... Но я хотел рассказать, насколько Ленка была круче Катьки. Когда жены оттеснили нас в распахнувшийся тамбур, а один из любезников, расхристанный, без пуговиц, но с расквашенным носом и совершенно белыми яростными глазами («водкой залил») пытался голыми руками задержать электричку, покауда его соратник примчится с подмогой, Катька, почти рехнувшаяся от ужаса, умоляла: молодой человек, не надо, они же вас избыют, вы можете попасть под поезд, у вас же кровь, дайте я вытру, — а Ленка внезапным точечным ударом кривоватой ножки в пах освободила дверь, и мы загремели в таежную тьму. И я снова опозорился, потому что не мог обсуждать происшествие похохатывая, хотя мы и отделались легкими ссадинами. Вдобавок я чувствовал, что мы не правы, — совсем не требовалось сшибать кавалера с поребрика. В результате Леша никогда не вспоминал о нашем совместном подвиге, хотя подобные эпизоды составляли самые праздничные его стоянки вдоль сурового жизненного пути.

Что характерно — Катька в его глазах вела себя как и подобает бабе (Ленка-то была недосягаема, и мои неумеренные дифирамбы ее решительности тоже только раздражали его: ты бы, мол, что в этом понимал), а потому он охотно потешался над Катькиным перепуганным лепетом: молодой человек, дайте я вам вытру нос... После этого инцидента я повидал Катьку и в дорожной аварии, и на пожаре, как чужом, так и нашем собственном, вызванном удалой Лешиной сигаретой, вышелкнутой за печку, прямо в звонкую лучину для растопки, и убедился, что ее (Катьку) приводит в содрогание не столько кровь, сколько жестокость и подлость. А будет *надо* — она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но только чтобы кого-то спасти, а не восторжествовать над кем-то. Просто побеждать, без реальной практической цели, — это ей до того неинтересно и непонятно, что дураки в каких-то ситуациях принимают ее за блаженную. Она с удовольствием первая смеется и подбрасывает новые детали, когда над ней подтрунивают (если уверена, что это любя), зато когда я изредка вижу ее в серьезном деле, я начинаю чувствовать себя кем-то вроде дрессировщика медведя: эй, Миша, перекувырнись, распоряжаюсь я, и он послушно переваливается через голову — и вдруг однажды, взрывкнув, ударом лапы валит на месте лошадь, — мда-а... Когда я вижу, как эта вечная «хорошая девочка» ради спасения своей команды от победившей демократии пускается на такие штуки, от одних мыслей о которых меня пробирает холод: распродажа казенного имущества, нецелевое использование кредитов, подкуп должностных лиц — ну, словом, весь набор, о котором со справедливым негодованием пишут газеты. Ведь если кому-то понадобится кто-то из ее московских покровителей или питерских партнеров — это конец, тюрьма... А она живет, хлопочет, хохочет, да еще и наивничает, чуть опасность отодвинется от порога. Это при том, что мнительности у нее, как у всех глубоких натур, бездна — в коей она и пребывает, просыпаясь от ужаса в три часа ночи. Но днем по-прежнему хлопоты, смех, слезы, отчаяние, бешенство — и ледяная расчетливость, чуть повеет опасностью для *дела*.

Зато за пределами дела, во внутреннем мире — никакого мирного сосуществования с материальными фактами: любимые фантомы, именуемые идеалами, у нее ровно те же, что у прекраснородушной дурехи, по уши втрескавшейся в мой призрак. За двадцать лет, отбирая по человеку, она спаяла собственной кровью лучшую в городе команду аналитиков и программистов по управлению несметными городскими финансами, ведя постоянные сражения с партийным начальством — всегда из-за реальных

нужд, никогда не замахаясь на абстрактную политику. Однако чуть забрезжило Горбачевым, она пустилась в активную антипартийную деятельность: выводила отдел на митинги, распечатывала на казенном принтере листовки, ходила со своими мужиками по дворам агитировать за покровительницу котиков Наталью Михайловну Мондрус. А когда пришло время утверждать план работы в обновленном демократическом Ленсовете, она с ужасом обнаружила, что до ее дела никому там нет ровно никакого дела — все были поглощены борьбой с коммунистами и друг с другом. Попавши как кур в ошип из собрания партийных долдонов на сборище демократических позеров, она была окончательно сражена тем, что мать-надежда всех котиков Наталья Михайловна Мондрус, ни на миг не переставая болтать, тоже вполне машинально приподняла руку за смертный приговор почти готовой системе, над которой Катька с ее орлами пропахали лет десять. С тех пор так и пошло: старые господа интересовались сначала собственной карьерой и только затем уже работой, а новые — только карьерой; у старых господ было так: деньги не свои — раздавай кому попало, у новых: деньги не свои — значит, надо раскидать по своим; старые господа с главными исполнителями непременно здоровались за руку — новые никого, кроме своих, замечать не желали. С демагогией было покончено — Катька с ее гвардией оказалась на улице. Но она не сделала попытки остановить на скаку клячу истории, равно как и не пожелала погибнуть под ее копытами. Она свела брови, как Родина-мать, да так и проходила года три, замкнувшись в каких-то авантюрах и аферах, — и спасла почти всех, кто не струсил и не слинял. Был момент, когда она взяла в долг три тысячи баксов и платила ими зарплату, надеясь, что как-то выгребет...

И таки кривая вывезла: какие-то коммунисты-оборотни, проникшие в демократические ряды, ввели ее в круг тех, у кого готовы взять «откат». Так что теперь ее орлы и орлицы снова пашут, как при старых господах, часов по двенадцать — четырнадцать на какой-то московский филиал, а Катька за это ежеквартально, обмирая от ужаса, возит благодетелям тяжеленькие денежные блоки. Возвращается из Москвы в тот же день сидячим поездом, даже не заходя в любимую Третьяковку, — обожаемая Москва превратилась для нее в место преступления, которое необходимо покинуть как можно скорее. Потом она несколько дней отходит, заводит скорбные разговоры о своем падении, о том, что теперь, наверно, и я в душе презираю ее, — на что я отвечаю с неизменным пафосом: «Прежде я тебя любил, а теперь уважаю». Затем я почтительно именую ее «Дон» и пытаюсь поцеловать перстень. «Мерзавец», — безнадежно вздыхает она.

«Я правду о тебе порасскажу такую, что будет хуже всякой лжи», — говорит Катька о демократии, но ни о каких масштабных переменах больше не помышляет: «Снова будет пять лет пересаживаться, а не работать». Она всегда как-то незаметно стягивает свои притязания в рамки возможного. «Если я чего-то начинаю хотеть, значит, где-то уже верю, что получится», — говорит она и повторяет первую заповедь демократического катехизиса: демократия есть наихудшее общественное устройство, не считая всех остальных. Я же, позевывая, возражаю, что наилучшего (наименее плохого) общественного устройства не может быть точно так же, как не может быть наилучшего лекарства — в разных ситуациях нужно разное.

Катька ищет компромисса между своим реалистическим рассудком и утопической душой в непрерывных пожертвованиях — на рождения и похороны, на вдов и сирот (на храмы никогда), — но при этом постоянно саркастически проходится и по рыданиям о всеобщей бедности, да и по самим беднякам: у бастующих шахтеров спины жирные, тетки, перекрывающие уличное движение, все в шубах, на работу на два часа в день никак не найти уборщицу... Когда моя еврейская душа не позволяет выбросить поношенное пальто — «отдай лучше бедным», — она растерянно разводит руками: «Бедные все толстые». Но «вуткинской» родни эти абстрактные

подкусывания не касаются совершенно — ее она подкармливает до семьдесят седьмого колена, а для Леша, чтоб он окончательно не спился, держит полуненужную должность курьера. С нечистой, прокуренной седины сквозным чубом бывшего блондина, малиновый и хмурый, он смахивает на не очень крупного, но очень достойного провинциального начальника. Время от времени романтическая натура все-таки берет свое, она на несколько дней пропадает (как правило, все-таки доставив пакет по адресу — «я как батя»), потом еще несколько дней передается бурной курьерской службе, стараясь не попадаться Катьке на глаза, пока она не отойдет: сорок лет назад, совершая налеты на соседские сады, он непременно притаскивал и ей по два-три кислых яблока, и забыть эти дары она уже никогда не сможет. Тем не менее Леша теперь открыто ее чтит, но со мной по-прежнему держится строго. «А ты, зятек, помолчи», — может вдруг остановить меня на каком-нибудь широкосемейном торжестве, ввергая в мелкий соблазн: а не выйти ли из-за стола — пусть-ка испытает на себе священный ужас «вуткинской» общины, где я почти каждого хоть чем-нибудь да облагодетельствовал и скорее всего облагодетельствую в будущем... Но ведь повиснут и на мне, начнут умолять, тащить и не пушать — в столкновении с хамством мы всегда проигрываем: победа над ним так же противна, как и поражение. Поэтому я стараюсь не бывать там, куда приглашен Леша. Увы, я не настолько мелочен, чтобы раз и навсегда загнать Лешу под лавку, хотя мне для этого достаточно пошевелить пальцем; но — еще раз увы — я и не настолько великодушен, чтобы полностью снизить к нищему облезлому неудачнику, понесшему особо непоправимый урон в зубах, которого мне бывает даже жалко, пока я не вспоминаю, что и я, в сущности, такой же неудачник. По своему отношению к мучительнейше любимым не так еще давно детям я вижу, что не умею по-настоящему жалеть тех, кого не уважаю. Но снисходительность немедленно снисходит на меня, когда я отдаю себе отчет, что Леша и подкусывает-то меня только ради сохранения исплесневевших остатков уважения к себе. Вот когда мы пили с ним на Заозерской кухне — в единственной комнате спали дети, — тогда я его злил по-настоящему: Катька, краса и гордость ковригинского рода, обожает какого-то слюнтяя, сопляка!.. Вдобавок самое обидное — держит его почти за героя. Я и правда не раз повергал ее в ужас, то прогуливаясь по карнизу третьего этажа, то мимоходом прихватывая с витрины яблоко или конфету, но сам-то я чувствовал некую радикальную разницу между хорохорящимся молокососом и настоящим мужиком. Когда мы с Лешей, поддатые, вваливались, скажем, в такси, водитель, как бы я ни косил под бывалого, с полувзгляда раскалывал во мне человека несерьезного и начинал обращаться только к Леше — и они заводили грубовато-дружелюбную беседу мужиков, уважающих друг друга. Да, содержание их разговоров тоже было бесконечно скучно для меня, ибо с головкой уходило в мир повседневных реальностей, — но главным, что мгновенно превращало меня в изгоя, было, я думаю, мое желание нравиться. В субкультуре российских городских низов достойным считается лишь презрение к случайному встречному — своего здесь опознают по умению показать, что ты для него такое же дерьмо, как и он для тебя.

Леша был лучше меня — его возмущали вещи, для моей сухой, рациональной натуры почти неуловимые. Леша и впрямь очень умело стимулировал мною свои любимые фантомности, на моих оттаптываясь нечищенными сапогами реальных фактов. «Вот кого надо расстрелять!» — Леша вперивает в меня скорбно-испытующие подзаплывшие Катькины глаза (вскипающий голубой лимонад), пытаюсь разглядеть, осталось ли во мне хоть что-то человеческое. «Осталось, осталось!» — умоляю я взглядом, и он снисходит до объяснения: «Сегодня курил с мужиком в тамбуре. Он немного высунулся — стекло раньше кто-то разбил (тоже руки бы поотортать!), и со встречной электрички какой-то мудила как зафигачит огур-

цом — сразу в два глаза. Все! Семенами забил — глаза можно ложкой выгребать. Ну?» Я спешу выразить глубочайший ужас и негодование, но от его соколиных заплывающих глаз не успеваю укрыться просверк сомнения. «Уж сразу и расстреливать... И неужто так-таки два глаза?..» Лешины глаза превращаются в пузырчатое стекло: я опять оказался не способен на чистое, высокое чувство. Тем не менее он дает мне великодушный шанс реабилитироваться на последней сываине — войне. Не подумайте, я тоже не был отщепенцем и циником — «По дороге на Берлин», «Жди меня», «Когда на смерть идут — поют» тоже волновали меня до слез, но я понимал, что истинная страсть должна быть неразборчивой, возбуждаясь от самого грубого «сеанса»: я не мог бы, как Леша, постоянно возить с собой в электричке затрепанные, словно игральные карты, ширококарманного формата серийные книжки под грифом «Подвиг». Тем более я чувствовал себя циником и снобом, когда под вторую бутылку Леша с трагическим напором зачитывал из какого-то «Подвига», как трижды отброшенный немцами батальон придумал толкать перед собою по льду замерзшие тела убитых товарищей: «Мертвецы надвигались неумолимо, как судьба», — я лишь холодел при мысли, что ненавистный бесенок честности умелой щекоткой сумеет исторгнуть из моей груди спазм истерического смеха, — и я профилактически изо всех сил щипал себя за бедро.

Внезапно Леша извлек из небытия Катьку и принялся испытующе рассказывать об одной семейной паре, которой гестаповцы защемляли дверью мошонку — я хочу сказать, зажимали мужу на глазах жены, чтобы она выдала какой-то шифр. «Я бы выдала», — с ужасом созналась Катька, успев мимолетно вспыхнуть при слове «мошонка». Я втянувшимся животом ощутил, до чего Леша уязвлен, что мысленно Катька наверняка спасает не чью-нибудь, а мою мошонку. «Заучилась. — Леша долго вглядывался в Катьку, как бы не решаясь верить своим глазам, и вдруг сморщился от невыносимой боли — я даже немного расслабился, когда понял, что это он икает. И он действительно вышел из икания строгим, но усталым: — Ты Ковригина или не Ковригина? В таких случаях, даже если ребенка будут убивать на твоих глазах...» Мне пришлось бросить в ход все мимические средства, чтобы показать, что я принимаю его уроки как высочайший знак нашей дружбы, ибо ни от кого другого я бы такого не потерпел — тем более что ни с кем другим он бы и не был так откровенен.

Я должен был особенно остерегаться малейшей бестактности, поскольку Леша и пил мое, и закусывал моим. От Катьки мне было известно, что Бабушка Феня уже пыталась несчастного Лешу, не стыдно ли ему жить на нашей тощей шее. «Стыдно, — с надрывом ответил Леша. — Уж так стыдно...» Разумеется, за одни только эти слова (ведь это же и есть самое главное — слова, переживания) следовало простить Леше все пустяковые материальные обстоятельства: ну сорвался человек — трагическая же личность! — ну прогудел свои четыреста со сверхурочными минус алименты (Ленка мстительно ставила Бабушку Феню в известность, что алименты Леша платит аккуратно по исполнительному листу), — а вы представьте, как ково с сознанием всего этого позора каждый вечер являться пятым в единственную комнату (снять такую же в Заозерье можно было за двадцать рэ) и кормиться на наши двести плюс материны двадцать четыре! Да если ты не последний жмот, сухарь и долдон, ты просто обязан понять и простить человека в столь мучительных для него обстоятельствах! А если он проделает то же самое во второй раз? Вдвойне понять и простить. Ну а в третий? Втройне понять и простить. И так до семью семидесяти семи раз. А потом все списать и начать новый счет с нуля.

Что значили наши мелкие неудобства и лишения в сравнении с тем адом, который должен был носить в душе Леша, вынужденный вернуться на службу, так и не повидав умирающего отца, батю! А ведь злая судьба на этом не успокоилась — в части его догнала новая телеграмма: скончался

отец. «Я заплакал...» — Леша надрывно придвигается ко мне, впиваясь в меня подзаплывшими Катькиными глазами (когда она сердится, я поддразниваю ее Шолоховым: «насталенные злобой глазки»). Но Лешины глаза действительно наливаются презрением и яростью, и он начинает почти с ненавистью трясти чубом, явно передразнивая мои скорбные поддакивания: ты-то, мол, что понимаешь в трагическом! И мне снова остается поникнуть головой — я действительно ничего в трагическом не смыслю. И отец мой, слава богу, жив, и с Катькой бы я не загулял, стрясись с ним какое-нибудь несчастье, да и Катька первая бы меня к нему выпроводила, если бы даже мною овладело это высокое помешательство, — словом, мне, увы, и в будущем истинные трагедии не угрожают.

Я был готов понимать и понимать, хотя в глубине души все-таки подло надеялся, что рано или поздно мое великодушие тоже не останется незамеченным. Поэтому я был, можно сказать, ранен в самое сердце, когда услышал от Бабушки Фени, что мне «хочь на голову клади». Бесспорное великодушие бывает только у сильных — великодушие слабого неотличимо от стремления отдать раньше, чем отнимут, а я уже начал из двух равноправных версий всегда выбирать наименее выгодную: если я неотличим от труса и слюнтя, значит, я и есть трус и слюнтяй.

«Ты тоже держишь меня за придурка? За телка?» — спросил я у Катьки пересохшим голосом, едва дотерпев до минутки уединения. «Я считаю тебя очень умным и благородным человеком», — преданно отрапортовала она. «И что, с умным, благородным человеком надо обращаться как с придурком?!» Она не нашлась, что ответить.

Еще и дома позвякивать броней непроницаемой любезности — для вчерашнего рубахи-парня это был явный перебор. Но я, омертвело упершись рогом, выдержал и этот искус, отстегивая кирасу только под одеялом (задача облегчалась тем, что и раздеваться, и одеваться приходилось в непроглядной тьме). На мое счастье (оно еще не было и Катькиным счастьем), Бабушка Феня была, повторяю, изрядно глуховата, а Леша и пьяный, и трезвый засыпал как убитый, вернее, смертельно раненный: время от времени он издавал то гневные, то невыносимо жалобные стоны, не приходя в сознание. В сознание приходил я и каждый раз не сразу понимал, где я нахожусь и в какую сторону повернуты мои ноги, — для этого приходилось окончательно просыпаться и потом долго вслушиваться, как во мраке (вздрагивал пол) тяжело молотят железом в железо проносившиеся в Финляндию товарняки. Катька дышала ртом, как простуженная, иногда начиная похрапывать еле слышным рокотком, словно впадшая в сосредоточенное мурлыканье кошка. Я не без досады легонько потряхивал ее за плечо, и она, не просыпаясь, послушно затихала. И мне становилось советно за свою досаду. Наедине мы с нею оставались только на нашем диване «Юность», отзывавшемся звучным шорохом далекого прибора на малейшее наше движение.

На какое-то время Юля оказалась единственным человеком, с которым у меня оставалась возможность быть искренним, то есть притворяться тем, кем хочется, а не тем, кем надо. «Кто это, думаю, так оживленно разговаривает? — повествовала в буфете Пашкиного особняка одна ядовитая дама. — Оборачиваюсь — а это наши молчуны!..» И изумленно повела рукой в нашу с Юлей сторону. Юлины размытые губки принимали надменное выражение, я же оставался непроницаем, как писец китайского императора.

Прекратив заискивать перед Лешей, я почти перестал и подавать поводы в чем-то меня уличать — ему оставалось лишь собирать тройной урожай с кухонной дребедени. «Крышку надо снять», — с безнадежной улыбкой втолковывал он мне, если я не в тот же миг реагировал на крик: «Уходит, уходит!» (молоко из кастрюли). Как-то уже весной молодые мужики из нашего двора, разрезвившись, начали состязаться, кто дальше прыгнет,

и Лешины босые пятки оставили самые далекие лунки среди первой травы. «Ты хоть ботинки снимй», — с усталым состраданием посоветовал он мне, указывая на мои туристские ботинки за червонец. Я почти не разбегаясь (рывок на последних пяти-шести шагах) махнул на метр дальше — Леша и поныне, желая сказать мне приятное, напоминает, что я обскакал его на ступню.

Я и дочке читал перед сном, не поднимая забрала.

Все неопрятнее погрязая в служебных и бытовых реальностях, внутри я становился все подобранный и упрямей: в половине седьмого (полминуты на портянки) я выбегал раскидывать снег до шоссе (чтобы не ходить весь день с мокрыми ногами), а потом снегом и растирался; в метро, в очередях немедленно утыкал себя носом либо в какую-нибудь задачу, либо даже в презираемые мною прежде слова Мишкиного английского — ибо, отпуская душу по старой привычке повитать в М-облаках, я обнаруживал ее перебирающей картофельную кожуру и луковую шелуху в мусорном баке. Мне приходилось безостановочно гнать ее от дела к делу, чтобы она не зарылась в помойку безвозвратно.

К сожалению, я до конца не сознавал, что и зачем делаю, — иначе я не совершил бы многих М-глупостей, не дал бы вовсе никакой воли своей начинающей паскудиться (опрощаться) душе: чей-то кривой взгляд, пренебрежительное слово, пуд лука, кубел сала — вот к чему она устремлялась, чуть я прекращал ее охаживать плетью целеустремленности. Как-то, целеустремленно дыша, я сбрасывал с крыльца лопатой наколотый мною же мраморно-слоистый снег и трижды подряд не сумел сбить ледовый (оказалось, цементный) нарост — и с внезапным стоном хватил деревянной ручкой о бетонный край, расколов ее сразу и вдоль, и поперек. Однако я тут же отыскал под снегом подходящую жердину и вытесал новую ручку: в зримом мире, где последствия были наглядны, я все-таки обуздывал М-порывы.

А вот в незримом...

Разумеется, я не превратился в коммунального склочника — я просто перестал специально заботиться об облегчении Лешиней жизни: если мне нужно было переговорить с Каткой о какой-то денежной нехватке, я и говорил, не выманивая ее воровато на кухню с Васькой или в ледяной коридор. Правда, когда Леша давал деньги на свое пропитание, я мимоходом интересовался все-таки без него: «Как, целых сорок?.. Широко, в ковригинскую природу». Главное было никогда не пить с ним — это открывало ему возможности сразу и фамильярничать, и делать вид, будто я тоже заинтересован в этих расходах. Поэтому Леше приходилось довольствоваться Васькой, который по простоте души сам никогда Лешу не угощал, являя по отношению ко мне противоположную крайность (вплоть до брюха, совсем уж вольготно раскинувшегося через резинку тренировочных штанов), а потому, в силу сближения крайностей, тоже не удовлетворявшим высших Лешиних запросов. «До чего серый народ — тверские!» — раздосадованно являлся он в комнату красный, потный, но так и не сумевший спустить излишки романтизма. Точно, точно, ни одной песни не знают, горячо подхватывала Катка, хранившая в душе вековые удельные распри: ихние, смоленские, были куда забористей!

В тот год по радио разыскивали младенца, исчезнувшего у Гостиного вместе с коляской, и Васька сказал как о чем-то само собой разумеющемся: «Еврею украли». Я даже почувствовал сострадание к такой его дикости. Про евреев ему объяснил не хрен собачий — маршал, которого он когда-то сопровождал на охоту, но даже Леша выглядел недовольным столь вульгарной компрометацией вообще-то здоровой идеи. Самого его связывали сложные отношения с мастером, чью фамилию Бабушке Фене почему-то было легче выговорить как «Эхроз». «Ты же ж с Эхрозом дружил?..» —

всплескивала она руками, и Леша горько усмехался, отсекая мое присутствие цепенеющим взглядом: «Ты же знаешь, как евреи дружат».

Кажется, его особенно заедало, что бабы во дворе меня любили, и более того, я перешучивался с ними, как в былые времена: хотя борьба тоски с упрямством оставляла в моей душе очень мало простора для игривости, обмануть неосторожно вызванные мною ожидания я уже не мог — нащупывая ногой дорогу, отвечал из-за горы поленьев тоже что-то залихватское, когда соседка-«простигосподи» задорно кричала мне: «Ленивы русские: еврей бы за три раза отнес, а ты за раз прешь». Я вовсе не хочу сказать, что еврейский вопрос в Заозерье сколько-нибудь серьезно занимал умы, — я хочу сказать, что он не занимал и моего ума, пока я не видел в нем средства меня уязвить. Да нет, не просто уязвить — еще раз доказать, что я телок, что мне хоть на голову...

С Катькой я не делился — было стыдно признаться, сколько оскорблений я уже успел проглотить. Тем не менее она пыталась быть со мною вдвое более ласковой, а однажды, часто-часто мигая, словно в чем-то позорном, призналась, что ей невыносимо жалко видеть, как Леша, попивши чаю, покорно вылезает из-за стола и, бренча рукомойником, моет чашку. Но стрелу жалости я успел отбить на лету, ощутив лишь поверхностный укол. Чувствуя, что раскиснуть означает погибнуть, я сделался простым, как таран. А что, я, что ли, не мою свою чашку? Нет, на союзников здесь лучше не рассчитывать: душа под панцирем болела непрерывно, как нарыв, и даже легкий щелчок в обнаженный участок... Мне бросилось в глаза, что Лешин нос имеет ту же конструкцию, что и Катькин, только более огрубленную — равно как и его пафос: от Катькиного пафоса меня и поныне передергивает, как фронтового невротика от новогодней хлопушки.

С тех же самых пор я принялся невольно искать на Катькином безвинном носу Лешино кишение малиновых прожилок и на крыльях его в последние годы, увы, понемногу начал находить. А отдельных разведчиков, дважды увы, даже и на щеках. Ощущая при этом — трижды увы — не страдание, как обычно, а раздражение. Признаки ее сходства с братом продолжают сигнализировать мне сквозь все годовые слои: не расслабляйся, помни! Я-то, впрочем, давно все забыл, но решалка моя — она помнит! Она прекрасно помнит, что моя зарплата, мои приработки незаметно съедались в общем котле — я этим еще и гордился, покуда был телком, — а Леша раз в бог знает сколько месяцев выбрасывал веером на скатерку двести рублей — половину или треть своей премии, и Катькой немедленно овладевала неудержимая потребность превзойти его великодушием: «Давай купим Леше костюм!» В Лешиных рассказах постоянно мелькали такие обстоятельства места, как такси, ресторан, а я раздумывал, выпить ли кофе из бачка с ватрушкой («бачок с ватрушкой» все-таки лучше ковригинской манеры говорить о куске хлеба: «я его с чаем выпью» — и детей ведь перучивать приходилось), так вот, я всегда колебался, выпить ли кофе с ватрушкой или все равно через четыре часа дома буду. Хорошо, я меньше зарабатываю, но ведь я все равно трачу на него больше, чем он на меня! Притом я не зажимаю вообще ни копейки.

Разделить пуд лука и кубел сала можно таким количеством равно справедливых способов, что если согласия не возникает автоматически, то достичь его невозможно никакими обоснованиями. И тем не менее, услышав, что костюм «в скрытую клетку» куплен за сто восемьдесят рублей, я не удержался от напоминания: «Я ношу за восемьдесят, и ничего». (В костюме мне было легче хранить непроницаемость, а то бы я и дальше ходил в свитере, оставшемся мне от Юры Разгуляева.) «Лешу нужно женить, — заговорщицки заюлила Катька. — А без костюма его и показать нельзя приличной невесте».

Мне Катька объясняла, что хочет найти для Леши невесту с квартирой, но на самом деле она уже тогда любила женить: при виде гуляющего на

воле самого завалящего мужичка она и сегодня немедленно принимается перебирать свой постоянно обновляющийся банк незамужних подруг. Тогда-то я впервые с изумлением увидел, как приличные вроде бы женщины, вместо того чтобы на гнусное предложение ответить пощечиной, принаряжаются и едут знакомиться с человеком другого круга, которого бы они не пригласили к себе на день рождения, но с которым тем не менее были готовы делить кров и постель. «Ты не знаешь, что такое одиночество», — драматически произносит Катька, и я торопливо увожу разговор в сторону, чтобы не всколыхнуть в ней фамильной театральности: Леша прямо-таки дублирует ее в такие минуты. Я многожды убеждался, что движет ею жажда совершенства — в любой роли она стремится соответствовать какому-то идеалу: соорудить лечо, «как у молдаван», рыбу — «как жиды делают» (цитаты из Чехова были тем паролем, по которому мы опознали друг друга), а в туберкулезной больнице она старалась и перхаться как-то по-особому, каждый раз удовлетворенно констатируя: «сухой кашель». Но для моей решалки ковригинская театральность Лешей дискредитирована навеки, — у меня начинает сводить губы от гадливости.

Кстати, с приличными невестами Леша в своей все более скрытой клетке становился приятен, неглуп и даже остроумен. По-пролетарски, конечно, но увядающих невест с красными дипломами такие мелочи не пугали — это они, невесты, его пугали. Его сковывали их чистенькие блузки, милые, застенчивые улыбки, и в конце концов он сбежал к бабе, у которой можно было разлечься в ботинках под визг и лай, повесить фингал и самому получить по морде — все как у людей. Кассирша в заводской столовке, коренастенькая, миловидно-припухлая, она даже самые невинные вещи выпаливала, будто отругиваясь. Начавши прямо со смотрин, она закатила «вуткинской» общине даже для этого привычного народа чересчур уж первобытный скандалище. Добродушный, отмытый кровью бывший полицей с рюмкой в ручище пожелал высказать ей что-то проникновенное: «Тебе подвезло — ты в такую семью попала!..» — «Чего-чего?.. Мне подвезло?! Это вам подвезло!!!» Крики, вопли, грохот стульев, звон тарелок — и несчастный постирающий, надрывающийся в тщетных усилиях быть услышанным: «Да ты ж меня не поняла, я ж тебе сказал: ты в такую семью попала!..» Свято убежденный, что рассердиться на столь неотразимо лестную констатацию можно единственно по недоразумению, он выплескивал все новые и новые ушаты бензина в это беснующееся пламя, — в итоге же Нью-Ленка больше всего возненавидела почему-то его сладкоречивую супругу-боровичка и даже на поминках по Бабушке Фене в заозерской столовке успела вцепиться ей в волосы, так что бедняге пришлось часа полтора отсиживаться в женском сортире — ей туда даже тайно просовывали портвейн с салатом, в то время как прочие дамы были вынуждены пользоваться мужским отделением.

Никак не могу привыкнуть, что такие люди, как Ленка-два, тоже умирают — и тоже, стало быть, заслуживают какого-то почтения. Они тоже способны сделаться благообразными и правдоподобными, как те образцово-показательные фрукты с уроков ботаники, на которых какой-то нетерпеливец оставил следы своих простодушных зубов...

Ко времени тех исторических смотрин Лешина призрачная клетка уже окончательно растаяла под некультурными слоями празднеств, в которые он стремился превратить все свои дни: если после первого же выхода в свет завалиться в новом костюме за печку... Хоть Катька и подметала по два раза в день, щель, куда обрушивают дрова, все-таки не может быть чистой, как операционная.

Когда он еще только громыхнул чем-то громоздким в коридорчике, где не было ничего громоздкого, я понял, что он пьян запредельно. А когда, прошатавшись к столу, он оперся на него кулаками, свесив золотой с медными протертостями чуб, мне стало ясно, что он не только пьян, но и па-

тетичен. Чтобы ненароком не сблевать, через холодный коридор, где опять-таки не обнаружилось ну ровно ничего, что могло бы громыхать, я удалился на холодную кухню обдумывать, где бы мне скоротать вечерок: случилось, одевшись потеплее, я отсиживался с книгой на вокзальчике под мирный (то есть не касающийся меня) галдеж ватно-брезентовых рыболовов с ящиками, — вот только свет там был очень дохлый. На кухне, с тех пор как мы с Катькой стали полностью платить за общий свет (вещь, для простых людей совершенно излишняя, равно как и тишина), лампочка стала вполне пристойной, но там за меня взялась простодушно-перепуганная Васькина половина: Васька-от прибежал пьяной-пьяной, жалобно пела она, и как начал требовать денег — и требовать, и требовать...

А ведь нет уже и его, Васьки, — мужики в Заозерье мерли как мухи. С чего-то и Васька начал писать кровью — пока не выписал всю до последней капли, как впоследствии объясняла его жена, в тот исторический вечер сокрушавшаяся по деньгам, за которые ему предстояло расплачиваться кровью. Она держала два рубля по рублю, вот так вот, сверху была треха, а снизу пятера, и пока она разбиралась, что и как, Васька выхватил пятеру и убежал, а она смотрит: вот два рубля по рублю, вот сверху треха, а тут Васька подкакивает и «с-под низу» выхватывает пятеру...

— Так там была еще одна пятера? — с напряжением переспросил я, невольно прислушиваясь, что делается в комнате.

— Зачем еще одна? Вот так вот лежали два рубля по рублю, вот так вот треха, а снизу пятера. А Васька как подскочит...

От испуганного, нечеловеческого вопля нашей дочурки моя голова мотнулась, как от удара, — ошпарили кипятком, мелькнула безумная мысль. В комнате не было никакого кипятка, но именно сегодня Бабушке Фене на улице рассказали, как чья-то трехлетняя девочка «обернула» на себя кастрюлю с кипятком: девочка, естественно, «закричалась» до смерти, а недоглядевшая бабка «сойшла с ума». Пока я протискивался в коридорчик мимо остолбеневшей соседки, продолжавшей пялиться на воображаемые деньги, из нашей комнаты не донеслось ни звука — как будто тот вопль был последним. Однако в дверях мне ударил в уши еще более оглушительный визг (после первого она просто «зайшлась», задохнулась), а в глаза — распаленно устремившаяся мне навстречу теща: «Чужие люди не бросать!..»

Совершенно ошалевший, я успел лишь осознать, что глянцева, как помидор, истошно вопящая дочка на руках у бледной, беззвучно лепечущей Катьки, благодарение богу, жива, и лишь потом заметил Лешу, застрявшего в положении лежа между стеной и гофрированным боком горячей печки. «Чужие люди — ах ты!.. Так я его что, еще и вытаскивать обязан?!» — едва не схватил я тещу «за воротки» ее «бурдовой» кофты. «Еще заикаться начнет...» — вернула меня в разум на глазах синеющая дочурка, превратившаяся в сплошной орущий ротик. Стиснув зубы, я начал протискиваться за цилиндрическую печь — припекало неплохо.

Лешу заклинило, а я, нависая над ним, был вынужден, чтобы не упасть, опереться рукой в стену, а потому мог тащить его одной лишь левой. Правда, он тоже пытался мне помогать, и Бабушка Феня тянула его за ноги, так что в конце концов, почти стацив с него пиджак и штаны в скрытую клетку, мы выволокли его на оперативный простор.

— Ты человек или свинья? — звенящим шепотом воззвала к нему Катька, тут же залезав перед выжидательно притихшей дочкой: — Все в порядке, все в порядке, они играют, играют...

Леша мрачно подтянул штаны, одернул пиджак и устал на нее мутный патетический взор:

— Ты знаешь, что такое любовь? — На последнем слове он рыданул.

— Знаю! — гневно вскинула голову Катька и поспешно залопотала: — Все-все-все-все-все-все-все, а с кем мы пойдем на саночках кататься?..

— Знаешь... — надрывно усмехнулся Леша, в борьбе за равновесие волнообразно изгибающийся, словно изображение в неисправном телевизоре. — Что ты знаешь!.. Ты не знаешь, как любят Ковригины!

— А я по-твоему кто? — не поняла Катька («Все-все-все-все-все»).

— Ты?.. Ты не Ковригина, ты... — Продолжая исполнять хула-хуп в замедленной съемке, он с беспредельным отвращением выговорил мою действительную богомерзкую фамилию.

— Ах вот как!.. — задыхнулась Катька. — Ну, спасибо, дорогой братец, этого я тебе не забуду!..

— Я тоже не забуду! Вышла за еврея, так...

И я понял, что наступил миг, определяющий судьбу. Определяющий, кем ты будешь жить.

Я шагнул к нему, и Катька с дочерью на руках стала у меня на дороге, произнеся лишь одно слово: «Умоляю». И я увидел вытаращенные от ужаса дочкины глазенки, уже разинутый для нового вопля ротик, краем глаза засек Бабушку Феню в какой-то бессмысленной кособокой позиции — и понял, что — нельзя. Еще не успев уяснить в точности что, но — нельзя. Нельзя подвергать новому ужасу ребенка (стукнуло ли ей уже три? Стукнуло), нельзя бить сына на глазах у матери, нельзя вносить в дом новое безобразие собственными руками, нельзя ставить Катьку в положение между... На Катькины бесчисленные сетования, что я ее не люблю, я мог бы много раз ответить, что ради любви к ней я пошел на самую тяжкую жертву в своей жизни, — только это было бы ложью. Чтобы я отказался от самого драгоценного, что у меня было, — от понта — из-за какой-то любви?.. «Из-за бабы», как с невыразимым презрением сплевывали в моем первом университете — ДК «Горняк»?.. Я остановился, потому что было *нельзя*. В тот миг я окончательно сделался взрослым человеком — уже не Москва, а я сам должен был определять свою судьбу. Не фантазии о себе, а реальную судьбу. И не только свою.

Я напрягся так, что затрещали сухожилия, напрягся, как шахтер, в предсмертном усилии пытающийся приподнять подмявшие его тысячи тонн грунта, — и обмяк. Обмяк.

По укатанному шоссе я шагал вдоль железной дороги (черные ели сливались с тьмой — жирными поваленными восклицательными знаками светился только снег на их лапах) и думал с таким напряжением, с каким думают, быть может, единственный раз в жизни. Мне приходилось раз и навсегда выбирать между честью и ответственностью, между самоуслаждением и долгом. Первый микроповоротик я уже совершил: не удалился загадочно, а как можно более буднично шепнул Катьке, что хочу пройтись, остыть. И вдумываться старался тоже с предельной будничностью, то есть честностью — ни в чем не самоуслаждаясь, вглядываясь исключительно в реальные последствия.

За дальним бугром занималось электрическое зарево, по небу начали вращаться спицы исполинского колеса — тени опор вдоль железнодорожного полотна. Я уже умел по лязгу отличать товарняки от электричек — это был товарняк, он долбил землю, как паровой молот. Ударил в глаза прожектор, нарастающий вой резко взял октавой ниже, когда электровоз (земля содрогалась под ногами) бешено продолбил мимо — пошли громы-хоть и метаться черные платформы с черным лесом. Эффект Допплера... Да не снится ли мне это — еще вчера дважды призер Всесибирской олимпиады по физике, полчаса назад блестящий лихой студент блестящего факультета, я иду, начинающий неудачник и слизняк, из какого-то убогого поселка вдоль железной дороги, по которой мчатся в Финляндию черные товарняки, оглушительные, будто заводские цеха, и придумываю, как мне устроить свою жизнь среди каких-то чужих страшных людей, которых просто *не могло* быть в моей жизни!..

Но они были. И надо было думать — очень серьезно думать! — как с ними обходиться. Что, если бы я поступил как подобает мужчине? Я врубаю ему справа, он грохается на десятирублевый сервант из комиссионки — звон стекла, вопли дочери, может быть, кровь, Бабушка Феня бросается его поднимать, Катька мечется между мной и захлебывающейся дочкой... Лешу, однако, с первого удара я, скорее всего, не вырублю — он поперет на меня, женщины на нас повиснут, с дочкой уж и не знаю что будет... Если он прорвется, я, скорее всего, снова его уложу: эти военные хитрости — в пах, в горло — в пьяном виде у него вряд ли пройдут. Но он не сдастся — придется или измолотить его до полусмерти, или вызвать милицию. И как потом жить — милицию простонародье не прощает, надо «разбираться самим» — разбираться человеку со свиньей. Теща, впрочем, ради лада и это проглотит, но не проглотит он: ведь в чувстве собственного достоинства единственное его достоинство — каждый раз, когда он напьется (то есть через день), он будет ко мне рваться сквозь женские кордоны и оскорблять почище сегодняшнего, если я стану отсиживаться за их спинами (хотя это было бы самое правильное). То есть мне все равно пришлось бы либо глотать эти извержения, либо через день драться. И спать одетым, чтоб не понадобилось отбиваться в трусах, если чувство собственного достоинства пробудит его среди ночи. То есть засыпать под утро, а потом ехать на работу, чтобы и там изображать любезную непроницаемость. И думать не о формулах — единственном, что еще держало мою голову над помойкой, — а о том, что меня ждет вечером.

Это что касается меня. А на что я обреку дочку, вообще страшно подумать...

Перед Катькой в ту минуту я не чувствовал ни малейшей ответственности, потому что, вольно или невольно, именно она ввела своего брата в мою жизнь. Но и предъявлять ей ультиматумы типа «или он, или я» я тоже чувствовал себя не вправе — это их дом, неколебимо напоминала мне моя рещалка. И если жить в нем нет возможности, надо уходить. Но уйти только потому, что невыносимо остаться, я тоже не имел права — я не имел права бросить жену и дочь без их вины. Снять для всех для нас квартиру, отнять у них половину моей и без того небогатой зарплаты тоже было нельзя — я был обложен этими «нельзя», как затравленный волк. Искать работу поденжной? Я уже искал — в плотники, впрочем, не пробовал. Но отрубить последнюю свободу, которую я мог иметь только при дворе Орлова, если даже я там и пария...

Выхода не было. Вернее, он был очевиден — терпеть.

Но сколько же можно терпеть?! А столько, сколько понадобится.

А если он потребует лизать ему его всколосившуюся рыжим пухом задницу фавна? Значит, надо будет лизать задницу фавна.

Но до каких же пор?! До тех пор, пока не появится возможность этого не делать.

Плевки получать как еврей, а за гонор держаться как русский — извините, с чем-то одним придется расстаться.

И я выдержал весь срок до Лешиной женитьбы. Выдержать можно все, если побольше думать о деле и поменьше о самоуслаждении. Мне было выгоднее его не злить, и потому я избрал новую манеру — простодушное дружелюбие сквозь легкую озабоченность: я как бы все время думал о деле, требующем моего срочного внимания. Все время куда-то спешить — так легче не расслышать, чего не надо. Помню, Бабушка Феня обрадовалась меховой жилетке, которую я привез с таймырской шабашки: «Леша будет в электричку поддевать». Не до конца изжитый гоношестый юнец во мне попытался взъерепениться: я, кажется, тоже езжу в электричке и тоже в осеннем пальто, — а взрослый человек, избавившийся от подростковых пороков, просто взял и прибрал жилетку подальше.

Сейчас, когда я опять живу с чужими людьми, — может, снова сме- нить любезную непроницаемость на приветливую озабоченность?

Но раздумывать было уже некогда — дверь отворилась, и в глаза уда- рило сияние, словно я открыл дверь на цветущее подсолнечное поле: в корректно просторной профессорской прихожей в окружении почетного караула наименее ценных книг меня встречала скромно сияющая Катька, статно охваченная желтым в полевой цветочек передником с подсолнеч- ным пятном на краю полянки. И этого темного пятна («раззява...»), и бедовых искорок в ее юрких голубых глазках (за версту видно, что пригото- вила какой-то сюрприз — «сколько можно оставаться такой дурой!..») в давнюю пору нашей «любви» было бы вполне довольно для досады: все слишком человеческое в ней мешало мне спокойно упиваться моими чув- ствами — она должна была каждую минуту возбуждать во мне нечто при- ятственное. Но сегодня все, что отдает в ней неловкостью, беспомощ- ностью, — плохо сидящий костюм, хорошо сидящее пятно — пронзает меня совершенно несоразмерной болью. Зыркнув туда-сюда, не видать ли вечных соглядатаев — детей, я приложился к ее губам, стараясь хоть са- мую малость выразить и унять муку моей нежности.

Катька до сих пор немножко смущается, когда я ее целую, а потому робко-выжидательно прикрывает глаза — особенно трогательно она зами- рает, когда я неожиданно для нее обнимаю ее сзади, замирает с недомы- той чашкой, с уюгом, с цветным султаном для смахивания пыли (она все время что-то делает) — в этих случаях я не удерживаюсь от разнеженного соблазна напомнить ей, что подобный смиренно-выжидательный вид при- нимает корова, когда ее собираются доить. В ответ Катька пытается меня чем-нибудь огреть — и лицо ее озаряется радостью, когда она обнаружива- ет в руке утюг. Однако при мысли, что человека и впрямь можно ударить либо прижечь утюгом, первая же приходит в ужас: спаси, Господи, не про нас будь сказано, не про вас будь сказано... В данный момент, прикрыв глаза, она вытягивает губы дудочкой, дабы придать процедуре немножко шуточный оттенок, — она не до конца уверена, что правильно себя ведет: «Противогаз», — традиционно определяю я это выражение лица. «Него- дяя», — безнадежно вздыхает она, и губы ее мгновенно распускаются в со- стояние «лошадь» — такими мягкими, добрыми губами лошади берут овес с ладони. «Мерзавец», — еще более безнадежно вздыхает Катька, но все- таки на долю мгновения задерживает на мне испытующий взгляд: только ли игра эти мои слова? И по-прежнему ли «лошадь» ласковое слово? Она так до конца больше уже не может мне доверять. Впрочем, и любознатель- ность ее не знает границ: Катька с первых лет могла заниматься этим де- лом (тогда еще не знали нынешней гнусности — «заниматься любовью») только с закрытыми глазами. Мне, в общем, так тоже легко было сосредото- читься, но в какой-то бурный миг я мог случайно выглянуть наружу и вдруг увидеть в упор внимательнейшим образом меня изучающий чрезвы- чайно живой голубой глаз. В заозерских электричках это меня постоянно выводило из себя: рассказываешь ей что-то до крайности значительное и вдруг — ну, поехала!.. — замечаешь, что она на что-то уже воззрилась за твоей спиной: вошел хромой, похожий на ее отца, у тетки непонятно как связан пуховый берет, внесли очень уж аппетитного младенца... Ради бесе- ды о чем-нибудь умном она и сейчас готова забыть обо всех своих невзго- дах — эта святая порода отличниц из простонародья, — но неиссякаемого любопытства дворняги (в добрую минуту она охотно сравнивает себя с дворнягой) не могут истребить в ней самые захватывающие построения Ницше и Бергсона: из-за этого контраста я не устаю поражаться, до чего быстро она все схватывает — и в тот же миг вновь с упоением ныряет в океан чепухи. «Ты поразительно умна для такой дуры», — делюсь я с нею, и она, мгновение подумав, бубнит, изображая двоечницу: «Другие еще глу-

пее». Именно из-за ее всесветной отзывчивости я люблю, когда удается вытаскивать ее в заграничные поездки: и за нее испытываю разнеженность, да и во мне ее всегда готовые слезы счастья немножко затрагивают какие-то навеки, казалось, оцепеневшие струны. Попутно я вновь и вновь дивлюсь точности ее вкуса — при том, что сонмища заботищ оставляют ей для высокого четверть часа в сутки. Но, влачаясь домой с еждневной битвы за хлеб, она каждый раз замирает перед плывущим в золоте прожекторов Русским музеем («Росси — друг жизни»): неужели это я, Я здесь живу — после вагончика, после Заозерья?..

Высокое вызывает у нее слезы восхищения, зато всякая дребедень — ликование, и я благословляю ее на дурацкие расходы примерно с тем же чувством, с которым когда-то водил детей в зоопарк. В Риме, в Лондоне она постоянно подтягивает меня на поводке к каким-то все плотнее закрывающимся от меня сторонам бытия. Вместе палимся на потрясающий купол, арку, картину, и вдруг ноги сами собой несут ее к какой-нибудь подворотне: оттуда уже поманила диковинная мусорная урна, горшок с цветами, занавеска, кувшинчик, вышивка — и то, что когда-то бесило меня в ней, сегодня ненадолго расплавляет во мне навеки застывший донный лед. «Живи, живи, моя глупышка!..» — мысленно зываю я к ней: мы только до тех пор и живы, пока нас волнует чепуха. Меня-то почти ничего уже не волнует, поэтому я все чаще совершаю разного рода бытовые оплошности. «Идиотик мой», — умильно сокрушается Катька: угасание моего интереса к реальности представляется ей нарастанием гениальности. Но рядом с Катькой я тоже начинаю замечать, дорого или дешево одеты жительницы Праги и Стокгольма, сколько среди них красивых, а сколько некрасивых и какого типа их красоты и некрасивости, какие салфетки они подкладывают под блюда, в чем заваривают кофе, что добавляют в выпечку... Меня даже не очень уже и злит, что она препятствует мне стырить какую-нибудь мелочь от бесплатного завтрака: она уже вступила в незримые, но глубоко личные отношения с прислугой и убеждена, что та помнит, сколько вареных яиц и пакетиков масла громоздилось в тарелках: «Это в природе женщин — следить, кто сколько ест». А перед отъездом за неимением веника она бродит по номеру на четвереньках и собирает крошки с ковра — иначе что про нас подумают! Подумают не только про нас лично, но и про русских вообще.

Чтобы унять подзатынувшийся спазм нежности, мне пришлось еще раз приложиться губами к Катькиной щеке, и я с тревогой ощутил, что ее лицо воспалено явно сильнее, чем это полагалось бы даже при нынешней проклятой жарнице, — и понял, что теперь целую ее с тою же тревогой и осторожностью, как и мою бедную милую мамочку, которую я никогда не целовал, пока с ней не случился весь этот ужас: я прикладываюсь губами к ее щеке (просится сказать — щечке) как к чему-то не просто драгоценному, но еще и невыносимо хрупкому. Все, что когда-то мешало мне «любить», то есть самоудовлетворяться ею, что именуется почти смешным в своей серьезности словом «организм», я теперь ощущаю как нечто невероятно милое и трогательное, я мысленно ласкаю ее печень, желудок и склонный к остеохондрозу позвоночник: ведите себя хорошо, мои милые, — ведь без них не было бы этих то радостных, то горестных, но всегда чистосердечных и всему на свете открытых глаз, напоминающих вскипевший голубой лимонад. А ее мозга (боже, какое ужасное слово... размозжить...) моя мысль касается прямо-таки коленапреклоненно: ведь именно там рождаются все эти бесконечно трогательные движения, эти чудеса доброты, хлопотливости, робости, бесшабашности, вздорности, великодушия, наивности и мудрости.

И каждый раз мною овладевает горькая растерянность, что все дивные дива ее души мгновенно расточатся из-за каких-то неполадок в пузырьчатых жирах и белках, проплетенных эластичными трубочками и проводка-

ми — мама, мамочка... — и мне в этот миг становится невыносимо жаль не только Катюку, но и каждого, кто подвернется на глаза. Даже себя немножко. Но Катюку — иногда я мычу и грызу костяшки пальцев еще и оттого, что до меня дошло с непоправимым опозданием, какое чудо на меня свалилось. Утешает только, что она и не ждет никакого возмещения за все горести, которые я ей причинил, — лишь бы брали, что она раздает, да похваливали, и она снова все забудет. Но боль часто пронзает меня и тогда, когда я вижу ее счастливой, — ведь это так хрупко и мимолетно...

Однажды кто-то насоветовал ей, что лучшее средство от остеохондроза — массаж босой пяткой, и у меня под ложечкой екнуло, до чего податлив под ногой оказался ее скелет. *Скелет* — я готов зарыдать при мысли о том, что внутри ее крупного сообразительного тела, в своем простодушии даже не догадывающегося о его бесконечной уязвимости, скрывается самый настоящий скелет, с американским оскалом черепа, с вынесенными наружу, как колёса карта, суставами членистоногих ног. Когда ей бывает жарко под одеялом, она высовывает для проветривания голую ногу, и я каждый раз с замиранием сердца вижу на ее ступне разросшуюся косточку, какие бывают у старух, — я с трудом удерживаюсь, чтобы ее не погладить. Но Катюкин голос, Катюкины глаза мгновенно гасят во мне иссушающую страсть вдумываться, как все устроено на самом деле, — я начинаю видеть мир таким, каков он кажется. Вот и сейчас моя рука, почтительно легшая на ее стан, сама собой начинает забирать в жменю ее аппетитный бок, а лицо мое тоже само собой принимает рассеяннo-блудливое выражение. «Как это подло с твоей стороны!..» — потрясенно, будто не в силах поверить своим глазам, произносит Катюка. И, подобно рассерженному гусю, наносит мне два воображаемых щипка большим и указательным пальцами.

«А что я такого делаю?» — я сама невинность. «Намекаешь, что я толстая! А я не такая уж и...» — «Ну что ты, ты изящна, как козочка, как...» Подобную околесицу мы иногда можем плести минутами, два не самых молодых, очень занятых и уважаемых гражданина. Сегодня Катюка борется с излишним, по ее мнению, а по моему — недостаточным весом по писанию какого-то нового пророка — Монтиньяка и каждое утро после посещения уборной спешит на весы, чтобы отметить в неведомой ведомости в точке минимума. (Вот так же и я в пятнадцать лет каждый день измерял рост непременно с утра, да еще чуть-чуть приподнимаясь на цыпочки.) Но пора остановиться, ибо, дай я себе волю, я истязал бы ближних бесконечными перечнями Катюкиных дарований не менее безжалостно, чем глупые мамыши и владельцы домашних животных — незатейливыми подвигами своих любимцев, умеющих — что бы вы думали? — сморкаться, почесываться, повизгивать...

Но все-таки я от Митьки балдел еще умопомрачительнее, дух буквально перехватывало, в глазах мутилось... Наркотик был дай Бог! Вернее, не дай Бог. Потому и ломка оказалась страшной. До сих пор стоит в ушах нежный звон его горшка под доверчивой струйкой — мы с Катюкой обмениваемся снисходительно-растроганными улыбками, а живоглазый барсучок, перевесившись, с неотрывным вниманием вглядывается в захватывающее зрелище. И когда этот барсучок перевоплотился в фиглярствующего пьяного борова...

Митька, в отличие от дочери, сразу меня заломал — дочка, явившись из небытия, возбудила во мне преимущественно тревогу: уж не чудовище ли я, если ничего к ней не чувствую? Славка оказывал к ней куда больше растроганного любопытства... Зато когда гордо сияющая Катюка поднесла сверток с «Митюнчиком» к окну больничного заозерского барака и дочка констатировала недовольно: «Он сердито спит», — меня сразу обдало жаром умиления. И пока наша первенка выслеживала под трухлявой больничной беседкой неизвестную кошку, а Катюка радостно похвалялась, что

чуть не истекла кровью, я не мог оторвать глаз от этого сердитого старичка, тщетно стараясь совладать с бессмысленной улыбкой счастья. Это сейчас у меня при мысли о Катьке всегда сжимается сердце, оттого что я не в силах защитить ее ни от одной из наседающих со всех сторон бесчисленных опасностей (от этой тревоги меня отчасти может забыть лишь Катькино присутствие), а тогда — ну, не истекла же, так чего про это столько твердить! От Митькиной кровати мне приходилось оттаскивать себя за шиворот — этот нежнейший рокоток (грубое слово «храп» невозможно обточить до такой эфирности — Катькино затрудненное дыхание и сегодня вызывает у меня не щекотку умиления, а все те же жалость и тревогу — в наркотики оно не годится), этот божественно слюнявый ротик... Однажды, в темноте поправляя ему соску, я внезапно почувствовал, как мой палец охватывает некая совершенно неземная субстанция — притом довольно настойчивая: осторожное высвобождение пальца завершилось звучным чмоком. «Слюнка-киселюнка», — я бы и сам с удовольствием причитал над ним не хуже Катьки, да статус мужчины не позволял.

Ага, вот он и сюрприз — Катькино воспаленное лицо приняло торжественное и даже торжествующее выражение.

— Поздравляю с днем рождения сына. — Катьку несколько смущает высота минуты.

Подавать руку она тоже не умеет — только сгибает ее в локте, как Буратино, и ладонь держит дощечкой. Я пожимаю ее крупную трудовую кисть, которую она стыдится подавать моим интеллигентным приятелям с бескостными ладонями, и наконец догадываюсь, откуда взялся этот избыток воспаленности: что-то жарила, парила, лепила, пекла, вертеться у раскаленной плиты в без того раскаленной кухне...

У меня перехватило дыхание от ненависти — это их, ковригинское, обожествление жратвы, эта животная страсть, «хоть камни с неба вались», набить защечные мешки разжиревших чадушек!.. Обменивать свою бесценную жизнь на жвачку, на дерьмо!.. И тут же пронзительная жалость к ней, что за все свои труды она получает только попреки. Не жратве она жертвует собой, а стремлению среди всех трудов и бед сохранить *праздник* — это торжество условности над фактом, а значит, торжество человека над животным. Я уже давно догадывался, что Катькино стремление устраивать жизнь вокруг себя — так же бескорыстно и бесцельно, как мое стремление все разбирать на части в жажде наконец дознаться, как оно там устроено *на самом деле*. Ее дар на любом пятиминутном привале немедленно вить гнездо — это... Когда мы изредка бываем в доме одни, я вслушиваюсь в Катькино безостановочное, как шелест листьев, шебуршание за стеной с почти благоговейным чувством, словно там возится сама добрая сила жизни. А в данный момент, когда у меня в руках такой козырь против этой вечеринки — «как, моя мать на одре» и так далее, — мне и чьей угодно беззащитности довольно, чтобы немедленно простить, а уж Катькиной... Меня заранее пронзила жалость от одной лишь мысли, какую злую и несправедливую вещь я мог бы ей сказать.

И я проникновенно пожал ее трудовую руку.

Я все понимаю: не время, никого не пригласила, в своем кругу, только Козочка и Барсучок, — с оттенком заискивания оправдывалась она, и я соболезнающе кивал — из последних сил цепляется, бедняжка, за этот отживший фантом: «свой круг», «Козочка», «Барсучок»... Она готова раскрашенный труп посадить за стол и потчевать его «саладиком» и «гуляжом», как выражалась Бабушка Феня, только бы не признать, что ни круга, ни квадрата, ни Барсучка, ни Козочки давным-давно уже нет, а есть совершенно чужие и неприятные хорохорящиеся неудачники. Что ж, значит, и мне следует потерпеть: семья — это школа, в которой аттестат окончательной зрелости выдается только вместе со свидетельством о смерти. Тем не менее мой сравнительно зрелый ум мгновенно отыскал две совершенно

легальные лазейки сократить свое пребывание в кругу семьи. Первая — душ, нужно будет подольше поторчать в ванной, вторая — мама: мне, в сущности, уже и пора в ночное.

На раздетого себя я стараюсь не смотреть (охраняю-таки свой внутренний М-мир, охраняю...), хотя в сравнении с Дмитрием я все еще Аполлон. Но оплываю неумолимо... Надо бы возобновить хотя бы облегченные тренировки, но каждый раз то заколет в сердце, то зашумит в ушах, то потемнеет в глазах... Ну да авось выйдет послабление: мама «полутчеет», деточки исчезнут для начала хотя бы с глаз долой... Ради этого счастья я бы и Зимний дворец пустил в размен. Если бы не Катька...

Я постарался под душем не только остыть, но и замерзнуть. Иногда бывает спасительна и Мишкина мудрость: все фантомы обманут, наука ускользнет, прелестные детки превратятся в злобных завистников, но ощущение прохлады, когда все истекает потом, останется непреходящей ценностью.

Потеют все по-разному. Катька трогательно — мне хочется промокнуть ее салфеткой (крахмальной, свернутой остроконечной шляпой, чтоб могла стоять на тарелке — как в лучших домах) и шепнуть, что не надо так уж старательно в одиночку изображать дружный гул за праздничным столом, чуть ли не переговариваться на разные голоса — за папу, за маму, за дочку, за сыночка, за невестушку... Дочь отирается и обмахивается платочком с брезгливым негодованием аристократки, которой в плебейской толчее какой-то мужлан чихнул прямо в лицо от всей своей хамской души. Решительно все проявления живой и неживой природы — от сломанного лифта до осеннего ливня — она воспринимает как продукты чисто российского свинства, я еще из ванной услышал ее изнемогающее: «Сейчас пообщалась с русским народом!..» Отступив от фамильной традиции, она смахивает не на барсука, а на козу, в фас раскосую, а в профиль несколько египетскую. Подозреваю, в ее М-мире она отчасти еще и Нефертити, а ее платок — опахало.

Дмитрий — кажется, что он истекает не потом, а жиром, сочащимся по его раздутым флюса на четыре щекам, по небритому вымени подбородка к распахнутым безволосым титькам. Но намекни я ему, что стоило бы чуть-чуть подтянуться, он тут же воспользовался бы долгожданным случаем указать мне, что и я уже далеко не Аполлон — хотя в сравнении со мной он рубенсовский Вакх против микеланджеловского Давида, несмотря на то что мне и годков побольше. Он отлично знает, что неумолимость старения ранит меня далеко не так больно, как бессовестная некорректность сопоставления, и оттого всегда бьет неотразимым оружием — ложью. Однако я давно уже не доставляю ему этого удовольствия, ни на миг не поднимая забрала рассеянной любезности.

Беспрерывно протирая подмышки крахмальной салфеткой и пожирая Катькины бесчисленные закуски, он опрокидывал рюмку за рюмкой, изображая прожженного алкаша: а вы, мол, фраера, зону топтали? А вокруг мороженого хера босиком бегали? Пахански развалясь на Катькиных диванных думочках, он всепонимающе кривит сочные губы сердечком, вместо смеха издает надсадное хехеканье как бы сквозь вековую прокуренность и пропитость — он всему на свете превзошел истинную цену. Хотя на самом деле он оказался не выше, а ниже своих былых фантомов — служение высокой цели, сорабничество с достойными людьми... И все это есть — по крайней мере ты сам всегда можешь стать одним из них.

Его блатные ухватки маменькиного сынка невыразимо омерзительны, и, зная это, он старается быть вдвое гаже. Но это ему не удается: когда я вижу, что передо мной враг, я ни за что не позволю ему спровоцировать себя на ссору, если мне это невыгодно. Я столько раз ставил дело выше гордости, что больше не имею права на гордость: любой резкий жест с

моей стороны будет означать лишь одно — я нашел оскорбителя достаточно безопасным.

Дмитрий достаточно безопасен — он может разве что в очередной раз навонять на весь дом. Но еще больше сгущать атмосферу вони — это даже мне не прибавит комфорта, а для Катьки вообще делается новым мучительным огорчением, — одна эта мысль разом давит мои М-страсти в зародыше. Ведь семейная ругань, драки, убийства — все это от безнадежности, вернее, от надежды, что кто-то наконец поможет, а я эту фазу давно миновал. В те нескончаемые годы душевная боль — это была и физическая боль «за грудиной» — колебалась от сильной до невыносимой, — помню, как-то на пустой остановке опустился на поребрик и скорчился, будто схватило живот. Но вообще-то физическая боль помогала сняться: защемить себя плоскогубцами за какое-нибудь малозаметное место — это позволяло передохнуть минуты две-три. И как раз в эту пору для Дмитрия пришла пора не только брать, но и отдавать, вследствие чего у него, как это обычно и бывает, начались искания. «Великий химик» стал в массовом порядке прогуливать занятия, пошли пьянки, хвосты — а изгнание из университета означало армию... Катька то упрасивала, то срывалась на скандалы, а я буквально лишился дара речи — нет, неблагодарность по отношению к тем, кто родил и вскормил тебя, в М-культуре почти вменяется в обязанность, — меня поражало, с какой легкостью он предает нашу *сегодняшнюю* дружбу: ведь мы уже давно были самыми настоящими друзьями, с упоением сопричастности самоуслаждались общими цитатами, чтобы погасить любую размолвку, довольно было одному из нас произнести магическую фразу: «Хочешь, я покажу тебе, где водятся черные белки?»

Все та же либеральная дурь — дружба отца с сыном... Отец должен быть авторитетной властью — или посторонним человеком, ибо пока я помню, что дети — моя продукция, до тех пор я буду к ним придирататься. А я докатился до того, что чуть ли не вымаливал у сына пошады, едва ли не подсовывал медицинские справки — одышка, переплясы сердца, бессоница, ужимки и прыжки давления, — ну, дай же, дай мне хоть две недели покоя!.. Однако собственные интересы представлялись ему более важными. Я пытался пронять его холодностью — он защищался от нее презрительным кривляньем: как раз тогда, допущенный в круг какой-то шпаны (современной, с байроническим оттенком), он начал изображать крутого, прожженно кривил губки бантиком, дребезгливо хехехекал, словно он не слабак, изменивший своей мечте, а превзошедший какую-то суровую мудрость блатарь...

Не помню, где были Катька с дочерью в тот вечер — точнее, уже ночь, — когда чьи-то дружеские руки, дотащившие сына до двери, отпустили его в прихожую, и я остался наедине с его телом. Но прежде чем я успел что-то понять, оно зашевелилось, подтянуло к себе разбросанные части, сложилось вдвое, подняло голову и в позе «булыжник — оружие пролетариата» уставило в меня идиотически-восторженно перекошенную физиономию (кажется, и язык торчал набок из перекошенного рта). Затем привидение рывком выпрямилось и, упав спиной на входную дверь, залилось блеющим хехехехехехехеканьем. «Ты смешон! — тыча в меня пальцем, дребезжало оно. — Понимаешь? *Ты смешон!!!*» — «Что же ты не смеешься?» — спросил я, понимая только одно: я должен оставаться спокойным. «Знаешь что? — с аппетитом заговорил выходец. — Иди-ка ты на ...! Ты поэт? Катись к раз... матери». Самые подлые слова существо выговаривало с особым наслаждением.

Словно в дурном сне, я вспомнил, что в таких случаях, кажется, положено давать пощечину, и залепил ему по правой щеке, еще не одутловатой, а только младенчески свежей. Он мотнулся, я удержал его за грудки — была у него такая неснашиваемая рубаша из какой-то синтетической синей ткани, — я думал, она порвется, но она выдержала. Даже среди это-

го бреда ощущая особую сверхбессмысленность своих действий, я все-таки, как автомат, хлестал его по мордасам, словно озверелый штабс-капитан пьяного денщика. Он мотался, но сопротивления не оказывал. (А если он даст сдачи?.. Избить его или уйти самому?.. Но Катька?.. И правильно ли это?..)

Наконец я оттащил его в комнату и швырнул на кровать, вернее, толкнул — он уже был слишком тяжел для эффектных жестов. В какой момент и по какой причине мы начали обниматься и с обильными мужскими слезами просить друг у друга прощения, я уже в той ирреальности разглядеть не могу — помню только, что он клянется мне в бесконечной любви и уважении, а я умоляю простить меня за мою жестокость, но, кажется, ни в чем все-таки не клянусь. Он испуленно дознается у меня, почему жизнь вдруг сделалась такой невыносимо тоскливой, а я лишь потрясенно развожу руками — сам не понимаю, вроде еще позавчера все было дивно и обольстительно...

Мы так сливались душой, так понимали друг друга!.. Но утром я начал будить его на лабораторку, и оказалось, что понимали мы совершенно разное. Я понимал, что он наконец понял, что никакая тоска не освобождает человека от его обязанностей, а он понимал, что я наконец понял, что к человеку в такой тоске, как у него, не следует приставать с пустяками. Здесь и остались наши межевые столбы: я не умею по-настоящему сочувствовать тем, кого презираю; он не умеет жертвовать даже тем, кого страстно любит и обожает.

Вот тогда-то я наконец прочувствовал до дна: *мне никто не поможет*. До этого я как-то внутренне метался, к кому-то беззвучно взывал (а Катька была смертельно уязвлена моей связью с Юлей, а Юля была смертельно оскорблена моим браком с Катькой, а дочь хотела утонченно развлекаться, а сын хотел куражом разгонять тоску)... И вдруг в считанные часы я обрел спасительную омертвелость. Главное, ни от кого ничего не ждаты: будет выгодно — сделают, не будет — не сделают. И если хорошенько это запомнишь — обязательно выкарабкаешься. А через какое-то время, глядишь, и помертвелость кое-где снова тронется нитями нервов и кровотоков, но ты тем не менее не расслабляйся и нарощую ороговелость береги пуще зеницы ока: в ней главная и даже единственная твоя надежда.

Если уж ты не сумел сохранить защитную атмосферу спасительных фантазий.

А кое-кто... Мне не видно, как и чем потеет невестка, ибо я стараюсь держать ее на периферии зрения. Но все-таки я замечаю, что она, как обычно, с полной невозмутимостью наблюдает за нами своими заплывшими, но востренькими глазками и по-прежнему находит нас не лишенными интереса. Основной секрет ее жизненных успехов — проникнуть в общество, где дорожат атмосферой дружелюбия, и усесться там с надутым видом: непременно кто-то попытается загладить коллективную вину перед нею — и станет чтить ее высокую требовательность. Но сейчас она сняла с дежурства это сверхмощное оружие — мы и так у нее на крючке.

Вернее, у нее на крючке Дмитрий, у Дмитрия Катька, у Катьки я, ну, а для дочери семейные склоки ниже ее достоинства. В целом она, конечно, ненавидит подкаблучников, как всех, кто несет в мир примирение, но по поводу брата Дмитрия только презрительно пожимает плечами: «Лишь бы ему нравилось...» Катька старается ничего этого не слышать: в ней борются две святыни — лад любой ценой и гордыня, наследие Бабушки Фени и дар М-культуры. Пока одолевает Бабушка Феня — Катька даже со мной никогда не обсуждает нашу богоданную дочь: для Катьки не названное вслух как бы и не совсем реально. Пока что на волю у нее прорывалось только сходство голоса нашей невестки с Пузиным и туманный намек на похожесть фигур — божок невозмутимости, коротенький, пузатенький, только, в отличие от прежней Пузи, халат на выпуклостях уже не

лоснится — она своевременно бросает его в общую стирку, а Катька и выстирает, и выгладит. Труд для потомственной мужички не расход, главное — сохранить для Дмитрия «сексуальную гармонию», как частенько хмыкает его сестра, тоже полагающая себя превзошедшей какую-то суровую мудрость насчет отношений между полами (переспала с десятком ничтожеств и поглядывает свысока на мать, хлебнувшую в любви и такого счастья, и такого несчастья, о каких самоуслажденцы обоего пола даже заподозрить не в силах).

Не знаю, как насчет сексуальной гармонии (Юля легкомысленно заявляла, что никакой специальной сексуальной гармонии не существует — она лишь следствие всего остального), но гармония с окружающей реальностью, в смысле снисходительного безразличия к ней, была отчетливо написана на тугом Пузином лице нашей невестки (только нос невидимый творец прижимал ей пальцем книзу, тогда как настоящей Пузе — кверху). На их с Дмитрием свадьбе его любимой Бабушке Вере — моей маме — сделалось нехорошо от духоты, и я решил открыть форточку. «Тебя не продует?» — спросил я у новобрачной тоном преувеличенно отеческим, предполагающим долгое взаимное поливание сиропом: «Что вы, что вы, все в порядке». — «Нет-нет, пересядь сюда, накинь этот плед», — и так далее. Но невестка, напоминавшая старшину-отставника под фатой, очень твердо посмотрела мне в глаза и спокойно сказала: «Продует». Она и сейчас единственная здесь, кто ничего из себя не изображает. Если, впрочем, не считать нашего внука, замурзанного (свекольная кровь с майонезным молоком) от неточно пихаемых в него мамочкой ложек мясного салата или селедочной шубы, чтобы он не мешал заниматься делом — сидеть. Поскольку Дмитрий еще не до конца утратил совесть, то есть глаза, он старается почаще упоминать, что у его жены — первый в истории человечества *маленький ребенок*. Маленький ребенок — эта неподъемная ноша освобождает от обязанности заниматься даже и ребенком. Когда нет Катьки, он может ходить чумазый хоть два часа — иногда я не выдерживаю и сам ополаскиваю ему мордочку. Мне это не трудно, и уроки упрямства давать невестке я тоже не собираюсь, но малыш так доверчиво вкладывает свои барсучьи щеки в мою ладонь — как Митька когда-то, — что один-два помыва, и я привяжусь к нему безвозвратно — придется ампутировать с мясом, а его уже и так...

Теперь я понимаю Юлю: это пытка — любить предмет, не являющийся твоей собственностью. Катьку, однако, это не отпугивает. Но — остерегающий призрак Бабушки Фени — чтобы невестке, упаси Бог, не почудился упрек, она возится с внуком как бы и от ее лица: а сейчас, мол, мы с мамой тебе ротик вытрем. Еду для моих стариков она тоже готовит как бы за себя и за невестку: «Мы тут приготовили», — но Дмитрию, сгоряча провозгласившему, что его жена будет ухаживать за бабушкой по очереди с мамой, все равно приходится извещать стены о том, что его жена сидит с маленьким ребенком. Это действительно все, что она делает, — сидит.

В тех случаях, когда Катька не отвечает за других, она находит компромисс лада и гордыни в невысказанном М-лозунге: «Лучше я тебе свое отдам» — взмывая ввысь, она осыпает соперника презрительными дарами, тем более весомыми, чем более низкой он выказал свою натуру.

Впрочем, принципа «худшим — лучшее» она придерживается не всегда: «А Витьке я помогать не собираюсь. И не потому, что он наркоман и вор, а потому, что завел трех сирот при живых родителях. Я Лизе прямо сказала: он твой сын, тебе деваться некуда, а я даю деньги только тебе — дальше твое дело». И закатывать пиры на весь крещеный мир она предпочла бы все-таки ради тех, кого любит, — их тоже набирается двадцатка за одним нашим столом. Дмитрий когда-то написал в сочинении про маму: «Мама любит печь пироги и уносит их на работу». Но если к тому же и жена ее сына пренебрегает своими обязанностями — тогда она бро-

сит ей под ноги тридцать добавочных перемен салатов, холодцов, печеностей и копченостей с экзотическими гарнирами на трехъярусных тарелках (к исподке которых наша богоданная дочь прилепляет вынутую изо рта жвачку). Постоянно прикупая всяческий фарфор и фаянс, Катька поддерживает отечественного товаропроизводителя — но заодно и компенсирует детскую несбывшуюся мечту о «посудке», поэтому я снисхожу к этому выбрасыванию денег не без растроганности. Даже сейчас, в присутствии недобрых чужаков, я все-таки люблю тем, как она ест, — почти как Мить... как Дмитрием когда-то: это же такое чудо — она открывает рот в точности в тот миг, когда вилка уже на подходе, не раньше и не позже. Тесто перестоялось или переходилось, грибы к отбивным не дошли или перетомились — эти ее наживки никто не заглатывает: Дмитрий хватает и глотает по-собачьи, а дочь пренебрежительно поклевывает, словно делая большое одолжение. Впрочем, почему «словно» — Катька очень бы всполошилась, если бы «дочушка» вовсе отказалась от еды.

Вкус и нюх у Катьки как у борзой, но ее доверчивость и почтение ко всяческим традициям способны заводить ее довольно далеко. Если ей сообщить, что жареные кузнечики — любимое блюдо китайских императоров... Нет, тут брезгливость все-таки пересилит, но в общезитии, например, по чьей-то подначке она вообразила, будто любит «хорошее пиво», и похваливала его с выражением горестной гадливости, пока я не прекратил этот идиотизм посредством физической силы. За что она и поныне мне признательна — а то бы привыкла, обрюзгла... Как наша Козочка. С элегантностью сигарет мне тоже удалось покончить одноразовой акцией. Но иллюзия, будто ей нравится коньяк, успела пустить глубокие корни. «Жидкий огонь», — задохнувшись, выговаривает она со слезами на глазах. Любит она и «хорошие вина» — то есть образ этих вин, в реальности неизменно предпочитая те, которые ближе к компоту.

...Вдруг вспомнилось, как восьмимесячный Дмитрий под одобрительный гогот родни тянется к стопке с водкой: «Дайте, дайте ему глнуть — больше не запросит!» Он делает «глтаночек», передергивается — и со слезами на глазах тянется снова. Так продолжается и по нынешний день — он и пить-то красиво не умеет, — заранее готовит «запивон», обкладывается огурчиками, помидорчиками, салатами, ветчинами... Мой отец впал бы в еще более глубокую тихую безнадежность, в стотысячный раз убеждаясь, что русские стремятся не потреблять дары природы, а истреблять их. Впрочем, зрелище жрущего сразу из десяти мисок Дмитрия может устрашить и менее ответственного человека — эти две семейные фабрики, фабрика жратвы и фабрика дерьма, способны пустить в переработку всю ноосферу. Похоже, Катьке и самой сокрушительность ее тайного презрения к невестке начинает казаться несколько чрезмерной — слишком уж она саркастически поминает голодающую Россию и слишком часто возвращается к тому, что самую дорогую ветчину и колбасу почти невозможно достать — обнищавший народ все лучшее расхватывает в первую очередь. Ты помнишь, ищет она поддержки у меня, мы пятирублевой колбасы вообще не замечали! И никакой обойденности не чувствовали — и этим создали для своих детей беззаботное детство.

— С парашей под рукомойником и туалетом типа сортир, — тонко усмехнулась дочь, ввинчивая сигарету в пепельницу: ей как трагической личности разрешается курить в присутствии ребенка.

Да разве в этом дело, теряется Катька, зато всегда полный дом друзей — Митька один раз даже спросил: почему у нас так редко гости — только по выходным, — вечные игры — зимой снежки, санки, летом прятки, вышибалки... Визгу и правда было много — папа, то есть я, как-то четверть часа прятался в колодце, расперши сруб собственной персоной, мама, то есть Катька, из-за головы зафинтилила мячом вместо Славки в окно, но он же его в предгибельный миг и отбил, — много чего было, но

как можно лезть с трогательными воспоминаниями к людям, чье единственное наслаждение заключается в том, чтобы оплевывать чужое счастье! У меня начало сводить мышцы лица от усилия удержаться на рассеянной любезности, когда душа рвется взывать: остановись, не мечи бисера перед своим пометом...

— Я только сейчас узнала, что такое бедность, — страх. Сегодня можешь есть что хочешь, а завтра, может быть, на улицу пойдешь — тут уж никакая икра в горло не полезет. Помню, мы на работе в первый раз после девяносто первого скинулись на баночку кофе, и Валя даже прослезилась: я думала, никогда больше не попробую кофе. А я тогда еще подумала: если бы мне кто-то пообещал, что я каждый месяц буду знать, чем вам зарплату платить, — и никакого кофе больше не попрошу. А помнишь, мне на день рождения лимон подарили — сколько было удовольствия?

— И в рублище почтенна добродетель! — завершил Дмитрий и зашелся в надсадном хехехехехехеканье.

— Моим родителям и в голову не приходило примериваться, что где-то там красная икра продается, а жили...

Боже, и все это при чужих и чуждых...

— Я не понимаю. — Дочь страдальчески коснулась виска, словно от невыносимой мигрени. — Сколько можно похвалиться этим русским терпением! Они не примеривались... Может быть, если бы примеривались, то сейчас и жили бы как люди.

«Как люди» — это как пять процентов населения Земли.

— А мы и так живем как люди! Меня одно у нас угнетает — грязь. Хоть сама лестницу мой!

— Но здесь же *воняет*. — Дмитрий проникновенно надвинулся потными грудями на пиршественный стол. — Ты что, не чувствуешь? Здесь **ВОНЯЕТ!**

Он наслаждался безнаказанной возможностью испускать все новые и новые клубы вони, и я наконец почувствовал ненависть к Катьке, во имя своих издохших иллюзий заставляющей меня снова выслушивать поносные речи этой злобной погани, для которой россыпи ее бисера служат особенно сладостным слабительным.

— Ничего здесь не воняет... — («Кроме тебя».) — Что здесь воняет — Росси, Эрмитаж?.. Я удивляюсь, в кого ты у нас такой злой? В Лешу, наверно, — мой отец, когда выпьет, наоборот, со всеми обнимался... — («Его отец тоже».) — Я всегда чувствовала, что мне страшно повезло, что я родилась в этой стране, у этих папы с мамой... Мне всегда все несли что лучше. Сестра с соревнований привозила мне шоколад — сама не ела... И я всегда ждала, когда начну это возвращать. Вы думаете, вы лучше своих дедушек и бабушек, а на самом деле... У них даже тетка Танька, — («Юда», как ласково именвал ее Катькин отец), — была страшно работающая, до последнего сама делала крахмал из картошки...

Речей шальных бессовестных про нас не разноси, задрожало в ее голосе: дело коснулось главного — любимых фантомов, — и я перехватил чашку за туловище, чтоб было незаметно, как дрожат пальцы.

— И крестьянки любить умеют... — как бы сквозь зевоту продавил Дмитрий.

— О, это да!.. — сощурилась в неведомую даль наследовательница Козочки. — Семеро по полатям, у каждого по краюхе, мужик непьющий, трудящий, один-разъединственный на весь бабий век — чтоб пришел с поля, а в щак ложка стойте... Совет да любовь!

— А чем это плохо? — Эта идиотка упорно не желает видеть, что с нею здесь разговаривают как с душой. — Верность, забота — а что лучшего вы придумали?..

В ее голосе зазвучал ковригинский пафос, и моя жалость немедленно сменилась раздражением. Пафос — такое же насилие, как и насмешка,

попытка не доказывать, а ломать волю противника. Во мне по-прежнему живет закоренелое убеждение, что мир мнений — не наша собственность, что мы не имеем права думать что вздумается, что мы обязаны не навязывать свое, а подчиняться общим правилам. Я уже знаю, что выжить, служа одной лишь истине, то есть постоянно уступая, невозможно, и тем не менее ковригинская выпренность... Брр. Правда, благодаря ей дочь все-таки сочла возможным снизойти до серьезности.

— Как ты думаешь, мама, почему, если писатель чего-то стоит, большая любовь у него всегда заканчивается трагедией?

— И почему? — Катька обратила взор на меня — ее и впрямь зацепило за живое: почему? И выходит, наша с ней любовь не такая уж большая? В глубине души она продолжает примериваться к «большой любви», сколько ни твердит, что я ее не люблю.

— Потому что в мастурбационной культуре любовь не имеет никакого реального эквивалента, — доложил я тоже сквозь зевоту (а вот это я напрасно — состязание в зевоте означает, что я его замечаю). — Так называемая любовь — столь сильное переживание, что никакие ее плоды мастурбатору не покажутся достойными. Ну, положим, вдохновленный любовью, ты победил тысячу врагов, построил тысячу домов, вырастил тысячу детей — мастурбатору-то что до этого? Он все хочет иметь только для себя, внешний мир ему неинтересен.

— Что ты за термин выдумал... — для порядка пожурила Катька, ожившаяся от неожиданной мысли (священная порода!..).

— Но если мир действительно неинтересен? — Сквозь зевоту совсем уже раздражающую Дмитрий впервые за весь вечер напрямую обратился ко мне.

— Для импотента все женщины действительно непривлекательны, для эгоиста все события действительно неинтересны... — Я поспешил ущипнуть себя за бедро, ибо в моем голосе прозвучало кое-что искреннее, а именно сдерживаемое омерзение: моя боль его сразу взбодрит, как гиену запашок падали.

— Ведь мир скучен, ты согласна? — за поддержкой к сестренке уже без зевоты и приבלатненности.

— Разумеется. — Сестрица вернула ему улыбку взаимопонимания.

«Ты мне надоел», — душевно делится один эгоист с другим. «Ты мне тоже», — радостно отвечает тот, и оба счастливы.

Катька не знает, вступаться ли ей за невинно поруганный мир или страдать своим «невдачным» крошкам: их перманентную злобность она пытается в последнее время свалить на медицинскую депрессию. Однако пользоваться депрессией попустительством ровно то же самое, что лечить алкоголизм водкой (правда, на какой-то степени распада ничто другое уже невозможно). Чтобы освободить себя от тяжкого долга честности, требующего вглядываться в свое строже, чем в чужое, Катька выдумала формулу: «Мы виноваты перед детьми». Идеальное средство добить в человеке остатки совести, а следовательно, и мужества — объявить ему, что мир виноват перед ним, а не он перед миром.

— Единственное, что может раскрасить серую действительность, — это дружище це два аш пять о аш! — С довольством палача, сумевшего-таки добыть голосу из истязуемого, Дмитрий пустился ораторствовать, притворяясь гораздо более пьяным, чем был на самом деле, — на самом деле спирт у него словно бы рассасывался в сале. — Пьянство, оно же упоение, — это, друзья мои, победа духа над материей — недаром дух на медной латыни именуется «спиритус». Пьющий человек не приспособливается к реальности, а изменяет ее в своем восприятии. Ибо важно не то, каков мир в реальности, а то, каким он нам представляется! А потому — во век прославлен Джон Ячменное Зерно!

Он залихватски вытянул еще стопку, сморщился, как собирающийся чихнуть младенец (он же сам из свертка), и поспешно и нечистоплотно

зжрал тем, этим, пятым, одиннадцатым. Он не может не паясничать — это означало бы предстать без маски перед теми, кто знает о его предательстве.

Катька сосредоточенно свела брови, словно вдумываясь в трудную задачу. Вот кому нечего прятать — в сатиновых шароварчиках на тусклой семейной фотографии она успешно участвует в школьной викторине с точно этим же выражением лица.

— Так что выходит, если у тебя болеет ребенок и ты можешь или пойти для него за десять километров за врачом — по снегу, в мороз, — или тебе сделают укол, и тебе будет казаться, что ребенок выздоровел, — ты что, выберешь сделать укол?

— Вопрос, конечно, интересный... — Дмитрий подвел очи горе, открыв распаренное небритое вымя. Но в красных глазках успело сверкнуть понимание: мамаша-то угодила в самую точку.

— А по-моему, — ринулась развивать успех Катька, — все, что можно получить без труда, — это подделка!

— Перебор, перебор... Труд — это проклятие, сказано в Писании, а Бога не перехитришь. В чем главный порок и социализма, и капитализма — и тот и другой оценивают личность по трудовому вкладу, по усердию в исполнении проклятия.

— Ну, а ты как хотел бы? По труду оценивают потому, что все создано трудом, и больше ни по чему!

— «Евгений Онегин», «Лунная соната» — в них, конечно, главное — расход трудодней...

— Все создается духом, — отпав от принесенного с собою пива, обронила дочь, словно о чем-то давно известном и даже надоевшем. — И этот стол, — (она для наглядности постучала по столу), — и этот стакан, — (она для наглядности пощелкала накладным ногтем по стакану), — мы их создаем усилием духа.

Хорошо, жара добралась уже и до моих щек — надеюсь, было незаметно, что они вспыхнули. «Создается духом»!.. Моей наследнице хватило бы духу поменьше хотя бы дуть пива — тоже брюзгнет на глазах. И набраться бы духу сказать себе, что профукала молодость на пошлые призраки и сейчас продолжает ежесекундно творить новую ложь, чтобы только не признаться в старой. В своем элитарном издательстве, через которое, как говорят, некий удачливый брокер отмывает деньги, она следит, чтоб хотя бы на ее участке в мир не проникло что-нибудь сильное, цельное, красивое, страстное, захватывающее — ее восхищают только какие-то кусочки неизвестно чего, какие-то узоры неизвестно на чем, какие-то причуды непонятно чьи... Главное, что она ненавидит, — это подлинность — не только вульгарную подлинность факта, но даже и подлинность чувства: она ненавидит всех, кто не кривляется, она всегда предпочтет передразнивание творчеству. Моя дочь пользуется любым неудобным случаем утомленно обронить, что искусство — это игра. Вся наша жизнь игра, деятельность в рамках условных правил, — но есть игра «пятнадцать» и есть игра «дуэль», на которой во имя условностей рискуют собственной жизнью. Любопытно, что наша дочь ненавидит благородную силу гораздо более непримиримо, чем тупую и жестокую, ибо благородная сила искажает угодную ей картину мира: в нем должно существовать исключительно либо примитивное, либо хлипкое.

— Я уверена, — с раздраженной напыщенностью продолжала она, — что человек легко мог бы летать, если бы только действительно этого захотел. Я уверена, что Дэвид Копперфильд летает по-настоящему и только делает вид, что это фокус. Чтобы не запаниковали такие, как наш папенька, — кто уверен, будто все знает.

Она два раза подряд произнесла слово «уверена» о себе, но «все знаю» я, а не она. Я хотел было ответить Славкиной шуткой: «Я знаю только половину *всего*», — но шутка означала бы, что я принял ее слова всерьез.

Оттого что я не всякую их ложь спешу признать правдой, они решили объявить меня деспотом, претендующим на всезнайство. Однако эти ядовитые стрелы увязают в окутывающем меня облаке рассеянной любезности. Все нормально, срок отсидки уже на исходе — скоро можно и собираться.

— А наука, между прочим, ничего не должна отвергать — в том числе и Бога.

Когда я наблюдаю за теми, кто сегодня объявляет себя верующими, когда я вижу, насколько они не отличаются от меня ни в щедрости, ни в бесстрашии, я начинаю понимать, что вопрос о Боге для них — это вопрос о *названии* ровно того же, что чувствует каждый. Когда они отказываются наделить Бога хоть какими-то конкретными признаками, я понимаю, что передо мною снова вопрос о названии. Мастурбаторы и Бога ищут не для служения, а для самоудовлетворения. «Кайфы ловить», как выражается Дмитрий.

— Выбор религии — нынче вопрос моды, — вдруг объявил он, поставившись придать своему багровому рылу вид утонченности. — Религию выбирают, как костюм: что мне больше к лицу — вельвет или замша, буддизм или католицизм? Но, оказывается, мы еще не должны отвергать ни того, ни другого... Плюрализм, пымашь! Но как бывший... как домогавшийся быть причастным к ученому цеху... Прости, *отец*, — мгновенное прижатие пухлых рук к потной груди («отец» — это пик сарказма), — но мне только что пригрезилось, что у тебя — трижды прости! — чернеют под нашим с тобой фамильным носом гитлеровские усики. Я в изумлении вперил в них взор и, к невероятному облегчению своему, обнаружил, что это была только тень. Однако теперь я понимаю, что не имею права отвергнуть и предыдущую версию: возможно, это были все-таки усики, и лишь потом они сделались тенью.

Да, Дмитрию все-таки еще долго пропивать свой ум.

Дочь, приподняв бровь и приопустив веко на своем раскосом глазу, задержала на брате припоминающий взгляд, означавший: «Как же я могла забыть, с кем имею дело?» — и окуталась презрением.

Не вытерпев искушения Хомя Брута, я покосился на невестку. Она наслаждалась этим бесплатным театром. И мне снова сделалось ужасно больно за Катю — «в своем кругу», «Барсучок», «Козочка»... Ее глаза дернулись туда-сюда — не знает, кого с кем растаскивать. Внезапно ее выметнуло защищать меня — она принялась расписывать, каким не просто очень умным, но еще и веселым, озорным парнем я был когда-то, — и с первой же фразы впала в нестерпимую искренность.

— Ты помнишь?.. — попыталась она вовлечь и меня в это агитационное представление, и я быстро ответил:

— Не помню. Я все творил в каком-то опьянении. Теперь помню только, что был страшный брехун, позер, фантазер — что, впрочем, одно и то же.

— А что в этом плохого — быть фантазером? Я любила того мальчишку — болтуна, фантазера...

Боже, при чужих — и я ведь тоже припутан к этой мелодраме, к этому дрогнувшему лицу, дрогнувшему голосу, в ответ на который дочь снисходительно потупила взгляд, а сын, наоборот, почтительно захлопал глазами... И опять эта тысячеклятая любовь!.. Мать на краю могилы, дети на краю окончательного ничтожества, а она все про нее, про эту пакость!

— Любила?.. — передразнил я ее расстроенность. — А я тебе так верил! Я думал, ты меня ценишь, симпатизируешь мне...

— Что ты болтаешь — любовь все в себя включает. Опять ты...

— Это ты брось. Любовь — наркотик, и употребляют его для собственного услаждения. Мы ее почти не встречаем в чистом виде — всегда в каком-то клубке — и потому приписываем ей свойства соседних нитей. А в

голом виде этого червяка мы почти не видим. Возьмем какую-нибудь идеальную супружескую пару — и в радости, и в горе они всегда были вместе, шли друг за другом в ссылку, просиживали ночи у одра болезни, рука об руку трудились, растили детей, вместе трепетали пред созданиями искусств и вдохновенья — и так далее, и так далее, и так далее. И вот на склоне их дней мы задаем вопрос: была ли между ними любовь? А черт его знает. Их столько всего связывало — уважение, дружба, сострадание, долг, общие дела... В этом клубке собственно любви уже и не разглядишь. А вот когда добропорядочный бухгалтер и прекрасный семьянин крадет казенные деньги и бросает малых детей, чтобы прокатиться в Дагомыс с непотребной девкой, — вот тут можно быть уверенным на сто процентов, что это любовь. Они снимают роскошный номер, каждый вечер ужинают в ресторане, нежатся в ароматной ванне, а потом она простужается, и у нее распухает нос — и он с отвращением выгоняет ее на улицу. Или она получает телеграмму, что у нее умерла мать, и приходит в слезах — и он начинает орать, что она портит ему отпуск, что в кои-то веки удалось расслабиться... Тут уж любовь на двести процентов.

— Ты всегда берешь какие-то крайности...

— Очищаю явление от посторонних примесей.

— Отец у нас кое-что понимает... — Красные глазки Дмитрия снова зажглись интересом, и даже в кривой полуулыбке дочери я угадал что-то похожее на уважение. Но я отказался принять эти сигналы: мои дети способны оценить лишь низшую, развевающую, а не одевающую функцию ума. Так что я остался сравнительно доволен собой: никто за весь вечер не услышал от меня почти ни словечка правды.

По Катькиному распаренному лицу с пулеметной быстротой промелькнула вереница сомнений: «Неужели это правда?..», «А не задевает ли это моих чувств?..», «Уж не распахнулся ли он всерьез, не пора ли гасить?..». И в который раз за вечер она попыталась пуститься в воспоминания об имениннике. Вот, скажем, Митюнчик в возрасте год и восемь месяцев закричал на крашенные яйца: «Помидори!» Хотя помидоры видел только осенью, когда еще ни слова не выговаривал!

— Я такой, — слегка покочевряжился Дмитрий, — знаю, да помалкиваю. — Да, «паска»... — Это словечко Бабушки Фени он произнес с неподдельной растроганностью. «Раньше солнце на паску играло — прых, прых... И цыгане были больши-и-и!.. А что сейчас — тьфу!» Бабушкино досадливое презрение к нынешней цыганской мелюзге Дмитрий воспроизвел с такой точностью и разнежностью, что на полминуты за нашим столом установилось некое подобие гармонии, и в Катькином голосе снова прорезались воркующе-встревоженные нотки, словно у кошки, колдующей над новорожденными котятками.

Я поспешил включить теленовости, пока снова не начали посверкивать искорки взаимного раздражения. Когда-то я презирал празднества, на которых народ паялился в ящик, не находя интереса друг в друге (помню день рождения Катькиной тетки Человек-гора, на котором я отсмотрел похороны Ворошилова), но сейчас я готов унырнуть из родного круга хоть в Косово, хоть в Думу. Переходя в мир фантомов, Катька немедленно становится пафосной и непримиримой. И невероятно забывчивой. Еще вчера Соединенные Штаты были сердечнейшим другом и рыцарем демократии, а сегодня они уже империя, стремящаяся к власти над миром даже и без пользы для себя, а просто назло России. Да, да, Запад нас всегда ненавидел, они же обещали не расширять НАТО на восток, а сами...

Меня тоже задевает, что Запад относится ко мне менее отзывчиво, чем я к нему, но я-то знаю, что единственный способ избавиться от страданий неразделенной любви — не выдирать силой ответную любовь, а уничтожить собственную. Я принимаюсь скучающе возражать, что никто никому

ничего не должен — какие именно «они» обещали? имели ли «они» полномочия? в какой форме эти обещания зафиксированы? Но для Катьки слова далеко не так важны, как интонации, сухость моей логики означает для нее одно: я ее не люблю. Катька начинает стягивать брови, сверкать глазами: ты обрати внимание, как американцы улыбаются, когда долбают других, — а чуть коснулось их летчиков — такие сразу сделались скорбные рожи! Бог мой, опять пафос... Ты почему-то думаешь, бросает мне она, что они всегда борются за справедливость, — и у меня перехватывает дыхание от ненависти. Приписать мне то, чего я не говорил, — за это я готов... Но — взгляд мой падает на розовую с траурной окантовкой запеченную свинину с инкрустациями оранжевой морковки и белого чеснока, и все повторяется в стотысячный раз: тащила, бедняжка, с рынка, шпиговала («Это легкая работа — сиди шпигуй»)... Но, увы, готовность убить из-за мнимостей и отличает человека от животного.

«Я был не прав, — каюсь я. — Но мне почему-то казалось, что американцы всегда стоят за справедливость, — даже не знаю, откуда я это взял». Катька изумленно вскидывается, а потом радостно смеется. Она всегда готова забыть годы обид за один дружеский жест — чтобы разом собрать их в кучу при новом проблеске пренебрежения к ней: по-настоящему умна она только с врагами, этот удивительный гибрид Бабушки Фени с Маргарет Тэтчер. В Катьке минимум две жизни. При товарище Сталине на рождение ребенка выдавали сколько-то «мануфактуры», и Катькины родители, отхватив положенных тряпок, вскорости перебрались из «Вуткина» в «Воршу». А «воршинский» свояк за бутылкой сообразил: девчушка крохотунешная — поди разбери, три ей недели или три дня, давайте скажем, что она только-только родилась, да и получим еще одну «мануфактуру». Так что у Катьки мы теперь отмечаем целых два дня рождения — реальный и декретный, по паспорту.

Тем не менее она не желает даже на время расставаться ни с одной из своих жизней — сколь она ни измотана, телевизор все равно приходится выключать силой, иначе она так и заснет под пальбу или сладострастные стоны. Прежде чем погасить свет, я всегда задерживаю на Катьке словно бы встревоженный взгляд, хотя спящий человек, уткнувшийся в грудь подбородком, не такое уж обольстительное зрелище. Помню, лихорадочно гомонящей компанией катим в трамвае с матмеха в общежитие, и Катька через слово увлеченно повторяет: хочу спать, хочу спать... Я, естественно, пропускаю это мимо ушей — кто же серьезно относится к таким пустякам, — но когда я через полчаса влетел в Семьдесят четвертую и обнаружил Катьку спящей именно в этой позе, — я как-то замер и потихоньку, потихоньку... словно я подглядел какую-то не очень красивую и далеко не веселую тайну. И недавно мне таки привиделся вещий сон: я вижу в прихожей пустую бутылку из-под постного масла и с оборвавшимся сердцем кидаюсь на кухню — точно, Катька сидит на полу, привалившись к дверце кухонного стола и несколько набок свесившись головой на грудь. Я пытаюсь издать вопль ужаса, но голос не повинуется...

Каждый раз, вспоминая этот кошмар, я торопливо шепчу одними губами: только не это, только не это... Возьми сначала меня, умоляю я Того, Чье существование не могу допустить даже в виде отдаленного сомнения. Я понимаю некоторую подловатость своих помыслов по отношению к Катьке, но ведь у нее и без меня останутся десятки привязанностей, способных составить кое-какой смыслик жизни, — вплоть до забот о моей могиле. Смысл жизни — это любая страсть, заставляющая нас забывать о тщете всех наших усилий, и страстей этих у Катьки достанет на полк таких, как я. А у меня — кроме самоубийственной страсти к истине — только она.

А Катька, глядишь, еще и нарастит новый слой иллюзий — вплоть до надежды на встречу за гробом. Пока что обо всех необъяснимых, поскольку

ку не существующих, феноменах Катька твердо объявляет искусителям, что верить в биополя и астрологию ей не велит муж. Но вот если заберет за живое... Когда у годовалого Митьки обнаружилась грыжа (жизнерадостно семенит-семенит вокруг стола и вдруг карабкается на диван отлежаться, как старичок...), фельдшер из заозерской «скорой» научил меня вправлять этот мягкий бугор указательным пальцем сквозь беспомощный мешочек и дал направление на операцию. Однако Бабушка Феня у кого-то проведала, что в Ленинграде недалеко от метро «Техноложка» некая знахарка заговаривает грыжу без ножа. Грыжа — это дырка, как она может зарости от каких-то причитаний, выходил я из себя из-за того, что осенью идет дождь, а умные люди обязаны считаться с дураками и особенно с дурами (теперь-то я знаю, что дураки и есть самые умные — они не позволяют касаться выгодных им иллюзий, которые для них творят и хранят благодетельные безумцы и шарлатаны). Бабушка Феня только мудро посмеивалась — молодод, мол, зелено, — а Катька юлила: ну ведь это всего пять рублей — а вдруг?.. Какое «вдруг»: ну давай постучим кочергой по печке — а вдруг!.. Лучше эту пятерку нищему отдать, чем шарлатанке! Тем не менее свозили, заговорили, прооперировали, Катька двое суток просидела на его кровати, склонившись в упор, — он не позволял выпрямиться, сразу начинал орать...

Невозможно представить, но и Катька в младенчестве тоже так «заходила» из-за грыжи, что Леша предложил бросить ее в канализационный люк — он уже присмотрел. Боже, и Леша был маленький...

«О, Клинт Иствуд!» — на экране вспыхнул один из восьмисот любимых Катькиных актеров: чуть спадет напряжение, как она немедленно начинает брякать, что первым стукнет в голову. Извечная Бабушка Феня. С тем отличием, что, если сейчас позвонят с какой-то опасной вестью, мне тут же придется потихоньку сворачивать невзначай распустившийся хвост.

«Не Клинт, а Клинт, — наставительно говорю я. — Так же, как Крант, — легко запомнить». — «Не надо, не переключи... — Но ее уже захватила губастая Моника Левински: — Мерзкая тварь! И такая страшила!..» Тварь она не за то, что путалась с женатым мужчиной, — жизнь сложна! — а за то, что вынесла на всеобщее обозрение пятна на платье. Дмитрий с зарождающейся кривой ухмылкой хочет что-то возразить, но я вызываю из глубины страховидных чеченских бородачей, и Катька немедленно взывает к ним с бесконечным укором и состраданием: «Ну ради чего, ради чего вы воюете?!» — «Во имя главного — коллективных фантомов», — самодовольно отвечаю я, а Катькина всемирная отзывчивость не может не отметить: «Они красивее нас. И храбрее, наверно, тоже». В храбрости цивилизованного человека она не видит большого достоинства, скорее даже подозревает в ее основе глуповатость. Но любую национальную черту она желает видеть в ее завершенности.

Я переключаю чеченцев на футбол, которого, как всем известно, терпеть не могу, и поддразниваю Катьку: «Может, посмотрим?» Однако она с такой кроткой готовностью принимается наблюдать за тоскливой суетой левых полусредних и правых полукрайних, что я, забыв о присутствии посторонних, воздеваю руки к небесам — да есть ли, мол, дно у этого океана глупости! «Опять обманул», — вздыхает Катька с видом безмерной укоризны, и Дмитрий удовлетворенно констатирует: «Бабушка Феня с нами».

Бабушка Феня пока что нас еще роднит — даже в саркастической полуулыбке дочери чувствуется нечто вроде растроганности, когда она вспоминает, как в малолетстве зевала по-бабушкиному: ох-хо-хо-хо-хонюшки, на чужой стороншке солнышко не греет, без отца, без матери никто-о не пожалеет... Мне не хочется сливаться с нею в общем экстазе, но моему, так сказать, умственному взору открывается одно из лучших Бабушкиных празднеств — засолка капусты. Бабушка Феня, раскрасневшаяся и счастливая, как на выданье, грузновато (хотя в танце может вдруг проплыть ле-

бедью) порхает среди эмалированных ведер, страшась «перебавить» соли или «кмина». Катька с двумя рыжими клоунскими париками морковных стружек в обеих руках с удовольствием распекает меня за то, что я слишком крупно секу хрупающие кочаны. «Раб!» — восклицает она, любуясь мною: в быту мужчина и должен быть халтурщиком. Однако Бабушка Феня все равно вступается: «Какой же ён раб, ён по собственной охоте!..»

А где, кстати, наш «унук»? Чудный пацанчик — никому не докучая, где-то отыскал перышко и дует на него через нос. «Он думает, что это цветок, он так нюхает», — мгновенно прочитывает его мысли Катька, и наследник рухнувшего трона немедленно спешит по очереди поднести перышко к нашим носам. Надо скорее драпать, а то вот-вот раскисну.

Однако Катька и здесь демонстрирует свое ясновидение: «Попрошайся с дедушкой», — она исподволь «привчаить» меня к внуку, и он тычется мне в щеку своей невыносимо милой горяченькой мордочкой. Собрав волю в кулак, поднимаюсь из-за стола, как бы буднично разводя руками и тоже с бабушкиным присловьем: «Бедному жениться и ночь коротка».

«На тебя похож, на маленького, — разнежено добивает меня Катька, когда мы оказываемся вдвоем в коридоре. — Вот не думала, что когда-нибудь буду тебя маленького нянчить!» А я, когда, скажем, какая-нибудь женщина посторонится на лестнице, сразу воображаю, как ее, маленькую и послушную, когда-то учили быть хорошей — и вот она до сих пор старается... До чего же трогательные существа живут рядом с нами! Почти как Катька. «Ты чувствуешь, какой от него исходит нежный жарок? — теребит меня она. — У вас были цыплята? Помнишь, возьмешь в руки такой пушистый комочек, — она на мгновение складывает руки умильной лодочкой, — а он теплый-теплый...» — «А осенью сосчитаешь его и съешь». Мне все время хочется понемногу пытаться на прочность ее правдоотталкивающую защиту, и она снова выдерживает: «Это еще не скоро».

Бидоны для стариков уже вбиты в специальную сумку — один с супом, другой с тушеной рыбой — якобы для отца, которому абсолютно все равно, что есть, но на самом деле для совершенства: специально разыскивала рецепт, чтоб было «как жиды делают». Кстати, отец почему-то картавит в единственном слове — «ыыба». Кипяченые «сливочки» для маминого чая — уже некоторый перебор, стало быть, обида до конца все еще не сосалась: пусть-ка мама в очередной раз прослезится и снова поймет, до какой степени была не права, так долго не выражая восторга по поводу нашей ранней женитьбы. А Катька уж до того заглазно ее обожала...

С совершенно опять-таки неадекватной болью я приобнял Катьку за спину:

— Ты такая вроде бы большая, надежная, а на самом деле беспомощная... как все.

Я только что готов был радостно скакать прочь от дорогих деток, но тут вдруг мне стало страшно расстаться с Катькой хотя бы на ночь — ведь время уносит все, ничего не удержать...

— Надо было жениться на маленькой. Кстати, я не такая уж и большая, твоя Юля не намного меньше.

Но эти шутки меня почти уже не бесят. Сегодня, когда Катька начинает стервозничать, я реагирую примерно так же, как она когда-то реагировала на капризы наших детей: они просто спать хотят.

Черт, хоть бы полчаса перед сном побыть вдвоем — попали на старости лет снова в общежитие.

Очередная старуха в детской панамке пробовала эскалатор палкой, словно ледок на первой луже. Сзади уже напирала, и я испытал мимолетный соблазн слегка поторопить ее восшествие. Но... «мама» — откликнулась во мне ее палка, и я неожиданно для себя поддержал ее — фантом моей мамы — за горячую подмышку с нежностью настолько неуместной,

что она обратила на меня фиолетовое, стекшее к декольте лицо не без настороженности. Вот только мама никогда бы не стала так топтаться, чувствуя, что кого-то задерживает, — шагнула бы, а там что бог даст.

«Мама» — этот сигнал призывной трубы разом вымел болезненный непреходящий страх за Катюку (впрочем, и она все время пытается меня лечить от той болезни, от которой умер последний из ее сослуживцев: «Какие вы, мужики, подлецы! Мало того, что всю жизнь нас мучаете, — так потом еще и умираете!..») и инфантильную обиду, что опять не удалось скоротать вечерок наконец-то вдвоем, без чужих: меня уже не было — и это такое облегчение, когда тебя нет!

Состав подкатил полупустой, но мне хорошо известно, что ликовать всегда рано: Божий глас, прокатившийся под сводами, изгнал из вагонного рая затаившихся плотичек, до последнего мгновения надеявшихся, что минутная везуха хотя бы на этот раз сойдет им с рук, поезд торжествующе взгудел и все быстрее и быстрее унесся в поджидавшие его бескрайние электрические тропики, где беспечно бродят сбросившие наше иго вольные его собратья.

Вот такой я был — мог целые годы грезить о бескрайних пространствах под электрическими небесами и не сделать шага к необъятному Метрострою, вместо того чтобы забираться в газовые норы... Мы со Славкой брели от УНР (управление начальника работ, если вы забыли) к УНР, потешаясь майской жарой, пылью, зачуханной *Колодной*, воспетой Гоголем и Пушкиным, а главное — серьезностью кадровиков, не допускавших нас к кайлу без справок из деканата, в коих новая метла Гурьянов нам отказывал, невзирая на все наши пятерки: учиться надо, а не гоняться за приработками. И когда нас вдруг допустили в газовые катакомбы с одним только напутствием всегда оставлять кого-то у люка на стреме, а то у них недавно — и опытный работник! — в одиночку вернулся за инструментом... Сразу повеяло романтикой. Надо же — кухонный газ, окисляется, не имеет запаха, а его нарочно «подкрашивают», чтоб можно было разноухать!.. Сам удивляюсь, почему я вдруг так посерьезнел, когда через ничемный серый проспект Маклина мы выбрались к какой-то мечети, оказавшейся *синагогой*. Той самой, которой пугали детей, вокруг которой никому не ведомые евреи, по недобрым слухам, устраивали многотысячные шабаши... Тогда как мы со Славкой с вольного зубоскальства невольно перешли на нервное хихиканье: у синагоги, мы слышали, фотографируют — еще настучат в университет... Однако насчет общественного сортира напротив я все-таки прошелся: иудейская, мол, война началась с того, что римский воин помочился на стену храма, а теперь под самой стеной...

И все же я не мог не подергать черную резную дверь, а когда она, к моему неудовольствию, подалась, не мог с замиранием сердца не войти. Славка сробел, а я даже побродил вдоль немых черных пюпитров, на одном из которых обнаружился небольшой чернокожий молитвенник, испещренный колдовскими, черного пламени, завитками, какие я когда-то видел у своего харьковского деда. Это был бы страшно пикантный сувенир — но я почему-то почувствовал, что не нужно делать из еврейского молитвенника потеху. Вот русский бы я свистнул не колеблясь, потом подучил бы кое-какие «Господи, помилуй», чтобы пижонить и вешать лапшу насчет того, что меня когда-то выгнали из духовной семинарии... Но вот с иудейским колдовством почему-то нельзя было валять дурака — плата за приверженность к нему, что ли, была намного дороже?

И кривляния с абсолютно чужим для меня иудаизмом впоследствии были мне несравненно противнее, чем с довольно-таки симпатичным православием, поскольку оно и отступало-то из нашего быта всего на шаг — и «паска» оставалась, и «встреченье», и «ей-богу». Так что если сегодня повенчались в церкви, а завтра развелись в загсе — ну что возьмешь с обезьян! А за синагогу ее приверженцы держались как-то уж очень *вопреки*...

(И мой ведь зашуганный унылый дед был среди них!) Правда, теперь и синагога вошла в обезьяньи обычаи, мгновенно разогнавшие все накопленные страсотерпцами ореолы.

А метро тем временем работало как метро: в следующем поезде мы уже поехали как люди — братской могилой, — так именовалась у нас в ДК «Горняк» баночная килька. Раскаленные, истекающие потом всех ароматов тела в вагонной душегубке — всего лишь низкий материальный факт, а я давно приучил себя считать делом чести мириться с реальностью: меня раздражала только тревога за плескучий суп, ибо суп — это была уже идеология. Самым поверхностным, то есть легко различимым, импульсом, как всегда, была, конечно, зависть: хорошо устроились — разделили вещи на Полезные и Вредные и блаженствуют. Вот отец назначил Суп в Полезное... Но лет уже, наверно, с десяти я начал бунтовать против того, чтобы еще и собственными руками превращать приятное в полезное, а в юности я просто-таки люто ненавидел эту еврейскую страсть непременно все испортить, прежде чем допустить к потреблению, — всякую ложку меда утопить в бочке пользы.

Я не шучу: и мед у моего харьковского деда был не мед, и в ослепительном после наших полутундр Харькове дед сумел выискать пыльное захолустье с плетнями, барбосами, бурьянами и буераками. Нет, я, конечно, понимал, что дедушка не мог поселиться на перехватывающей дыхание площади Дзержинского — ирреально неохватного пространства, охватить которое совместными усилиями все-таки удалось лишь пышному обкому, странному Газпрому — великанским кубикам, переплетенным висячими коридорами... Но дед даже среди Шатиловок и Журавлевок выбрал *Заиковку*, а о таинственно расцветшей над мусорной жизнью сказочной церкви считал нужным знать только одно: ее построил выкrest Гольберг, который во искупление своей измены все же не мог не вплести в ее узорочье шестиконечные заговорщицкие звезды — будущие каиновы знаки израильской военщины. Мой дед — и из своей стати серебряного с чернью грузинского князя (барсучность — это у нас от бабки, «бобце») ухитрился выкроить нечто до оскомины понурое и удрученное. «Не дрочи!» — уж слишком уж серьезно одергивал он меня, когда я пытался подбодрить соседского кабысдоха палкой сквозь забор. «Живи незаметно», — как бы грустно любуясь уже недоступной измельчавшим потомкам древней мудростью, до сих пор повторяет мой отец завет своего отца, в чьей хатке, пропахшей чем-то залежалым и диковинным, какой-то корицей, что ли, хотя никакой корицы я там ни разу не пробовал, мед употребляли только как лекарство, предварительно сплавив его с топленным маслом и соком когтистого «алоя», — становилось до того полезно, что три дня не отплеваться. Чтобы жизнь медом не казалась, все как будто разбалтывали водой, подванивали подсолнечным маслом, а вином называли жидкость в компоте. Кошка из друга жизни была обращена в нечистый механизм для отпугивания мышей: считалось, что, играя с кошкой, можно испортить память. И пословицу про кошек до меня донесли только одну — как всегда вполголоса: и кошка может навредить. Что уж тогда говорить о собаке дворника!..

Так что в формировании вкусов моего отца Гулаг, я думаю, участвовал гораздо меньше, чем отчий дом. «Труженики» — единственное растроганное слово, которое отец находил для своих предков, и я начинал ненавидеть труд. Отец и в наш дом по мере возможности вносил дух еврейского Гулага. Мама готовила очень вкус... Нет, я понимал, что мясо — это *еда* и его надо есть непременно с хлебом. Чтоб вышло числом боле, ценою подешевле: но были же и вещи, предназначавшиеся для наслаждения, для праздника, — пельмени, беляши... Мама, как всякая сибирячка, была потомственной пельменщицей, пельмени у них лепили-катали целой оравой — с шутками, с хохотом, от одних рассказов зависть брала, — потом морозили целыми мешками, вносили в дом снежно-пушистыми, как котя-

та, гремучими, как галька, галдели, кто кого переест... Есть не для одного лишь насыщения — у отца это вызывало что-то вроде расстроенной брезгливости. У мамы были свои секреты, чтобы тесто было резиновеньким, но не расклеивалось, чтобы пельмени прыскали... а отец — с хлебом, с хлебом! — хлебал их ложкой вместе с мутной жижей, в которой они варились, — превращал их в ненавистный суп, — который — во имя пищеварения — окончательно изгаживал еще более ненавистным подсолнечным маслом. Он и беляши ел с хлебом! И арбуз!!! Седой, рассыпчатый...

Мама воспринимала отцовские надругательства над ее творениями снисходительно — ее сердили только отцовские уверения, что она и в двадцать пять была такой же, как в шестьдесят, — но у меня боль оскорбления была настолько невыносимой (слова «кощунство» я не знал: мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля), что папа с полным основанием считал меня невыносимым капризулей: ведь сегодня, когда он с хлебом ест макароны, всасывая их в себя пневматическим методом, я просто ухожу из кухни — значит, могу! Мама нас с братом отучала от чавканья, но, по-видимому, считала, что воспитанные дети не должны даже слышать чавканья отца своего, ниже рыгания. А отец все делал как удобнее, как полезнее... Вот и сейчас в Катькину утонченную рыбу он долет подсолнечного масла, накрошит лука, соленых огурцов, квашеной капусты — витаминов, углеводов... Но Катьку бесполезно умолять, чтобы она перестала изготавливать шедевры для надругательства: она должна совершить подвиг, заслужить свое (Бабушки Фенино) одобрение: ох уж етта наша Катюша! — а там хоть трава не расти — Катька в своем роде тоже большая самоуслажденница.

Именно за честную антимастурбационность в «зрелые годы» я заставлял себя преклоняться перед этим, когда-то ненавидимым, еврейским принципом: все для реальности — ничего для мнимостей. Пока постепенно не обнаружил, что отец прибегает его исключительно для собственных частных дел, только в них он предельно осторожен, максимально дальновиден, больше боится потерять, чем стремится приобрести, — а вот зато когда речь заходит о делах чужих, он становится беспредельно самоуверенным, прямо-таки бесшабашным.

Вернее, не просто «чужих» — чужие дела в бытовом смысле его просто не интересуют: как всякий порядочный еврей, свой досуг и высокие помыслы отец всегда обращал к вопросу всех вопросов — «Как нам обустроить Россию?» Но для этого требовалось сначала во всех подробностях перечислить ее неустройства — в этой разоблачительной фазе он и завис на всю мою сознательную жизнь, — тем более что созидательная фаза была слишком уж тривиальна: надо просто сделать то, что давным-давно поставили весь цивилизованный мир, чье представительство в России осуществляли отцовские харьковские друзья, — и немедленно на нашу многострадальную землю снизойдет мир и процветание. А пока у власти пребывают идиоты, они все и делают по-идиотски: и не так селедок ловят, и не так борщи готовят, и не так мосты мостят, и не так детей растят. Я долго гордился всеобъемлющим отцовским гением, пока истина не повелела мне: оставь отца и мать и иди за мной. Я заметил, что у себя на комбинате отец, прежде чем повысить или понизить напряжение на два вольта, подачу воды на два литра, перерывал три пуда справочников, звонил ученым друзьям в Харьков, терял сон и аппетит, спадал с лица — там, где отвечал за реальные последствия. Чтобы принять новую должность, отец месяца шушукался с мамой — зато там, где за последствия отвечали идиоты, он не колеблясь бросал в бой миллионы (как людей, так и рублей). Он точно знал, как реорганизовать рабкрин, госплан, колхозы и фабрики, кому раздать лишние территории, — у советского народа почти все было лишнее, потребное исключительно правящим верхам, да и то лишь в силу их неукротимого идиотизма: армия, космос... Отец, как я теперь понимаю,

всегда инстинктивно стремился накормить народ и уничтожить все, что делает его народом, то есть все, что его объединяет и хранит наследственную структуру, — советская же власть до поры до времени просто была самой крупной мишенью: именно из-за их объединяющей функции отец с такой неотступностью и преследовал сонноликих правящих идиотов — иначе идиотов можно было бы найти гораздо ближе.

Всех идиотов он знал по имени-отчеству (я-то никогда не мог отличить какого-нибудь Подгорного от какого-нибудь Кириленко), отслеживал оттенки их биографий, в которых сами названия деревень, откуда они повыползали на нашу голову, звучали приговором. А уж их хохляцкий выговор!.. Еврейский-то выговор его отца служил ему исключительно к украшению, а сам мой папочка, раз в год-два встречаясь со своими харьковскими друзьями, мгновенно и с наслаждением впадал в еврейскую певичность. «Уже запел», — ворчливо рассказывала мама, когда мы с братом были сочтены достаточно зрелыми (перевалило за тридцать), чтобы с нами можно стало обсуждать наготу отца нашего (лишь самые невинные изьянчики).

«Они что-то про евреев сказали?» — оживлялся отец, когда во время прогулки до нас доносился неясный пьяный возглас. «Я и не знала, что за еврея выхожу, — с досадой говорила мама, — а он, оказывается, везде про одних евреев слышит». Отец снисходительно улыбался, ухитряясь не видеть той очевидности, что это была чистая правда. Но если бы он только слышал про одних евреев — он слышал одних евреев! Я еще мальчишкой — востроглазым, надо сказать — углядел, что *открывается* он только в своей харьковской компании. Отец в наших полутундрах считался невероятно культурным и более или менее начальником, но еврейские друзья его все смотрелись намного культурнее и начальственнее: в отличие от него, они были ироничны, снисходительны и, видимо, даже элегантны, и я видел, что только среди них у него расправляется скукожившийся за долгую полуарктическую зиму интерес к людям *как к равным*. Мне чудилось, что только их отец и считает настоящими людьми, и я испытывал некое щеко-чущее наслаждение, оттого что «еврей», оказывается, не постыдная кличка, а знак причастности к избранному кругу — что, впрочем, совсем не обязательно афишировать перед всякой шпаной.

Нет, у отца у последнего можно было бы высмотреть хоть пылинку высокомерия: на его неприятном лице замотанного немолодого барсука всегда была написана озабоченная доброжелательность, готовность пойти навстречу — и (но это замечал только я) поменьше узнать о себе-седнике. Каких-то высоких помыслов у окружающих нас пьяниц («пьянца», но «мясо» завещал ему произносить его отец) быть попросту не могло — разве что какая-нибудь опасная дурь. Люди, не представляющие веселья без драки и водки, за которой они готовы пробиваться на бульдозерах хоть по тундре, по заснеженной тундре бесконечной полярной ночью в неоновых озарениях сжигающего морозом полярного сияния, оставляющего в живых одного из десяти, — чем эти дикари отличаются от животных?! Что именно этим и отличаются — переживания ставят выше реальности («спиритус» — да — и означает дух), — догадка не для умиротворенного ума.

Но зато тех немногих, которые не были пьянчугами, отец всегда готов был радушно допустить в лоно цивилизации — в ученики его харьковских друзей. Которые наверняка свое дело действительно знали, но, благодаря тому, что их никогда не допускали на ответственные посты, они ухитрились прожить жизнь в полной безответственности. Нет, кое-что они, конечно, повидали, у нас без этого нельзя: посидели, повоевали, но — среди всех бурь, если говорить о главном, не *они* что-то делали, а с *ними* что-то делали, — то призывали в революцию, в партию, в армию, в науку, то гнали обратно, — они никогда не отвечали за сколько-нибудь масштабные

последствия собственных решений, а потому судили о социальной реальности с размахом и примитивностью подростков. Свобода от реальности — вот источник еврейского прожектерства. Мой харьковский дед, заставая отца за газетой, каждый раз озабоченно спрашивал: «А про евреев там нет?» Нет? И он мгновенно утрачивал всякий интерес. И это была совершенно разумная и *справедливая* позиция: не лезть в дела тех, до кого тебе нет дела. А указывать путь целому народу, который тебе безразличен и даже враждебен, — ведь нельзя же не питать неприязни к тому, чего боишься...

Но как человек чистосердечный, отец даже не подозревал и не подозревает о своих истинных мотивах: он был бы смертельно оскорблен любым антисемитским намеком на его русофобские чувства. Он принялся бы дрожащим от обиды голосом перечислять все добрые дела, которые он творил для русских людей, — как культурный антисемит перечисляет своих еврейских приятелей — возможно, тоже не догадываясь, что чувства его направлены не против евреев как частных лиц, а против еврейского народа как целого, несущего свою структуру сквозь меняющиеся поколения. Заметить различие между народом как устойчивой структурой и грудой составляющих ее обновляющихся клеток — это задача не для простодушного ума. И тем не менее интуитивно отец сумел оценить, что от отдельных русских людей он практически никакого зла не видел — ну, не больше, чем от евреев, если не меньше, — а преследовало и отвергало его (и нас, нас, его обожаемых сыновей!) национальное целое. Против целого он и обратил свои помыслы, бессознательно стараясь обустроить Россию так, чтобы она исчезла.

Нет, люди не пострадали бы, упаси бог, наоборот!..

Именно что наоборот: для уничтожения народа вполне достаточно в неустрашимом конфликте между интересами людей и интересами целого, которое они составляют, всегда безоговорочно становиться на сторону людей. Иначе говоря, будь последовательным гуманистом, и вверенный твоему попечению народ незаметно, сам собой исчезнет с исторической арены, а составляющие его индивиды этого даже не заметят — и всем будет хорошо. Всем будет спокойнее. Я давно знал, что отец ведет тайную войну против Советской России, но я-то думал, что только против советской, а оказалось — против России вообще. Когда власть идиотов пала, отец сосредоточил огонь своего смертоносного анализа на тех фантомах, преданность которым и делает народ народом, — на святынях, чья священность съезживалась ошпаренным паучком, стоило проколоть их неотразимыми критериями пользы и гуманности, на преданиях, чья достоверность становилась более чем сомнительной в свете того, что ему и его харьковским друзьям было угодно считать фактами, на поверья и предрассудки, которые просвещение способно заменить лишь сомнениями... В любом международном конфликте отец всегда становился на сторону противника, потому что тот был или слабее, и тогда этого требовало великодушие, или сильнее, и тогда этого требовала целесообразность. Если противник был более цивилизован, нам следовало у него учиться; если менее — мы должны были уважать чужую культуру: из спектра равно справедливых критериев отец всегда выбирал тот, который работал против России. И беспрерывно сочувствовал, сострадал, соблезновал русскому народу, стараясь разгрузить его от всего, что было способно его объединить и воодушевить. Для его же собственной пользы надо было освободить русский народ от всяких опасных иллюзий — и прежде всего от завышенного мнения о самом себе: отец с такой скрупулезностью и простодушием собирал все скверное о русском народе, что в конце концов я начал на полном серьезе подозревать, что евреи действительно враги России, — это я, который всегда брезговал любыми обобщениями: «русские», «евреи», — как будто они действуют по единой программе!

Нет, я вовсе не такой безумный обожатель русского народа, как когда-то надо мной похмыкивал Мишка, да и чем больше я что-то люблю, с тем большей готовностью я приму и любую правду о нем. Но — *всю* правду. А когда открыто, да еще и *безмятежно* подтасовывают в одну сторону — вот от безмятежности-то я скорее всего когда-нибудь и сдохну во время одного из визитов любящего сына к престарелым добрым родителям. И не за Россию я погибну — на амбразуру бы я за нее не бросился, — а всего лишь за точность. Даже казенный суд для распоследнего негодяя требует адвоката, а мой отец с полной безмятежностью объединяет в своей персоне только прокурора и судью. А потому в его присутствии я уже целые десятилетия не могу свободно дышать. Ибо каждую минуту либо слышу ложь, либо готовлюсь ее услышать.

Катька, которая патриотка не мне чета, но и не дура иметь серьезные претензии к тем, кого любит, норовит изобразить отцовскую неуязвимость слабостью (а слабому прощается все): «Наш милый дедуля — он же всех здесь боится!» — фрейдовская проговорка «здесь» выдает, что и по ее глубинному мнению сам он откуда-то не отсюда. Но — у Катьки с отцом любовь с первого взгляда: на фоне маминой усиленной любезности он сразу погрузил Катьку с ее позорным «циститом новобрачных» в теплое облако «успокойся, все хорошо». И вдруг спросил наедине, как-то очень по-доброму: «Ты, наверно, поплакать любишь?» В тот приезд Катька от ужаса непрерывно «светски болтала». «Катя у нас любит поговорить», — с улыбкой сообщила мама кому-то из знакомых. До сих пор дивлюсь его пронизательности... Когда по телевизору начинается передача про войну, Катька сразу гонит меня прочь: «Иди, иди со своими жидовскими шуточками, дай поплакать как следует». И потом, изо всех сил жмуря зареванные глаза, словно опасаясь, что они выскочат, удовлетворенно сморкается распушим носом и показывает мне большой палец: «Во наплакалась!»

«Какая Катя хорошая!» — тоже со слезами в голосе мечтательно восклицает отец, и я не могу не поддеть: «Простая русская женщина». Но не мозгляку интеллектуалу прошибить защитный саркофаг героя-одиночки, вступившего в борьбу с великой империей: он просто *не слышит*. Вот как с нами надо! У меня немедленно разбалчивается голова, резко ошетиливается ежик, всегда таящийся под левым виском, наливается ломота под левой ключицей; для меня приемлемы двадцать вариантов ответа — от «я ничего плохого про русских и не говорил» до «и среди русских бывают исключения». Но просто *игнорировать* доводы оппонента... Любого другого я бы спокойно ампутировал и сохранил презрительный мир в своем сердце. Но уничтожить родного отца...

Иногда я возвращаюсь с визитов к родителям настолько больным, что Катька каждый раз накачивает меня спасительным состраданием к моему палачу: «Представляешь, каково ему жить, если он *всех боится!* Он же только евреев не боится — про них он точно знает: дурак, хам, прохвост — но чего-то все-таки не сделает. А русские способны на все. Понимаешь — *без всякой причины!*»

Это да. Как-то ленинградский коллега передал отцу автореферат «О снижении расхода жидкости в трехвентильных флотационных респирациях» через слесарюгу-соседа, буркавшего приветствие в сторону не то от невоспитанности, не то, наоборот, от застенчивости. А слесарюга после этого клятвенно ото всего отрекся, и даже его мать-старушка подтвердила, что «цельный день к ним никто не звонил». Все единодушно решили, что произошло какое-то недоразумение, и только один отец не сомневался, что брошюру сосед зажилил. «Да зачем ему трехвентильные респирации?..» — «Ну негодяй», — пожимал плечами отец. «Ну а мать-старушка?» — «Запугал». Отец не понимал, чего здесь можно не понять. Негодяем он считал соседа из-за того, что частенько встречал его под мухой и неоднократно через стенку слышал, как тот орет на мать.

Потом автореферат нашелся — коллега перепутал этаж. И что ж отец? А ничего. «Не присвоил, так мог присвоить?» Нет, просто ничего этого не было: от неприятных излучений реальности отец заклепал свой М-мир трехметровой свинцовой заглушкой. Так что и это-то мы узнали совершенно случайно — что каждого, кто выпивает и орет на мать, он считает негодяем, способным сделать пакость без всякой выгоды для себя. Я даже и не знаю, с каких пор он воспринимает людей, среди которых живет, как сумасшедших настолько опасных, что свое мнение о них надо скрывать даже от самого себя, а то они, чего доброго, и по глазам догадаются. И тогда уже от них можно ждать чего угодно — ударят кулаком, бутылкой, ножом — в лагере он такого навидался. Да и в мирной гойской жизни: сначала пьют, обнимаются, а через пять минут скандал, мордобой — обычное же дело! Взять хотя бы и саяно-шушенскую нашу родню...

Мой русский патриотизм, повторяю, здесь ни при чем. Если бы отец прямо сказал: «Мне кажется, что Россия представляет угрозу всему, что я люблю, а потому я желал бы максимально ее ослабить», — я бы только пожал плечами: что ж, твое право. Если бы он прямо сказал, что русские слишком уж себя расхваливают, а потому его тянет хотя бы под одеялом показать им язык, я бы лишь снисходительно улыбнулся: да, чувства более чем понятные. Но когда человек пребывает в благородной уверенности, что вовсе не стремится побить одну ложь другой, а всего лишь устанавливает истину... Единственное спасение — Катька права — перевести подлость в слабость: он и впрямь боится даже собственных чувств.

...Но кто-то же постарался внушить ему этот страх! Может быть, с него хватило простого погрома? — мирные рабочие и крестьяне берут свои серпы и молоты и валят вдоль улицы бить... да не бить — убивать, резать тебя, твою мать, твою сестру... У отца не дознаешься. Но ужас был настолько кромешный, что он с дрожью в голосе до сих пор уверяет родных детей, будто ни разу в жизни не сталкивался с антисемитизмом. А что погромы? На нашей улице их никогда не было. Ну а если кто — его отец выходил совершенно спокойный, уговаривал, его очень уважали... О, как его уважали! С этого островка папу было не стащить никакой лебедкой. «Были погромы?» — «Отца уважали», — и баста.

Меня только что не было, и вот я опять есть. А это такая мука — быть.

К несчастью, я до сих пор способен обижаться еще и за людей, а не только за истину. Уж до чего я обожал бывать в гостях у нашей саяно-шушенской родни — не замшелые скалы и бирюзовые струи, не ослепительные снега и прозрачные метровые льды меня манили: мамин «братовья» с их автомобильными радиаторами нержавеющей зубов и щеками-терками были могучее скал и ослепительнее летних вод, а их разгульное радушие было способно, казалось, растопить льды не только Арктики, но и еврейской души. Одни их наколки тянули на престижную галерею — от жидкоголубого многолучистого восхода «Беломорканал» на тыльной стороне кисти через строгих Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина на груди и плещущих рыбьими хвостами размытых русалок на обороте до тайного кочегара с лопатой, во время ходьбы по бане неустанно подкидывающего уголь в топку. И двоюродные мои братаны все как на подбор были костлявые, хулиганистые, с пока еще крошечными наколками и тем не менее — родня! — держали меня за своего, с ними было нигде не страшно.

Папу, к моей гордости, большие тоже держали за своего, и некоторую его натянутость я объяснял исключительно культурностью — вот и мама уже не похожа на своих сестер, — представить немислимо, чтобы она полезла со своей вилкой в чужой рот: «Да чего ж ты ничего не ешь?!» — чтобы в конце концов ляпнуть на чужое шелковое платье сорвавшийся с вилки сочащийся сферический сегмент помидора. Хотя, возможно, у отца с братовьями и случались мини-инцидентики типа наших с Лешей — отец умел запечатывать такие вещи пятиметровой свинцовой заглушкой, — но,

как я теперь понимаю, он и без того был не в восторге и от их наколок, и от их уголовных зубов, и от их сверхгостеприимного гудежа — перепивают, «пересыщаются», перекрикивают друг друга, впадая в восторг из-за совершеннейшей чепухи: «Ах, етить твою, — холодец не застыл! Становите его к порогу! Чего?.. Уже застыл?!» Дядь Павлик переворачивает тарелку вверх дном и, воодушевленный успехом, демонстрирует этот нехитрый фокус всякому входящему — пока холодец медузой не ляпается на пол, — и тут уж хохот поднимается до Диксона. Смеяться над испорченной едой — можно ли считать этих людей вменяемыми?..

У харьковского деда молодецкий холодец звался унылым средним родом — «холодное», и, может быть, еще и поэтому папу так слабо веселила находчивость дядь Егора, удиравшего от рыбинспектора на моторке (в подтверждение прозрачный муксун на столе переливался перламутровым срезом). Папу не восхищали и фронтовые воспоминания, как наши стояли на реке Прут, а немцы на реке Серет — вы вслушайтесь, вслушайтесь: наши прут, немец серет! Папа тоже побывал на войне, но не любил про нее вспоминать, словно про тяжелую и неприятную командировку. Зато у саяношущенцев любые героические ужасы были непременно приправлены какой-нибудь неприличностью: шквальный огонь, из траншеи носа не высунуть — не говоря о ж... Справляешь нужду в консервную банку и вместо гранаты... Даже любовь их к высокому и бескорыстному — рядом с папой это чувствовал и я — всегда нуждалась в каком-то развенчании. Ну, скажем, американцы спрашивают Чкалова, сколько у него осталось в России на счете. «Двести миллионов», — отвечает герой. «Долларов, рублей?» — «Друзей». Хорошо сказал! Только вот если послушать друзей моего папы, то Чкалова наверняка либо вовсе не было, либо если он немножко и был, то, как и все русские герои, не более чем *просто* пьяницей и хулиганом.

Тогдашние мои чувства я сегодня определил бы так: русские — дети, евреи — взрослые. Дети живут выдумками и развлечениями, взрослые — фактами и заботами. Взрослые, конечно, умнее, и слушаться надо взрослых — зато с детьми в сто раз интереснее. Хотя никакого особенного выбора между ними от меня и не требовалось: мамина ветвь до небес почитала папину культурность и образованность. Не причинившую, однако, ущерба его доброте! Папа всегда готов был на месяц или на полгода принять в дом сбившегося с праведного пути племянша или выбивающуюся на праведный путь племянницу, устроить их на приличную работу или в техникум...

Но в моей М-юности реальная польза поступка была ничто в сравнении с теми чувствами, с которыми он совершался: если ты творишь добро, пряча какие-то задние мысли... А папа не мог же не скрывать, что, скажем, саяно-шущенские представления об удали кажутся ему... ну, несколько архаическими. «Бей чем попало!» — учили меня сибиряки. «Ты просто отойди», — внушал папа. (Отойди!.. Если даже забыть о чести, все равно отойти тебе не позволят, догонят!) Не мог он и открыто заявить, что их представления о величии недалеки от татаро-монгольских: «Жалко, Жукова в сорок пятом году не послушались!» — а то бы, мол, поперли американцев до самого последнего моря. Но ведь мамыны братовья и отца моего почитали не ради приносимой им пользы, а оттого, что видели в культурности какое-то самостоятельное величие, бесполезное, как всякое истинное величие (польза величия — в чувстве восторга, которое оно у нас вызывает, восторга, заставляющего хоть на миг забыть о нашем бессилии, о нашей брэнности, а ведь это забвение и есть смысл жизни). Отец же в благодарность готов был обратить их в таких же трусливых евреев, как он сам со своим отцом.

Трусливых евреев... Нет, я тоже не смиренный искатель истины, котору лично для себя ничего не нужно: если мне отказывают в честной

дискуссии, все, что расплущилось о свинцовую заглушку запрета, рано или поздно разрастается во мне тысячекратно, и пока я его не выложу — хотя бы себе самому, — ко мне не явится стыд за упускаемую и мной часть правды. Может, и отец всего лишь мстит заглушкам? Про зверства русских в Германии он может говорить бесконечно и проникновенно, а что творили сами немцы с русскими, и даже с его любимыми евреями — ну что толковать об одном и том же, ну да, ну бывает... В данную минуту немцы не опасны, вот в чем дело. И ничего из себя не строят — по крайней мере в его присутствии.

Вот когда немцы молотили по нему из пушек... Хотя в ту пору их он, возможно, воспринимал не людьми, а *обстоятельствами*: только дураки лезут на стену оттого, что зимой падает снег. Уцелевшие соратники, видевшие отца под обстрелом, в один голос признавали, что он всегда был совершенно спокоен — прямо как его отец перед погромщиками. А зачем я буду волноваться, если все равно ничего не могу изменить, пожимал плечами отец. Это, может быть, и есть антимастурбационное еврейское мужество, мужество не тех, кто вершит, а тех, над кем вершат: герой не тот, кто нарывается, — это дурак и бахвал, — а тот, кто невозмутимо переносит.

Мой харьковский дед продолжал бесперебойно являться в синагогу и играть там какую-то почетную роль даже в те годы, когда за это могли мимоходом и прибрать. Выпячивать свое еврейство, как его потомки-сионисты, он, несомненно, почел бы гойской дурью, он понимал, что власть босяков неодолима, а потому нужно сразу уступить ей все, без чего можно обойтись, — дом, принакопленное золотишко, привычную работу, — и держаться за то, без чего обойтись нельзя: Б-г, семья, участие в зле... И если придется за это погибнуть — что ж, значит, надо погибнуть. А уцелевшим — пережить. Столько, сколько понадобится. Может быть, десять лет, может быть, сто десять, но то, что построено на грабеже, долго стоять не может. «К сожалению, даже твой папа способен ошибаться», — с тонким видом указал отцу один харьковский друг, но для отцовского папы здесь не было выбора: босякам служить нельзя, и баста. Из владельца сапожной мастерской превратиться в уличного подкаблучного подбивалу, отправиться в березовскую ссылку вслед за Александром Даниловичем Меншиковым, — что ж, сила за ними; но пойти на хорошую должность на обувную фабрику — это *нельзя*. «Там же полно евреев!» — «И што?» Этот трусливый жидяра умел держаться за свои мнимости. На царской службе он дорос до ефрейтора, получил какой-то знак за лучшую стрельбу, но служить грабителям и истребителям веры... «Какая власть была, той ён и подчинялся», — этого смиренного оправдания мой еврейский дед не способен был даже расслышать. Привычка к отчуждению от государства могла приносить и недурные плоды.

Хотя он и не возводил отчуждение в высшую цель бытия. Когда мой папа женился на моей маме — гойке, шиксе, да еще из каторжных краев, дед произнес лишь одно: «Ты грамотней меня, ты знаешь, что делаешь». А когда мама пожила у них в доме, он сообщил недовольным единоверцам в синагоге, что невестка у него святая. Отец бесчисленное количество раз передавал нам эту новость с неизменно набегавшими на глаза слезами, на что мама утомленно вздыхала: я человек обыкновенный, считала она, ибо дарила свою любовь только близким, остальным же — всего лишь порядочность. А вот отец лично для себя ничего не оставлял — только бы обустроить Россию до полного ее исчезновения.

О последнем мама по простоте душевной, конечно, не догадывалась, не то бы, безусловно, не одобрила. О чем в свою очередь по простоте душевной не подозревал отец, ибо расходиться в мнениях могут только плохие люди, а уж его ли святой подруге жизни не желать, чтобы людям в России жилось хорошо. «А ты согласилась бы, — однажды провоцирующе

поинтересовался я, — чтобы мы все как сыр в масле катались, но крупные хозяева, министры все были бы инородцы? Хорошие люди, не хуже нас?» — «Н-нет, не согласилась бы!» Но отец уже, заливаясь песнями, укрылся в ванной: еще по двинувшимся друг к другу маминым бровям он угадал, что сейчас придется стирать из памяти нечто не укладывающееся в его представления о святости, так что еще спокойнее будет заранее этого не услышать.

Когда мамы нет рядом, отец уверяет, что мама не замечает национальностей. Да, не придает им значения, пока ее не задевают. Но когда еще в институте староста-азербайджанец заподозрил ее в присвоении чужой стипендии — «Глаза желтые... Тюрок!» — и через сорок лет передергивалась мама. «А евреи уже тогда, — дивится она, — знали про всякие аспирантуры...» Сама-то она окончила школу с отличием, институт с отличием — и поехала трудиться в родную Сибирь в полной уверенности, что иначе и не бывает.

А уживаться с родителями мужа — какая тут может быть святость: просто не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Если не разбери-пойми, что в какую кастрюлю можно класть, — свекровь то одно, то другое выхватывает из рук, — ну, так пусть кладет сама; подначивают знакомые: «Почему они при тебе говорят по-еврейски, может, они тебя обсуждают?» — «А то у них нет времени без меня обо мне поговорить». Принято у них питаться невкусным, разбавленным, сухим, чтобы все сэкономленное на черный день пропало в черный день денежной реформы — «жалко только, что платье продала». А если еврейские женщины, по ее наблюдениям, вечно болеют до девяноста лет, а мужики, хлопоча вокруг них, сами становятся похожи на женщин — ну, так и пусть они себе живут, как их *их* матери научили, а ты — как твоя: только соберешься заболеть, ан кто-то тебя опередил, придется за ним ухаживать. Когда мама, поднимаясь со стула, уже едва могла сдерживать стон от боли в коленях, когда она уже понемножку начинала терять сознание, она все равно отмахивалась от расспросов: у стариков всегда что-нибудь болит!

Но в молодости-то у нее ничего не болело — в чем же харьковский дед высмотрел святость? Избегать скандалов и мотовства — для шиксы, возможно, уже и это лежало на грани святости? Шучу, вернее, изгаляюсь: задумался бы мой папочка, почему на любого мало-мальски стоящего еврея непременно находится русская женщина, готовая идти за ним и на каторгу, и в реанимацию, — но зачем ему задумываться, у него другая работа, а вот харьковский дед, возможно, канонизировал маму за то, что она связала свою судьбу с расконвоированным зеком, да еще евреем. Но ведь у нее и не было выбора! Она встретила самого знающего и порядочного человека в своей жизни — на его сверхответственной работе малейшая чешуйка проницательства обязательно где-нибудь да сверкнула бы слизью, — это ж какой был бы стыд уклониться от своего счастья из-за такой мелочи, что избранник по какой-то несчастной причине оказался за колючей проволокой! Мама свято хранила от нас, детей, ту если не постыдную, то, во всяком случае, не для детских ушей тайну (только недавно по секрету открытую Катьке), что в институте она очень дружила с каким-то парнем, впоследствии исчезнувшим в тридцать седьмом, а потому к моменту встречи с отцом она уже догадывалась, что арестанты бывают очень разные. (А что мой папа еврей — этого он и за полвека совместной жизни до конца не сумел ей вдолбить.) Ну, а когда отца вновь отправили в ссылку — что же ей оставалось, как не поехать за ним («что яму, то й вам»), тем более что на работу его там никуда не брали, — счастье, что ей еще удалось устроиться стрелком в охрану! «Я не знаю, чем сейчас-то вы недовольны, — в мирные годы застоя изредка пускалась в рассуждения мама. — Мы об одном молили: не трогайте нас, и мы будем работать на вас день и ночь, только пощадите!..» Иногда она увлекалась даже до того, что начинала

изображать эту мольбу в лицах, заставляя меня отводить глаза — ну неужели же нельзя без пафоса?..

Зато о себе мама высказывалась предельно аскетично: она всегда только исполняла минимальные обязанности. Пожалуй, отчасти из этой же скромности мама до полной нашей бороды не позволяла отцу вести среди нас с братом разлагающую пропаганду: выступать одному против всех — это прежде всего зазнайство. Она и отцовские подкусывания власти принимала с большим сомнением, а о его харьковском кружке высказывалась порой совсем откровенно: «Вечно они умнее всех!..» — «Да, в евреяx это самое несносное», — поддерживал я, но мама педагогически отступала: «Почему только в евреяx?..» — и, мысленно пробегаясь по русским знакомым, отыскивала тех, кто тоже был вечно умнее всех. Однако в Сибири подобные изысканные растения в ту пору выращивались исключительно в тепличных условиях.

Отец до самых последних пор подтрунивал над мамой за то, что она плакала в день похорон Сталина, пока мама не вздохнула наконец со своей обычной утомленной досадой: «По обыкочу Сталину — о жизни задумалась». Я и правда немножко помню ее с красно-черным бантом и красно-синими глазами, задумчивую и очень ласковую. Бабушка-то Феня, по Катькиным словам, плакала-лилась, как все добрые «людюшки», — зато мой отец ушел в глубокое подполье перебирать картошку, чтобы оплакивающий своего Отца народ не разглядел его истинных чувств. А Катька еще пытается пускаться в умильности по поводу глубинного единства русских и евреев — дескать, мой отец и ее мать по сути своей совершенно одинаковы: труженики, добряки... Ха-ха! Не к Сталину они относились столь полярно — к национальному целому. Сталин был только его символом. Зато вот красть у своего государства Бабушка Феня не считала большим грехом — раз «людюшки» занимаются этим в массовом порядке. Отец же воровство даже и у советского государства почитал еще одним доказательством испорченности русского народа. Правда, сберечь от уничтожения для нашей печки какие-нибудь два-три куба драных досок со стройки он считал делом вполне дозволенным. Но тут уж мама становилась намертво: «Нам чужого не надо». — «Их же все равно сожгут!..» — «Пускай». В своей верности бесцельному мама походила скорее на моего харьковского деда, чем на Катькину мать.

Бабушка Феня и мой отец — Катька сравнила этот самый с пальцем... Грубо говоря, Бабушки Фениным богом были «людюшки»: «Что люди делают, то й ты делай» — но так, «чтобы люди тебе не проклинали». Отцовским же богом был «цивилизованный мир», чей голос сквозь завывания и писки космических вьюг доносился до нас едва слышным «Голосом Америки». В детстве я был уверен, что папа и слушает именно эти завывания, прильнув к строгому фасаду трофейного приемника, словно страстный терапевт к грудной клетке дорогого пациента. Зато того еретического соображения, что Бога нет вообще — есть лишь вечный конфликт равноправных правд, отец не способен был расслышать, если даже без всяких завываний орать ему в ухо: абсолютная истина у него всю жизнь была под рукой — он лишь переносил ее источник из Талмуда в «Капитал», из «Капитала» в «Голос Америки»... В отношении к материальному миру — нет, к микромиру — они с Бабушкой Феней тоже противостояли друг другу, как Польза и Праздник, прочный Результат и мимолетная Радость. Бытовые заботы вызывали у отца лишь одно желание — как можно дешевле от них отделаться, у Бабушки Фени — превратить их в захватывающую драму. У мясного, скажем, прилавка отца интересовали только два параметра — стоимость и питательность: чтоб цена поменьше, а жира побольше. (Из принципа, а не из скаредности: на поддержку русской родни уходило в десять раз больше, поскольку еврейская в помощи не нуждалась.) Бабушка же Феня возвращалась из магазина, словно с футбольного матча:

«Вот так вот, — (тщательно, с подгонкой изображалось двумя руками), — поперек лежить кусок подлинше — хороший кусок! А вот так вот, продоль, кусок пошире — еще даже лутче! — Она восхищенно шурилась, как будто сияние этого куска до сих пор слепило ей глаза. — Правда, кость в ём очень большая... — Она на мгновение сникала, но тут же вновь восставала для нового упоения: — Зато уж кость так кость, всем костям кость — сахар! А передо мной — вот так я, а вот так она — стоять знакомая баба с дэву, — (дорожно-эксплуатационный участок). — Ох, думаю, счас возьмет который полутче!.. Я даже глядеть не стала, чтоб сердце не зайшло... — Она замирала перед роковой минутой и внезапно вскрикивала, всплеснув руками: — Взяла ж, паразитка! Ну ладно, я себе думаю, у ей же ж тоже детки есть...» Любую досаду она умела в две минуты растопить в умильный сироп.

Но есть что-то невкусное, а тем более — подпорченное не потому, что другого нет, а из низкой заботы о будущем... Бабушка Феня могла под горячую руку плюхнуть в помойное ведро целую пачку масла по самому повержностному подозрению в несвежести, если в этот миг ей вспоминалась свекровка Федосья Абáкановна, в доме которой все масло перегоняли в топленое — чтобы употреблять его в пищу лишь после того, как оно тронется прогорклостью. Зато когда тень «бабки Ходоски» отступала, Бабушка Феня иной раз пускалась расхлебывать явно прокисшие щи: «Шти как шти — ня выдумывайтя!»

Но уж давиться мороженой картошкой *из принципа!* Хотя бы принципы-то должны быть красивыми! То есть беззаботными.

В Норильске, где дома стоят на вколоченных в мерзлоту бетонных сваях, у нас все-таки был устроен некий подпольный отсек для картошки. И несмотря на все ухищрения, та ее часть, что была поближе к стене, выходящей на шестьдесят девятую параллель, понемножку подмерзала. Естественно, отбирая корнеплоды для первоочередного употребления, отец начинал с тех, что были затронуты этим сладким распадом. Уже принимаясь пошучивать над отцовской бережливостью, мы с братом торопились поскорее доесть отобранный «батат» — но к этому времени превращалась в батат следующая порция... Страшно подумать, до каких степеней мог бы в этой ситуации докатиться Бабушки Фенин бунт, бессмысленный и беспощадный: однажды она на моих глазах выхлестнула вместе с угодившей в него мухой полбидона молока только из-за того, что в ее отчем доме похвалялись, будто они из-за одной мухи выплескивали целую корчагу, а «в Ковригиновых» муху вытащат, да еще и обсосут!

Впрочем, моему отцу Бабушка Феня отпустила бы и обсосанную муху: она обожала «заходиться» от его щедрости — он был бережлив явно «не для себе». (Равно как и я.) Бабушка Феня единственная среди нас продолжала помнить, что я взял «за себе бесприданницу, да еще чахоточную», а мои родители сразу же принялись высылать мне добавочные деньги, хотя, начиная с Джекказгана, отец получал только «за вредность» и «казахстанские», без «северных», а потом и вовсе ушел преподавать, окончательно уверившись, что воспитательную работу по экономии всех и всяческих ресурсов надо начинать снизу — до идиотов наверху явно не докричаться. Спыхватываясь, Бабушка Феня принималась славословить и мою маму, но для этого ей приходилось все-таки спыхватиться: чуяла, видно, что мама руководствуется всего лишь порядочностью, а отец — душой. Катька, кажется, его окончательно покорила, когда после нашего вторжения в Чехословакию объявила, что ей стыдно быть русской. Ведь как было бы славно, если бы и все русские устыдились того, что они русские, — с какой радостью цивилизованный мир принял бы их в свои мирные объятия!

Катька и в самом деле настолько обожала все, какие ни на есть, обычаи всех, какие ни на есть, народов, а также столь пылко каждому из них за что-нибудь да сострадала — и, естественно, евреям в первую очередь,

раз уж они оказались ближе всех, — что отец эту всемирную отзывчивость принимал за благородный антипатриотизм: нельзя же быть патриоткой России, провозглашая себя при этом патриоткой Израиля! Отец всегда с удовольствием заявлял по этому поводу, что он против всякого рода патриотизмов, но Катьку журил за израильский патриотизм с мурлыкающими интонациями.

Требовалась пронизательность почти сверхчеловеческая, чтобы догадаться, что она согласна быть патриоткой тысячи отечеств лишь при условии хотя бы легкой ответной приязни. И любить китайцев, индейцев, негров, включая англосаксов, предпочитает лучше со стороны. «Ты бы хотела выйти за иностранца?» — «Не-ет!..» — с комическим, но все же испугом. «А за негра? Если бы он жил в России?» — «Ну, если бы ты как-нибудь оказался негром...» Отец был бы изрядно изумлен, если бы вовремя не отсек этого знания очередной заглушкой, тем огорчением, которое вызвал у Катьки «развал Союза»: это была обида отвергнутой любви. Катька со своими ребятами выходила на все митинги за свободу Прибалтики, но когда прибалтийские делегации обо всех наших бедах начали монотонно повторять, что это проблемы другой страны... Ну, а уж когда там начались ущемления «русскоязычных» да шествия каких-то эсэсовцев, Катька с кровью вырвала Прибалтику из своего всемирно отзывчивого сердца, отказываясь даже съездить туда на пару дней поразвлечься: «Если уж возиться с визами, я лучше в Стокгольм съезжу. Это раньше они для нас были образцом и европеизма, и цивилизованности... А для настоящей Европы они теперь будут задворками. А грузины!.. Разрушили страну... Ну кто им мешал развивать свою культуру — мы, наоборот, гордились их черкесками, лезгинками, голошениями... Их рыцарственностью! А кто теперь их будет переводить? Кто стихи про них будет писать — „на холмах Грузии“?..» Я припоминаю, как одна девочка из нашего класса видоизменила эти строки: на холме лежит грузин, — но Катька, игнорируя мой еврейский яд, вновь переживает свой триумфальный тост на какой-то тбилисской конференции: Грузия, дескать, входит в нашу душу вместе с русской литературой — «Я ехал на перекладных из Тифлиса», — после этого все рыцарственные усачи были у ее ног со своими бокалами. «Бежали робкие грузины», — цитирую я того же классика, и Катька наконец-то приходит в сокрушенное восхищение: «Вот жид!..» Она и в моей язвительности чтит национальный еврейский обычай.

Вероятно, еще и по этой причине она соглашается лицеизреть любимого «дедулю» в облике босяка — уважая еврейский, как ей кажется, принцип: «если вещь еще можно носить, она должна лежать». Менее толерантная мама иногда не выдерживала и выбрасывала какую-нибудь особенно осточертевшую рвань, но отец каждый раз буквально заболел, ложил на диван лицом к спинке... Катька же теперь заходит с другого конца: сначала покупает новую вещь, а потом начинает пугать папу, что ее без употребления съест моль. Но для этого Катьке потребовалось установить, что еврейские заветы не так уж и непреклонно обязывают ходить оборванцем — отец имел неосторожность поведать Катьке любимое присловье своей матери: «Что я съела, никто не видит, а что надела, все видят». (Ее же: «Ты щеки хоть нащипай, а на люди выйди румяная». Всплыло попутно: «Бог каждому что-нибудь дает — кому сто рублей, а кому чирей», — кажется, «бобце» была поживее своего супруга.)

Мы с Катькой бытовые препирательства тоже стараемся возвести в конфликт культур. «У тебя же есть новые!» — усовещивает меня Катька, намереваясь порадовать бомжей вполне приличными еще моими штанами. «Бог дает штаны, когда у тебя уже нет задницы...» — изображаю я старого, мудрого, уклончивого еврея. «Не будь жидом», — пускает она в ход тяжелую артиллерию, на которую у меня тоже имеется своя «катюша»: «Руссиш швайн! Дай вам волю, вы все мировые ресурсы в помойку спустите!» Но

тем не менее, уважая русские обычаи, по большим праздникам я торжественно вручаю Катьке совершенно новую куртку или ботинки и даю великодушное дозволение их выбросить: «Гуляй!» Хотя на самом деле стремление побольше выбросить у Катьки даже и не фамильное: Бабушка Феня любым обноскам, именуемым ею странным словом «ризьзя» («риза»?), старалась подыскать какую-то функцию — в лес ходить, чучело обрывать... Однажды она с большим чувством объясняла мне, что считалось богатством в старом добром «Вуткине». Еда? «Еттого добра до колхозов во всех хватало. Что вважали... — Она приостановилась, подобно заместителю министра, готовящемуся объявить подчиненным: будет президент! — и завершила внушительно: — Одежу!»

Наблюдая Бабушку Феню в ее мешкообразных платьях, «кохта» и этнографических платках, лишь очень тонкий знаток соответствующей субкультуры мог бы рассмотреть, что она большая модница.

Всучить же что-нибудь модное моему отцу — да мой харьковский дед восстал бы из гроба! Зато перед лицом смерти мой отец и Катькина мать выступили вполне сходным образом, не устраивая трагедий перед ее лицом. С незамеченных пор у отца по рукам и плечам начали проступать пятнышки старческой ржавчины, и одно из них потихоньку-пологоньку проржавело насквозь, обратившись в мокнущую припухшую язвочку. Мама умащала ее всеисцеляющей мазью Вишневского, внушающей доверие одним лишь своим дегтярно-казарменным духом; язвочка затягивалась, потом снова трескалась и отмокала, как переспелый плод, я раз в месяц советовал показаться врачу, и когда отец все же добрался до «кожника», тот чуть ногами не затопал: «Вы что, с Чукотки приехали?!»

Отец жила и на Чукотке, но непосредственно в Ленинград «сменялся с приплатой» из Магнитогорска. Его отправили на иссечение в занюханную, как возведенная в государственное достоинство коммуналка, онкологическую больницу на Моховой, мимо которой я и всегда-то старался проспешить, скосив глаза в сторону. На этот же раз и номерка в темном гардеробе я коснулся с некоторой рябью по коже. Однако отец был не просто спокоен — в этом казенном осыпающемся доме, пропитанном общепитом и измывательским умиранием, среди которого невольно стараешься поменьше дышать, поменьше замечать, он был буквально безмятежен в своей добытой из самых глубоких закровов продольно-голубой пижаме, ровеснице двадцатого съезда, и уже и медсестры были с ним особенно ласковы, как почти все женщины на всех его работах (не исключая лагерных).

Близ их поста белел рослый холодильник с плакатиком на дверце: «Товарищи, подписывайте продукты». «Ну, как ты устроился?» — с преувеличенной озабоченностью спросил я, чтобы спрятаться от главного. «Ты обратил внимание, рядом с моей кроватью пожилой человек читал книгу? — заговорщицки придвинулся отец; какой-то седой мужчина с простым, но не простонародным лицом действительно очень серьезно что-то читал, расположившись поверх общежитского одеяла на боку, подогнув колени. — Он с сорок восьмого по пятьдесят четвертый работал следователем! Представляешь — и Ленинградское дело, и «дело врачей» — ты при нем поосторожней!»

Господи, и здесь, в преддверии ада — или даже в самом аду, — все о земной осторожности — это после распада Союза, полузапрета КПСС... Но вместе с тем — что толку думать о главном, перед которым мы бессильны?... «А что у него, у этого следователя?» — «Что он читает? Я еще не успел...» — «Да нет, какая у него болезнь?» — «Рак челюсти. Хотя я ее убирать, а он не соглашается. Я потихоньку заводил с ним разговор про тогдашнее ленинградское руководство — осторожничает, ну, я пока и оставил. Тогда министром Государственной безопасности был...»

Между этими более серьезными делами отцу иссекли опухоль на шее, заклеили белым глянцевым пятком, изъятым из какого-то менее парадно-

го места, велели регулярно «показываться» — он и показывался, когда мама вспоминала, — сам же интереса не выказывал: относительно собственной персоны его могло повергнуть в панику только отсутствие в доме минимум двух буханок хлеба и трехмесячного запаса круп. Зато когда что-нибудь случалось с мамой, он метался и захлебывался, как ребенок. «Что будет, если он ее переживет!..» — потрясенно покачивала головой Катька, придерживая ее за виски. «Да хватит тебе!» — защищал я свой М-мир...

Когда на нас обрушился мамин удар, отец позвонил мне, рыдая в голос: «Она упала и не двигается!..» — «Это бывает, сделают укол, и пройдет», — ответил я с многоопытной будничностью и бросился ловить такси. Когда я добрался до них, мама с баннным лицом лежала на кровати, а отец только что руки не целовал фельдшеру из «скорой». Еще от порога ударило запахом беды — свежей парашей: под кроватью испарялась сорок лет ждавшая своего часа плоская эмалированная тарелка, которую отец уже успел вынуть из-под мамы. Мама с перекошенным лицом приподняла свою обвисающую кистью правую руку левой и со страшным усилием выговорила: «Не чув — ству — ет...»

В больницу мы отца не допускали — не надо было лишних рыданий (да и не хватало, чтобы еще и он свалился), — я лишь возил ему Катькины обеды и рассказывал, что дело понемногу идет на поправку. И каждый раз у него вырывалось страшное, дикое мужское рыдание (я заранее собирался в ледяной кулак), он вскакивал, но выбежать не успевал — только оставлял за спиной какие-то беспомощные извиняющиеся жесты. Я хранил потупленную непроницаемость — иначе бы мы зарыдали дуэтом. Когда маму наконец уложили на кованую койку при тумбочке, я попытался сказать ей что-то небывало нежное, чем в единый миг переполнилась моя душа, — и лишь на самом излете перехватил вот то самое неотесанное мужское рыдание. Пришлось долго жевать мякоть указательного пальца у окна, пока не почувствовал, что могу снова обратить лицо к палате. Ближайшая ко мне миниатюрная старушка-евреечка, обтянуто-черная, как мальчик-циркач, двумя тоненькими шерстяными ручками спускавшая с кровати тоненькую ножку в траченных неизвестно чем шерстяных рейтузиках, дружелюбно сообщила мне, что ее тоже часто навещает сын — я его увижу, очень интересный мужчина (типичный юркий усатик из Черновцов). Она собиралась и дальше рассказывать мне о своем сыне, но ее прервала крупная блондинка — величавая барыня от прилавка, при палке для большей внушительности. Она сурово поинтересовалась, какой по номеру «инсульт». Первый? Ну, после первого выкарабкиваются! Она словно предостерегала кого-то, чтобы он не вздумал комбинировать.

В углу отыскалась узенькая трубчатая табуреточка, и я понял, что хотя бы одно сейчас в моих силах — не уходить. Я не сводил глаз с маминою теперь уже темного, отрешенного лица с сурово сомкнутыми веками. Вставная челюсть, совсем недавно изменившая ее облик в сторону оптимистической американской старухи, розовела и скалилась с тумбочки, и выдвинувшийся, приблизившийся к носу подбородок ее казался непреклонным. Изредка она шевелилась, и я привскакивал с услужливостью наивышшего из лакеев, но — надменный ее подбородок ничего не желал от меня принимать. Не знаю, через сколько часов она открыла глаза. «Да, да, мамочка, я здесь», — со словом «мамочка» тоже нужно было быть предельно осторожным — оно запускало механизм рыданий автоматически. Единственной рукой она силилась что-то извлечь из-под одеяла и страдальчески отводила мои попытки помочь ей. Наконец она выволокла на свет скрученное жгутом мокрое полотенце, и я догадался, что оно впитывало уже не контролируруемую ею мочу. «Я вы — по — лос — ка — ю...» — нечеловеческим усилием выговорила она, пытаясь спрятать жгут от меня. «Ну что ты выдумываешь? Разве ты мало мне пеленок переменяла?» Я вложил в эти слова столько нежной укоризны, что даже пересластил. Но

она уступила. Мне хотелось прижать этот жгут к щеке в благодарность за то, что он дает мне возможность что-то сделать для нее. Усерднейше прополоскав его и выкрутив в мужском туалете — о, эта особая кафельная беспощадность отхожих мест тех фабрик, где что-то делают с людьми, не замечая их неповторимости (пусть даже их спасают!), я разложил полотенце на батарее, и мама, подкопив силенок, сумела выговорить еще три слова: «У — хо — ди». — «Спи, дорогая, — (тоже опасное слово), — отдыхай, я совсем не устал, мне очень удобно». И я продолжал сидеть столпником на остром табурете, пока меня не выпроводили в коридор на время процедур.

А потом возникла Катька. Очень серьезная, но бывалая: «Мы же с моим отцом все это проходили...» Через несколько дней я уже сумел рассказать ей про полотенце — эту картину, маму, пытающуюся спрятать у своего лица на казенной подушке мокрый жгут, по двадцать раз в день приходилось выколачивать из головы кулаками — мой М-мир в этом эпизоде полностью вышел из-под контроля. «Здесь ничего нельзя сделать, — просто ответила Катька. — Придется с этим жить. Но с годами будет все-таки ослабевать».

Все эти кошмарные недели Катька горела каким-то тайным вдохновением — я думаю, она раздувала в своем М-мире веру в успех, дабы клацающие зубами волки реальности устрашились столь жаркого огня. Но сверх того... Боюсь, она была бы смертельно оскорблена, но под ее — ни мгновения не сомневаюсь — самой искренней привязанностью, состраданием, долгом мне чудилось некое «знай наших!». Проводить полусонные ночи калачиком у маминого изголовья, вскакивать по ее малейшему движению, подавать, подмывать, переворачивать, меняя перцовые пластыри на собственной простреливаемой радикулитом пояснице, затем забежать домой для неперменной — избаловавшееся дитя землянок и барачков — горячей ванны, потом катить на битву за хлеб, потом лететь домой мыть, стирать, варить и печь — все с перебором, без скидок на чрезвычайную ситуацию, а потом опять на ночные вскакивания, не уступая ни пяди неизмеримо более свободным ее подругам, которые самым искренним образом желали хоть чем-то отработать незаметно всовываемые им заметные суммы... Ночью, в отсутствие санитарок, требовались только женщины, чтобы не травмировать маму еще и гигиеническими процедурами, но — и подруги, и жена моего брата, укрывавшегося от реальности в солнечной гавани города нашей мечты Вальпараисо, допускались только днем: в этой хватающей через край жертвенности мне мерещился некий надрывчик, желание выместить те годы обиды, когда ее недооценивали, когда ее открытость были склонны считать болтливостью, а экспансивность — легковесностью. Позволяла мама себе немного — но с другими она не допускала и этого. Возможно, ревновала, возможно, когда-то ждала для меня... не принцессы, конечно, но уж и не чахоточной девы из заозерского барака. А Катька, чуть пошатнется ее доверчивость, становится жутко мнительной и наблюдательной. И теперь постоянные мамины слезы: «Катя удивительная, она совсем себя не жалеет!..» — проливались елеем на ее старые ссадины.

Но Катьке лучше не отдавать себе в этом отчета — у меня у самого сильно поубавилось охоты творить подвиги, когда я выучил себя различать оттенки собственных мотивов: раз они не так безупречно чисты, как мне грезилось, стоит ли бороться за свой воображаемый облик? А Катькины подвиги — основа даже и служебных ее достижений: на запах героизма начинают тянуться менее отпетые ценители фантомов. У нее и в маминой больнице скоро появились почитательницы, восхищенные и тем, что они таких преданных дочерей никогда не видели — не говоря о невестках, и тем, как за сравнительно небольшие (но для них немалые) деньги она собственными руками превратила захлавленную кладовку в крошечную, зато отдельную палату с игрушечным столиком, приличной скатеркой, растворимым кофе и сгущенкой под крахмальной салфеткой, а также низеньким

дерматиновым топчанчиком для десятилетнего «казачка». Ей-богу, это было почти уютное гнездышко среди окружающего ада, в котором чего только стоило одно лишь звуковое сопровождение — ни на миг не умолкающие скулящие звуки, издаваемые провалившимся беззубым ртом иссохлой ничейной старухи, безостановочно трясушейся в холодном коридоре под одеялом из цветной дерюжки. Рассовывая ласковые десяточки, Катька устроила для нее дополнительное одеяло, обмен мокрых простынь, еще какие-то маленькие радости, и чудо — скуление и трясение прекратились. Беззубая тьма навеки разинувшегося рта, разумеется, продолжала глядеть на нас, но законопатить свой М-мир от зрительных сигналов реальности гораздо легче, чем от звуковых. Тем более когда тебя нет, — в те дни существовала только мама и более или менее отец.

Ведь мир животных — мир материальных фактов — сравнительно редко становится ужасен сам по себе: ужасны чаще всего бывают наши же фантомы. При отключенной М-глубине не такой уж кошмарной оказывается и необозримая фабрика боли и смерти, взирающая на нас, озабоченных муравьишек, строгими рядами непроницаемых окон всех своих корпусов с их кафельными преддверьями, лягающими лифтами для перевозки горизонтальных тел, запахами страдания и умирания: в конце концов, это всего лишь предметы, а ужасны бывают только значения, ассоциации.

Законопатившись от ассоциаций, под прозрачную капель в маминой капельнице мы с Катькой успевали выпить утренний кофе не без некоторой даже идилличности, когда я являлся в утреннюю смену. Являлся сквозь гулкие пространства чужих ужасов к собственному, тесному и почти уже родному. Отдельные слабые движения — мы с Катькой бросились чуть ли не качать маму за впервые дрогнувший указательный палец, — и дар непрерывной речи, хотя и очень медленной и почему-то пробивающейся сквозь стиснутые, вернувшиеся на место американские зубы, понемногу возвращались к маме. («Может быть, на этот раз нас только поугаот и отпустят», — с надеждой сказала Катька.) Но мы говорили в основном сами, играя наиболее яркую в мире пьесу и наперебой похваляясь нашими житейскими успехами. От наших детей, чтобы объяснить их отсутствие, мы каждый раз передавали нежнейшие приветы и озабоченно сетовали, что им очень уж много приходится работать: что ее внуки много работают — для мамы не придумать более сладостного и целительного известия. На самом деле нашу дочь Катька уверила сама, что людей и без нее достаточно, а бабушке пока что ни до кого — иначе с первой же минуты начались бы негодования и схватки с персоналом. Дмитрий же благородно отпросился с работы к любимой бабушке на второй день — и вернулся домой с заплетающимся языком: это было так ужасно, что для снятия стресса ему пришлось нажраться. «Да как ты можешь в такую минуту помнить о себе?!» — замер я перед ним с отпавшей, как у коридорной старухи, челюстью. Но ведь о самом главном говорить бесполезно, можно разве что презирать.

И уж я презирал...

(Окончание в следующем номере.)



ТАТЬЯНА МИЛОВА

*

...Я ВСЕ ЖЕ ДОГОВОРЮ

* *
*

Ну хоть что-нибудь помнишь, помнишь, помнишь ли обо мне,
Ну хотя бы — как писала стихи на твоей стене:
С хохотком, согласным кивком, слегка под хмельком —
Вдоль по масляной краске да восковым мелком?

Общежитие, рай на юру, Ноев ковчег!
Наш роман был сразу сочтен — опускаю чем.
Планы делены на сто, шансы в весе пера —
Лето, администрация ремонтирует номера.

*Подведя рассужденье к морали, гуляй, кустарь.
Жизнь проваливается, на какую притчу ни ставь.
Пустячки, разговорчики, цветные стеклышки к фонарю,
Прибамбасики, трюмзики, ляпсики. Я все же договору.*

...Ничего не проступит — кругами ли по воде,
Из-под век ли солью, огнем ли известно где.
Слишком грузно давят, отточенные с торцов.
Никакой фундамент не держит этих столбцов.

Опускаются они глубже любых глубин,
Поднимая ил, осаждая в жилах гемоглобин,
Да не сыщет ни дикий тунгус, ни свирепый гунн —
Опускаются, тяжелые, черные, хрупкие, как чугун.

Мое место под солнцем все ушло в вертикаль.
Через эту воронку дням моим вытекать.
Здесь я бросила якорь, вод пустых посередь.
Недалёко мне плавать, не с чего помереть.

Музыкальное приношение

Белая ночь Петербурга, мулатка-ночь,
Каждую финку перекосило в малайский нож,
Фонари безмолвствуют, ветер визглив,
Тропический ливень хлещет Финский залив.

Милова Татьяна Владимировна родилась в Мытищах (Московская обл.). Закончила факультеты журналистики и философии МГУ, работала редактором, истопником, сторожем. Публиковалась в столичных журналах и альманахах. Автор книги стихов «Начальнику хора» (М., 1998). Лауреат Европейской поэтической премии Тиволи (Италия, 1999). Живет в Москве. В «Новом мире» публикуется впервые.

Очертанья двоятся — так дважды платит скупой;
С этих улиц уходят только в запой,
Ибо сладостен язык ночи, и кожа ее гладка,
И едва ли найдется глотка для такого глотка.

С этих набережных давно убрали посты;
Лишь рыбаки беззвучно разевают рты
На безрыбье рока — и птица Рок
В скорлупе Исакия мотает свой срок.

Белая ночь Петербурга, мулатка-ночь,
Дождь уходит с ветром — легчайшей из нош,
И оранжевые жилеты, следуя за дождем,
Стелют маковую соломку там, где мы упадем,

Где другие мы не коснемся земли,
Предпочтя страховку скользящей петли,
Не подумав о том, как постыдно прост
Этот способ оттягиваться в полный рост!

Слушай, Северная Пальмира, — я Третий Рим;
У вас опять наводнение — мы вновь горим,
Наши позывные все время кричат «га-га»,
Мы в эфире каждый дождь после четверга.

Солнце пришито к небу адмиралтейской иглой;
С юга оно опять подергивается золой —
Все утопить, не так ли? Мне скучно, бес!
И поэтому истинно говорю вам — рок-н-ролл воскрес,

Он идет по волнам — и динамик фонит,
На глазах наших камнем — невский гранит,
Но отвали от них камень — и глаза пусты:
Кто желает — может вложить персты;

Он идет в блеске молний, в свисте бичей,
На глазах его бельма белых ночей,
Но мы выйдем на трассу, мы стопнем «КамаЗ»,
Чтоб никто не нагнал по пути в Эммаус.

* *
*

Чего бы нам для счастья,
Друзья мои?..
Уменья обольщаться —
Оно в крови;

Богоугодный навик,
Язвящий шип —
Пока великий *нафиг*
Не все отшиб.

Забудь меня, фортуна,
В моем саду
Цветущего картона:
Авось дойду

В обход румяных яблонь
И дольных гад
Туда, где в слове явлен
Мой личный ад,

Где жарче год от года;
Чья соль и суть —
Терпенье и работа;
И тем спасусь,

Когда и стыд ничтожит,
И вянет вид,
И малое *быть может*
Еще кровит.

Спиричуэл

Л. Б.

Когда безногий пойдет плясать
И маршировать — святой,
И ты проснешься и станешь

Напуганный темнотой, плакать,

Я дам тебе карманный фонарь,
И спички, и коробок,
Чтоб ты умел работать за Бога,
Пока отдыхает Бог.

И я скажу тебе: «Если устать,
То умирать легко;
Так на огне свернется клубочком
Скисшее молоко,

Так, отходив полторы войны
И отползав в родном дворе,
Безногий пляшет свою чечетку
На уличном фонаре.

И чье-то дело, — скажу, — победа,
И чье-то дело — труба,

А наше дело — держать живых,
Не утирая лба;

В уме ли, бездны ли на краю,
Над тысячами пустот —
Пока осталось немного света,
Этот он или тот».

...Взорвется небо, звякнет стакан,
Как колокол ни по ком,
И ты проснешься и станешь

И голубым дымком, пеплом

И ты мне скажешь: «Луна восходит,
Солнце ищет зенит,
А наше дело — остаться жить,
На земле или нет,

И нет черты между здесь и там,
Нет границы пара и льда,
И все, из чего дозволено выбрать, —
Только *нет* или *да*».

* *
*

Что-то все вы теперь, господа, на два-три лица —
Из одной, что ли, колбы, из одного яйца,
Так что знаю заранее — вас и ваши дела —
Как облупленных; и уже показалась моя игла.

То ли ходим по кругу, то ли множатся двойники —
Так и так получается дело швах;
Мир так тесен, что расплзается в швах,
И уже не вздохнуть, не чихнуть, не поднять руки,

Чтобы прошлое не полезло из всех прорех —
Неотвязное, жадное, жаркое; метроном
Бесполезно щелкает, новый мех
Истекает по капле старым вином.



ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ

*

ТАКАЯ ВОТ ЛЮБОВЬ

Короткие рассказы

ЛЮБОЧКА

Про Серафиму в селе говорили разное. Будто бы был у нее жених из города. Они сначала жили вместе, а потом решили обвенчаться. И вот в церкви повел батюшка их вокруг аналая, на головах — венцы брачные. И вдруг венцы у них с голов срываются, вылетают в окно купола наружу и опускаются на кресты. Все, конечно, ходили смотреть эту самую церковь. А там и правда — на крестах венцы золоченые. Ну а потом узнали, в чем тут дело. Оказалось, что жених Серафимы был уже женатым. Просто Серафима ему очень понравилась, вот он и решил снова жениться. А провидение вмешалось и расстроило непотребную свадьбу. Только сразу после этого у Серафимы родилась дочка.

Другие говорили, что никакого жениха у Серафимы не было. А ходила к ней по ночам кошка. Но это была вовсе не кошка, а домовая, который выдавал себя за ее жениха и обещал жениться.

Как бы там ни было, дочь Серафимы Любочка росла, симпатичная такая, особенно глаза — голубые, прозрачные. А как выросла, стали замечать, что она странная какая-то, будто блаженная. Все дни на автобусной остановке сидит наряженная. Как автобус приходит, она кидается к первому попавшемуся мужчине, хватая его вещи:

— Давайте я вам помогу... Вы ведь мой жених?

Серафима гнала ее домой, гнала — ничего не помогает. Осенью уже приехали в село шоферы из города помогать с уборкой. Разместили их в школе. Любочка теперь без конца туда бегать стала.

— Это вы мой жених? — спрашивает у каждого.

А один дурной возьми и пошутит:

— Конечно я! — говорит. — Ты что, не узнала? Готовься к свадьбе!

Посадил он Любочку в машину и повез по селу катать. Любочка в кабине ни жива ни мертва от счастья, так вся и светится. После этого она совсем голову потеряла. Утром командированные садятся за общий стол завтракать, она уже тут как тут. Улыбается ласково так, в глаза своему шоферу заглядывает. Над ним все приятели смеются:

— Жениться тебе на ней надо. Где еще такую преданную жену найдешь?

Шутки шутками, а допекли парня, он и не выдержал. Приходит к председателю, говорит: в город уезжаю, не могу больше. А председателю жалко машину терять — самый разгар уборки. Он тогда прямым ходом к Серафиме:

— Уйми свою дочь, Серафима! Чтоб я ее больше у школы не видел!

А Серафима что может сделать? Она же целый день на работе. И вот нашла она в сарае старый кованый ошейник для сторожевого пса с длинной ржавой цепью. Надела ошейник на Любочку, а цепь гвоздем к забору прибила. Поставила перед дочерью кувшин с водой, лопоть черного хлеба, несколько вареных картофелин. Только Любочка на еду и не смотрит. Весь день билась она на цепи. Наконец вырвала гвоздь из забора и кинулась к школе как была — в ошейнике, с цепью. Шофер увидел ее, понять ничего не может. Потом побежал за напильником, стал ошейник спиливать. А Любочка только улыбается и руки его губами ловит. После того дня шофер этот из села пропал, никто его больше не видел. А Любочка по-прежнему ходит на автобусную остановку и всех приезжих мужчин спрашивает:

— Это вы мой жених?

НОВАЯ ЖЕНА

Жену свою Зину Семякин вконец измучил. Каждый день скандалы, ругань, особенно если вина выпьет. Приходит, к примеру, Семякин домой, а на батарее платок носовой сушится. Красивый такой мужской платок в пеструю клетку. Семякин никогда его раньше не видел. А Зина как ни в чем не бывало заявляет, что это его, Семякина, платок. Дескать, она сама ему подарила на день рождения. Еще и ругаться стала, что Семякин, мол, совсем память пропил, не помнит уже ничего.

Другой раз тоже — Семякин раньше времени домой из гостей вернулся. Смотрит — в ванной мужик какой-то незнакомый в майке. Зина опять хоть бы что. Говорит — сантехник. Семякин тогда, не будь дураком, звонит в диспетчерскую — был ли вызов? Ему говорят — да, была официальная заявка. Диспетчер еще накричала на него, чтобы не валял дурака, не мешал работать и не задерживал слесаря. У того много вызовов.

Потом еще не один раз Семякин заставал дома разных гостей. То контролер Мосэнерго, то развозчик продуктовых заказов на дом. Семякин устраивал жене скандалы, однажды даже ударил ее по щеке. Это когда врач какой-то осматривал ее в постели. А потом уже перед Новым годом самый последний случай. Днем Семякин с приятелями отмечали праздник, а к вечеру он, как положено, явился домой. Входит, а за столом мужик сидит, с бородой, чай пьет. Семякин ни слова не говоря схватил гостя за грудки и вытолкал из квартиры. Напоследок еще по физиономии ему съездил, нос в кровь разбил. А Зина в комнате надрыдается:

— Это же Дед Мороз! Я его вызвала, чтобы поздравил! Ты мне Новый год испортил!

На другое утро — сюрприз. Звонят из какой-то фирмы, требуют большой штраф. Мол, изуродовали Деда Мороза во время работы. Теперь у фирмы сорвались следующие заявки.

— Все! — сказала Зина. — С меня хватит! Я вызываю санитаров! Пусть забирают тебя в психушку! Я уже говорила с врачом. Он и диагноз поставил — «болезненная ревность».

А у Семякина голова раскалывается. Он только рюмку себе налил, чтобы поправиться, а тут крик. Выпил он рюмку, а Зина все кричит, не унимается. Семякин тогда схватил тарелку с закуской и ударил Зину по голове. Видит — кровь капает. Он тогда еще раз ударил ее. Зина упала, лежит без движения. Семякин перепугался до смерти, вызывает «скорую помощь». Зину сразу в больницу. Говорят — серьезная черепно-мозговая травма. А Семякина после этого забрали в милицию.

Потом был суд. Определили ему два года в колонии строгого режима. В колонии уже он узнал, что Зина на развод подала. Ну а Семякин в колонии тоже время даром не терял. Отправил он в газету объявление о знакомстве. Фамилию свою указывать не стал, подписался просто — Славик.

Представил себя в самом лучшем виде. И книги он любит читать серьезные, и музыку любит слушать. Семякин, по совести говоря, не надеялся на ответ. И вдруг приходит ему письмо. Пишет некая Зина. «Надо же, — подумал еще Семякин. — Везет мне. Тоже Зина. Как и моя бывшая жена». Незнакомка писала, что у нее богатый внутренний мир, но ее никто не понимает. Она пишет стихи, только ей некому их показать. Мечтает она о большой любви, чтобы жить и радоваться жизни. «Не то что моя бывшая», — думает Семякин. После первого письма были еще другие. Семякину Зина нравилась все больше и больше. Когда же они договорились о свидании, он был уже влюблен в нее. В назначенный день Семякин ждал Зину в комнате для свиданий с самого утра. И вот открывается дверь и входит та самая Зина. Семякин даже сразу не понял, что это его бывшая жена. Обнял он ее, а Зина говорит, что любит его больше жизни. Когда Семякин освободился, они с Зиной снова расписались и жили счастливо.

ПРИСУХА

Нина сначала собиралась одна Новый год встречать, дома. А потом подруга ее, Алиса, ей и говорит:

— Тут компания одна собирается. Приятель мой школьный. Просили подругу привести. Вот я и подумала о тебе. Люди все богатые, коммерсанты. Может, думаю, бизнесмена какого-нибудь себе найдешь.

Посмеялись они, Нина и пошла с ней. Праздновали за городом, в каком-то закрытом ресторане. Посторонних туда не пускали. Алиса познакомила Нину со своим школьным приятелем Гариком и его женой. Гарик — директор фирмы по продаже женского белья из Германии. Нине он сразу понравился, симпатичный такой. И жена у него ничего себе. Другие гости тоже все деловые люди, одеты хорошо. Как вина выпили, стали к Нине приставать. Особенно толстяк один, домовладелец, так к Нине и лез. Все время обнимал ее, а она его отталкивала. Под утро стали обратно в город собираться. Гарик с женой сели в свою машину, Алиса с ними. А Нину его приятели забрали в другую машину. Толстяк совсем пьяный был. В дороге навалился на Нину, прижал ее. Нина перепугалась, отбивается от него. Толстяк тогда вдруг разозлился.

— Еще ломается! — кричит.

Открыл он заднюю дверцу, стал Нину тянуть, да вместе с ней и вывалился. С ним-то вроде бы ничего, все обошлось, только ссадины, а вот с Ниной беда. Позади, сбоку так, вторая машина ехала, в которой Гарик сидел. Машина, конечно, сразу в сторону, но все же ноги Нины задела. Ну, понятно, «скорая помощь», милиция. От милиции они откупились. А Нина долго в больнице лежала. Ноги у нее остались целы, но владеть ими она не могла. Висели они у нее как плети. Алиса часто навещала ее. Как придет, всегда плачет. Деньги как-то принесла, говорит, Гарик передал. Он и коляску инвалидную Нине купил.

Однажды приходит Алиса, платок у Нины просит.

— Я тут у бабки одной была. Колдунья она. Я что придумала? Пусть, думаю, бабка на Гарика присуху нашлет. Присушит его к тебе. А ты уж тогда посмеешься над ним вволю. Отомстишь ему. А бабка мне и говорит: принеси платки его и ее. Я наговорю воду, да в этой воде и отстираю их. Потом платок обратно ему вернешь, пусть утирается. Я вот у Гарика платок стащила, теперь твой нужен.

Посмеялась Нина над подругой, да и забыла про это. А Алиса взяла ее платок — и к бабке. Вечером уже Гарику его платок возвращает. Гарик как раз с женой ужинали. На столе шампанское, свечи. В комнате камин горит, жарко. Гарик берет платок, который Алиса ему подсунула, лоб вытирает. Потом стал шампанское разливать. Только хотел бокал свой взять, как вдруг весь белый сделался, будто плохо ему. Через минуту вроде

очнулся, по сторонам озирается. Говорит — выйти ему надо на свежий воздух.

— Я с тобой! — схватилась было жена.

А Гарик как-то грубо ее отталкивает и убегает из дома. Жена сразу к Алисе:

— Идите за ним, очень вас прошу. Он в таком состоянии... Я беспокоюсь за него...

Алиса выскочила следом. Гарик в машине сидит. Распахивает дверцу и зовет Алису:

— Садись. Покажешь дорогу в больницу, где Нина лежит.

Подкатывают они к больнице, а навстречу по дорожке Нина едет в своем кресле. Ее в этот день как раз выписали. Гарик выскочил из машины — и к ней. Обнимает ее, целует. Потом кричит Алисе:

— Езжай к моей жене. Скажи, чтоб не ждала меня. Я к ней не вернусь... И повез каталку с Ниной за ворота.

СВЯТАЯ СТАРУШКА

Жених у Гущиной хороший. Он на станции работал, в ремонтных мастерских. Она только все сомневалась — идти ей за него или нет. Уж больно вид у него какой-то невыразительный, костюма даже приличного нет для свадьбы. Вот Ручкина, соседка, ей и говорит:

— А ты съезди к святой Федосии. Великая молитвенница. Дар на ней Божий. Она тебе и скажет — идти замуж или нет.

Подумала Гущина, подумала и поехала. Это недалеко, через две станции. Домик Федосии она нашла сразу, там во дворе народу полным-полно. Стоит Гущина вместе с другими, разговоры вокруг слушает.

— Уж какая пророчица, — рассказывает одна из приезжих. — Муж мой ей жизнью обязан. В прошлом году приехал к ней, благословить просит — в дом отдыха он собрался, на юг. А Федосия вдруг заплакала ни с того ни с сего. Потом уже говорит — он оттуда живым не вернется. А через неделю читаем в газете — в том месте, куда муж собирался ехать, сильное наводнение. Селевой поток с гор сошел.

Когда дошла очередь Гущиной, одна из «хожалок», которая за домом смотрела, говорит ей:

— Вы только матушку не утомляйте. Она же без ног. Тяжело ей.

Гущина смотрит — на кровати старушка лежит, маленькая совсем, клубочком свернувшись, как ребенок. В изголовье, возле подушки, кукла большая стоит в белом платице. Положила Гущина кулечек с конфетами рядом, а старушка говорит:

— Не выйдешь ты за своего жениха. За другого пойдешь. За учителя.

— За какого еще учителя? — удивляется Гущина. — У нас в школе и учителей-то приличных нет. Все больше женщины.

А старушка свое:

— Не пойдешь ты за этого...

А потом и вовсе на Гущину не смотрит, с «хожалкой» разговаривает:

— Нынче везде одно горе, сладкого нигде нет. Бог так попускает: на небе темно, а на земле грозно. Народ теперь нехороший, баламутный народ. Грехи свои на песок перетерли, чтобы безгрешными быть. Время сегодня незнатное. Весь народ под откос пошел.

Гущина слушала, слушала, потом не выдержала:

— Да как же все-таки моя свадьба?

А старушка еще больше в комочек сжалась и вдруг затянула тоненьким голоском:

Ах, подружка дорогая,
Где же наше счастье?
Не успеешь оглянуться,
Как придет ненастье...

Вышла Гущина из дома, народу во дворе еще больше.

— Жалко-то как матушку, — говорит та самая женщина, которая о муже рассказывала. — Как же это Господь допустил? Без ног оставил.

— Это давно еще, — откликается другая. — Она тогда молодая была. Песни пела, частушки. Любовь у нее с учителем закрутилась. А как жена учителя узнала, тот ее и бросил. Вот на Новый год пришла она под учительское окно и всю ночь стояла в сугробе. Глядела, как они с женой празднуют. Ну, ноги и отморозила. Ступни ей отрезали. А учитель в другой город переехал. Выпивать она тогда стала.

— И вовсе не так было, — вмешивается какой-то старик. — Учитель сам ее подпоил и ночью на рельсы отнес. Будто несчастный случай. А ей только ступни отрезало. Тогда учитель повесился, а она его простила.

Тут другой старик перебивает:

— Не то вы все говорите. Она без ног и родилась. Родители алкоголики были.

Гущина сначала слушала всех, потом и говорит:

— И никакая она не пророчица. Говорит — не выйду я за своего жениха. А у нас уже и свадьба назначена. Обо всем договорились.

Так ни с чем Гущина домой и вернулась. Ручкина, соседка, встречает ее и говорит:

— У нас-то здесь на станции что творится! На путях вагон брошенный стоит. В вагоне коробок полным-полно. Приборы какие-то. Бери сколько хочешь. Вот наши все и тащат, кому не лень.

А Гущина все переживала, что у жениха ее костюма хорошего для свадьбы нет, успокоиться не могла. Ночью она пробралась к вагону, а там и правда — коробки под самую крышу. Взяла несколько штук, думала продать в Москве и купить жениху костюм, рубашку и ботинки. Только далеко она не ушла, поймали ее тут же, прямо с коробками. На суде дали ей два года тюрьмы. Жених-то сначала ждал ее, а потом, видно, надоело ему. Женится он на Ручкиной, на соседке. А Гущина, как освободилась, не очень даже и переживала. В это время как раз к ним в школу учитель новый перевелся из Москвы. Тоже ничего себе, не хуже жениха бывшего. Гущина и влюбилась в него. Поженились они потом и были счастливы. Все так и вышло, значит, как старушка святая сказала.

ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В такси Недодаев разговорился с водителем — дорога от города до поселка дальняя.

— Служил я в этих краях. Потом сбежал из части, не выдержал. Уж как там надо мной издевались! Помои есть заставляли, на ремне солдатском водили, как собаку. Вот я и сбежал. Пришел в поселок. Знакомая там у меня, Надюша. Нас туда как-то возили урожаем убирать, мы и познакомились. Рассказал я ей, как надо мной издеваются, она плачет. Полгода я у нее на чердаке жил, только ночью спускался. Другая, может, давно бы выдала меня, всем бы рассказала, а эта молчит, никому ни слова. Она у местных вроде как полоумной считалась, не в своем уме. А почему — не знаю. Потом слышу по радио — амнистия дезертирам. Собрался я уходить, а Надюша вцепилась в меня, не пускает. Сама рыдает в голос. Погибнешь ты, говорит, сгоришь. Почему сгоришь — не знаю. Ну, дурная, она и есть дурная. Оттолкнул я ее, даже ударил, ушел. Дослужил в другой части, домой вернулся. Только нет мне дома покоя. Не могу себе простить, что ударил тогда Надюшу. Написал ей письмо, она ответила, фотографию свою прислала. Стали мы переписываться, а потом решили пожениться. Вот я теперь к ней и еду, к своей невесте, — свадьбу играть.

Недодаев достал фотокарточку, показал водителю. Тот глянул мельком и кивает:

— Хороша! Я бы тоже на такой женился!

А сам вдруг резко тормозит. Смотрят они — впереди на шоссе авария. Горят две машины — автобус и грузовик, видно, столкнулись. На обочине люди стоят. Вылез Недодаев из такси, подошел ближе.

— Водители-то хороши! — говорит кто-то. — Оба сбежали!

— Да нет, — откликается другой. — Они за милицией пошли.

А вокруг автобуса усатый какой-то бегаёт, вроде как помешанный. Кричит, что в автобусе у него дочь, он ее в город везет, на свадьбу. Недодаев тогда поглядел по сторонам и полез в автобус. А там возле окна девушка притулилась, без чувств. Видимо, ударилась головой о переднее сиденье. Вытащил ее Недодаев наружу, а она уже неживая, он сразу понял. Усатый кинулся к ней, прижимает к себе, еще не понимает, что она мертвая. Оттащили они ее подальше от машин. И тут оглушительный грохот — бензобак взорвался. Автобус весь вспыхнул как факел.

А таксист торопит Недодаева — ехать так ехать, счетчик ведь работает. Обогнули они горящий автобус, покатали дальше. Таксист все укорял Недодаева:

— И чего ты полез? Сгорел бы за милую душу!

А Недодаев его не слушает, все переживает:

— Не довез отец свою дочь до свадьбы...

Едут они себе и едут, только вдруг Недодаев просит остановить машину.

— Что случилось? — удивляется водитель.

— Поворачивай обратно в город, — говорит Недодаев.

— Вот тебе раз! Это еще почему?

Недодаев сначала молчал, потом говорит:

— Знак это мне был, предостережение. Не надо, мол, жениться. Дескать, если женюсь, то погублю себя. Погибнуть могу.

Водитель пожал плечами и стал разворачивать машину.

ИЗБРАННИК

Он как раз только из церкви вышел, их там кормили во дворе, нескольких человек, самых бедных. Батюшка благословил трапезу и сказал:

— Скорби, посылаемые человеку, — верный признак, что он избран Богом.

Стал он улицу переходить, и тут сразу — гудки, скрип тормозов. Машина его чуть не сбила. За рулем — лицо какое-то круглое, глаза выкачаны, усы как у моржа. А рядом — женщина в ярком платье. Он ее, конечно, сразу признал. Сколько лет вместе жили. Он тогда консерваторию окончил, квартиру кооперативную купил. Женщина вышла из машины, на усатого показывает:

— Это мой теперешний муж. Директор киностудии.

Усатый оглядел его — ботинки драные, костюм будто с огородного пугала — и говорит:

— Ты приходи на студию. В массовке можно сняться. Заработаешь.

А он и рад хоть чем заняться — который месяц уже без работы. В подземных переходах на флейте играет. На студии он все время по сторонам озирался, думал — может, еще раз женщину в ярком платье увидит. Снимали какой-то фильм о войне. Надели на него гимнастерку, сапоги, на голову пилотку. Потом ему и еще некоторым бумажки дали вроде билетиков. Это, значит, им падать надо, когда стрелять начнут, будто они убитые. Он еще посмеялся:

— Вот ведь выбрали... Избранники мы...

Он все делал, как сказали, — сначала бежал, потом упал вместе с отобранными. Только другие уже давно поднялись, а он один все лежал. Ну а как съемки кончились, вспомнили о нем. Вызвали доктора, ту самую женщину в ярком платье. Нагнулась она над ним и говорит:

— Да он же мертвый...

ВСТРЕЧА

Ездить сейчас в метро — одно беспокойство. Всегда какие-нибудь нищие, попрошайки, калеки. Вот и на этот раз. Не успел литератор С. войти в вагон, откуда ни возьмись — мальчик, худенький, замызганный. Идет по проходу, на груди табличка: «Люди добрые. Хочу есть. Помогите ради Христа». Глаза жалостливые, со слезой. Куртка на нем какая-то не по размеру, будто с помойки. Литератор хотел было отвернуться, но что-то удержало его. Он еще раз поглядел на мальчика, на его тоненькие ручки, на стриженный затылок. На следующей станции мальчик перешел в другой вагон, литератор за ним. Так они и ехали — из вагона в вагон. Наконец на какой-то остановке мальчик вышел и остался на платформе. Литератор тоже остался, стал в стороне и смотрит. Вот к мальчику подошла женщина в ярком платье, что-то говорит ему, а тот протягивает ей деньги в кулачке. У литератора перехватило дыхание. Так и есть, сердце его не обмануло — это она, Лиза! Он долго не мог двинуться с места. Наконец решился, подошел. Женщина сразу вздрогнула, обернулась, в глазах испуг.

— Господи, это ты! Я думала — милиция! Тут того и гляди — заберут.

— Не может быть — Лиза, Лиза, — бормотал литератор. — Глазам своим не верю. А это что же — наш Ванечка?

Женщина оглядела литератора с ног до головы:

— Что-то вид у тебя не очень... Обносился совсем... Жена, видно, плохо за тобой смотрит.

Стали они подниматься по эскалатору, литератор все успокоиться не может:

— Неужели это наш Ванечка? Как же так? Ходить по вагонам... Это ужасно...

— Ванечка — мой кормилец, — отвечает женщина. — Все на его деньги. Квартиру вот купили, обстановку. Так что можем теперь гостей принимать. Не стыдно.

Дома у нее и правда все в лучшем виде — мебель, посуда, ковры. Пластиковые шкафы ломаются от одежды. Она усадила литератора за стол, угощать стала: сыр, ветчина, мясо под соусом. Рюмку вина налила.

— Давно так вкусно не ел, — говорит литератор, вычищая куском хлеба соус в тарелке. — Сколько же лет мы не виделись?

— Четыре года. Как ты ушел от нас, так и не виделись. Ванечке тогда три года было.

— Я так мучился все это время. Ведь жизнь тебе загубил! Как последний негодяй!

— Ничего ты не загубил! — машет рукой женщина. — Лучшие годы мои были. Прямо счастье мне с тобой привалило! Что же мне жалеть, когда одна радость. Книги носил, стихи читал. Водил всюду — выставки, концерты. А разговоры какие! У меня голова кругом шла. Я стеснялась тебя тогда. Боялась даже...

Когда литератор уходил, женщина сунула ему в карман скомканные деньги. Литератор сразу не заметил даже, все переживал:

— А как же все-таки Ванечка? Разве это дело — в метро кланчить? Ему же в школу ходить надо.

— Успеет. Не до школы сейчас. Вот устроимся как люди, там видно будет. Только бы меня не забрали.

Тут литератор нащупал в кармане деньги. Он посмотрел на них и сказал:

— Ты не думай, я отдам. Я непременно верну. Вот выкручусь и отдам.

СВИДАНИЕ

Ну а как я выехал на Садовое кольцо — он стоит на мостовой, руку в сторону тянет. Не старый еще, в хорошем костюме, с цветами. Нагнулся к дверце и спрашивает:

— К Донскому монастырю подвезете?

А мне именно в этот день позарез нужны были деньги — гостей вечером ждали. Я с радостью приглашаю его в машину. Едем мы, поглядываю я на него краем глаза — беспокойный он какой-то, будто не в себе. Без конца смотрит на часы и все время спрашивает:

— Мы успеем к шести? Мне непременно к шести надо.

Я киваю на его букет:

— На свидание, что ли?

Пассажира как-то странно поперхнулся, закашлялся:

— Вот именно — на свидание. К собственной жене. Сегодня у нее день рождения.

Он долго молчал, потом говорит:

— В прошлом году похоронил я ее.

Я даже не понял сразу.

— Так вам на кладбище?

Пассажир заерзал на сиденье.

— Тут такая история... Не знаю, как и сказать... Чертовщина какая-то... Сегодня днем у меня назначена была встреча. Одна знакомая. Симпатичная такая девушка. Ну, утром явился я на службу, в свою контору. А у меня такой трюк. Если мне надо уйти в рабочее время, я звоню к себе домой, по своему телефону. Дома, разумеется, никого нет, трубку никто не берет. А я разговариваю громко так, чтобы все сотрудники слышали. Будто меня вызывают, надо срочно ехать — неотложное дело. И вот сегодня набираю я свой номер — и вдруг голос. Меня аж в пот бросило. Перепугался я, снова звоню — опять тот же голос. Теперь я узнал его — это же моя покойная супруга. Вы не поверите... Я всплакнул даже.

— Чудеса, да и только! Что же она сказала?

— Говорит — если хочешь со мной встретиться, приезжай сегодня после работы к Донскому монастырю. Ровно к шести. Только не опаздывай. Тут я вспомнил — у нее же сегодня день рождения. Вот я и еду. Ничего не могу с собой поделать. Цветы купил... Глупость, конечно...

Пассажир достал из кармана платок, стал к глазам прикладывать.

— А уж любила она меня. Наглядеться не могла. Ни на шаг от себя не отпускала. Она ведь сирота. У нее никого нет, кроме меня...

Вскоре мы подъехали, монастырь на другой стороне улицы. Пассажир заплатил деньги, сколько договаривались, выскочил из машины и кинулся через дорогу. Я еще крикнул ему:

— Да куда же вы? Погодите!

И тут сбоку трамвай. Стал он перебегать перед вагоном, уже перебежал, и вдруг я слышу скрежет тормозов, чьи-то крики. Народ сразу побежал. Выскочил я из машины — и туда. Растолкал людей и вижу — лежит мой пассажир без движения у самого тротуара, вся голова в крови. Его отбросило грузовиком метров на пять. Я почему-то поглядел на часы: ровно шесть. А в голове мелькнуло: «Не опоздал, значит, на свидание, успел...»

ВЫИГРЫШ

Все это очень давно, я тогда только школу окончил. А через год мы, бывшие одноклассники, собрались у одного нашего приятеля. Придумали развлечение — каждый должен рассказать свое любовное приключение за этот год.

У меня, к сожалению, ничего за душой не было, но мне не хотелось выглядеть хуже других. И тогда я стал тут же на ходу сочинять какую-то невероятную историю. Будто бы был я проездом в одном городке. Для правдоподобия я даже описал улицы этого городка. Старая водонапорная башня, гаражи, пожарная каланча. Придумал одноэтажный домик зеленого цвета, где я снимал комнату, небольшой садик, крыльцо под навесом.

Ну и хозяйка — взбитые волосы, родинка на щеке, небольшой, еле заметный шрам в углу губ, отчего казалось, будто она всегда чуть-чуть улыбается. И одежду ей подобрал — светлое платье с пышным бантом у ворота. В то время я много читал, и мне не составило труда все это придумать. Даже ввернул такую деталь, что женщина эта была старше меня на семь лет. Любовь, разумеется, была самая безумная. Она говорила, что не переживет разлуки. Две недели мы не выходили из дома. А потом я уехал. «И что же с ней стало?» — спрашивали меня. «А ничего, — отвечал я. — Умерла от любви. Дома уже получаю письмо от покойницы. Она приготовила его заранее и просила соседку отправить после ее смерти. Писала, что будет помянуть меня в другой своей жизни».

Всем очень понравился мой рассказ. Мне присудили бутылку шампанского и торт. А на другой день я уже забыл про свое сочинение. Осенью меня призвали в армию. И вот как-то на учениях, в летних лагерях, оказались мы в небольшом городке. Идем с приятелем по улице, а я чувствую, что вокруг все знакомо, будто я уже бывал здесь. Водонапорная башня, гаражи, пожарная каланча. А как свернули за угол, я и вовсе остолбенел. Та самая улица из моего рассказа. И через дорогу — одноэтажный домик зеленого цвета, небольшой садик, крыльцо под навесом. Разумеется, я должен был туда зайти. Открыла нам какая-то старушка, мы попросили воды напиться. А как разговорились, смотрю, глаза у старушки печальные. Наверное, думаю, у нее внук тоже в армии, вот она и переживает. А старушка говорит — горе у нее. Год назад умерла дочь. И выносит фотографию. Я как глянул — глазам своим не поверил. Взбитые волосы, родинка на щеке. Я даже разглядел небольшой шрам в углу губ, хотя на снимке его почти не было видно. И одежда — светлое платье с пышным бантом у ворота. «Что же с ней случилось?» — спрашиваю. «А кто его знает? — отвечает старушка. — Захла и скончалась».

Я вышел из дома сам не свой, будто потерянный. Но на этом история не кончилась. На другой день разыскал меня дежурный по части, говорит, там тебя спрашивают. Вышел я за ворота — никого. А как разглядел возле деревьев фигуру, не мог двинуться с места. Светлое платье с пышным бантом у ворота. «Ну что ж, — говорит она. — Угости меня вином, какое ты выиграл за свой рассказ».



ТАТЬЯНА БЕК



В КИЛОМЕТРЕ ОТ РАЯ

* *
*

Синица-спесивица синее море спалила.
И если позволишь, то я заостряю вопрос:
— Зачем возвращаться на место, где было, да сплыло
Огромное облако нежности, плена и слез, —

Где я, как шалава, хотела — под платьем нагая, —
Чтоб жизнь-одиночку расторгло *ночное вдвоем?*
Зачем возвращаться, от ревности изнемогая,
Туда, где синица собою сожгла водоем, —

Где угол обуглился, и половик, и подушка,
Где удал фольклорная нас оглоушила влет,
Где книжная полка, и лампа, и чайная кружка,
И вещи на вешалке смотрят, как «группа сирот», —

Где даже ботинки насупились, как у Ван Гога,
Где даже цветы на окне отказались расти?
...Нельзя возвращаться на место любви — и поджога.
Нельзя возвращаться. Нельзя возвращаться. Прости.

* *
*

1

Я не знала пути короче,
Чем от воли до западни...
Как бывают *белые ночи*,
Так бывают *черные дни*.

Неудачница из гордячек:
Сочетание — хоть в петлю!
А ведь он открывался, ларчик,
Простодушным словцом «люблю».

Я же путалась, и дерзила,
И сворачивала с тропы —
И ушла молодая сила
Не в цветение, а в шипы.

Нет бы яблоней, нет бы вишней,
Нет бы с будущностью в ладу...
Это страшно — чужой и лишней
Оказаться в родном саду.

2

...Я приязненно
встречу
старость,
Ибо в ней, как ни странно, есть
Вопреки поговорке *радость*
Или, если скромнее, *весь*.

Замурую свои записки
В винно-водочную бутылку —
Брошу в море: летите, брызги!
Несвершенное — тоже быть.

Вдруг незнамо какие люди
На неведомом берегу
Обнаружат письмо в посуде
И прочтут его на бегу,

Извлекая фрагменты пользы,
Поучительной, как беда,
Из прощальной почтовой прозы,
Все равно говорящей «да» —

Этой жизни кривого края,
Где никто никого не спас, —
Без гармонии, без героя...
«Да!» — и весь, как ни странно, сказ.

* *
*

...Возможно, искомый свет обернется новым мученьем.
Кто знает, какие еще сделает он открытия?

К. Кавафис, «Окна».

Быть на воле: в комнатном квадрате
(Тяжким громом заслужила тишь я),
Уплывая в лодочной кровати
В Занебесье вплоть до Никудышья

Сквозь сухое дерево в окошке,
Ибо отодвинута гардина...
«Время, вспять!» Под стать сороконожке —
Медленно, намеренно, гордынно.

Так поленья вспоминают семя,
И фонтаны лиственные в гнездах
(— Время, обратимое на время,
Не застрянь в начале 90-х!),

И еще — цветение со стоном
В предвкушенье патоки и пыток!
...А вернусь — на столике казенном:
Фолиант, лекарственный напиток

И непережаренный арахис...
Сладко грезить о былой свободе,
Но — *чревато*. Как сказал Кавафис
В неразвязном русском переводе.

* *
*

Могучее прошлое, точно волна,
Смывает обиду. Я жить не вольна
Без памяти, нежной, как ниточки льна,
И злой, как дерюга...
— Любимый! Зачем, озирая века,
Мы предали оторопь черновика
И петь продолжаем (...какая тоска...)
Уже друг без друга?

В пенале, куда я забилась, бедлам,
И пестрая ересь царит по углам,
И некогда вынести мусор и хлам
На свалку за домом...
Сегодня (я вздрогну!) седьмое число,
И снегом дорогу к тебе занесло,
И мне не пристало кичиться назло,
И грезить содомом,

И потчевать бисером пришлых свиней...
Я лампу гашу, чтобы стало светлей,
И слушаю пение тощих корней,
Как зверь в зоосаде.
— Любимый! Прости меня. Ибо не ты ль
Однажды сказал, что любовь — это быть,
А прочее (помнишь?) — не больше, чем пыль
На дивном окладе.

* *
*

С гонором послевоенной заправки
Кормит ворону старик-инвалид.
А на припеке лесные фиалки
Вдруг расцвели меж строительных плит.

Горе заквасит глотком горлодера,
Сам себе закусь, и храм, и стезя...
— Не городи по возможности вздора:
Дескать, любить это место нельзя.

Можно! (Как дырку латает иголка.)
 Можно — за родину вставши горой.
 ...И потихоньку спуститься с пригорка
 И рассчитаться на первый-второй

(Вечно вторая, зады повторяя,
 Хитросплетая, свирепствую, вру), —
 И замолчать в километре от рая,
 И, как фиалка, синеть на ветру

(Слава Всевышнему, что не слукавил:
 Пустошь просторнее, чем западня), —
 И доживать за пределами правил,
 «Туточки»... Где маргинальня родня.

* *
 *

На остановке «Охотный ряд»
 Вошел в троллейбус неюный даун —
 Близкий мне, как погодок-брат,
 Но еще сильнее смят и раздавлен.

Рыхлый, плешивый, косят зрочки,
 Одет опрятно в чужую «тройку», —
 Он украдкой сжимал кулачки
 И шептал, что надо *логовомойку*

(Так!) устроить... А на «Динамо» слез
 И вдруг возопил обреченной птицей...
 — Боже! Легко ли Тебе с небес
 Различать оттенки земных петиций?

* *
 *

Наплевать на времена и нравы!
 — Почему? — скажу. — По кочану. —
 Как *поэт трагической забавы*,
 Я собою землю покачну.

Боже правый, это не цитата,
 Как и не чужая колея, —
 Это бегство из электората
 В оторопь единственного «я»,

От которой никуда не деться...
 Напрочь

закрываю

ворота,

...Лишь бы напоследок наглядеться
 На того, кто тоже — сирота.



АЛЕКСАНДР ГЕНИС



ТРИКОТАЖ

Автоверсия

Посвящается Драгине Рамаданской.

БАБУШКА

Я заплакал, когда она умерла, хотя в ее девяносто один год трудно было сделать что-нибудь умнее.

Только это случилось, начались сны. Я знал, что мне от них не отделаться, пока не напишу все, что о ней помню.

Я привык относиться к своему подсознанию снисходительно, как к разжиревшей таксе. Слепое и глухое, оно почти ничего не знает об окружающем. Из всех органов чувств у него одна интуиция. Она доносит ему, что происходит снаружи, но сведения эти приблизительны и недостоверны. На все оно реагирует невпопад и путая. Правда, иногда оно способно к прозрениям. Об их значительности догадываешься по потрясениям. Смутная память о них будоражит с утра.

Больше непонятливости меня раздражает его медлительность. С женой оно познакомилось лет через пять, с сыном — через два, о коте — до сих пор не знает. Зато на смерть отзывается мгновенно, и покойники оказываются в моих снах быстрее, чем в могиле. Что и понятно — о смерти оно знает больше моего. Оно ведь еще не совсем родилось. Одной ногой, эдакой необутой амебной ложконожкой, оно еще по ту сторону. Мертвых оно узнает сразу, проблемы у него с живыми — даже со мной.

Больше всего хлопот во сне мне доставляют местоимения. Никогда не уверен, что говоришь от первого лица. Когда мы переехали в населенный азиатами городок, мне стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени, подсознания репертуар был чересчур эксцентричным, и я решил, что на новом месте мне снятся чужие сны. Если это так, то как должны были поражаться соседи, видя во сне Хрущева.

Первый раз после смерти бабушка появилась на вокзале. Мы провожали ее в Луганск — она ездила туда к своей маме. Во сне бабушка шла по перрону, становясь все меньше. Тут пошел дождь, и она спряталась под бетонный козырек газетного киоска. Он скрыл ее целиком — ростом бабушка была с двухлетнюю девочку.

Ее маму я немного помню. На ней было платье с блеклыми цветами, и называть ее следовало тоже «бабушка», чтобы не подчеркивать возраст. Она родилась в деревне Михайловка, никогда не служила, семью держала в страхе. Обе дочери, сами уже старухи, проводили с ней каждое лето. У нас она не открывала рта — ее озадачивало меню. В их южном краю всегда ели борщ. Его варили из всего, что попадется под руку, — мяса, гри-

Генис Александр Александрович родился в 1953 году в Рязани. Закончил филологический факультет Рижского университета. Автор книг «Американская азбука», «Вавилонская башня», «Довлатов и окрестности», «Иван Петрович умер». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в США.

Журнальный вариант.

бов, утки. Борщ никогда не кончался. Он плавно перетекал из одного в другой, даже кастрюля не мылась.

Пока я пишу эти строчки, вокруг скамейки бегают бурундуки. День теплый, но осень уже поздняя, и он носится, не обращая на меня внимания. Я для него слишком неповоротлив — и как угроза, и как конкурент. Бурундук живет в другом режиме, опережая меня не только в беге, но и в неподвижности. Это выяснилось, когда весной мы грелись с ним на солнце. Но сейчас дело идет к зиме, и он вкалывает, как персонаж ненаписанной басни. Возле норы желуди кончились, и ему приходится описывать все более широкие круги. Возвращаясь, он часто встает во весь рост, чтобы узнать окрестности. Поскольку я стал одной из них, мне неловко уйти, лишив его примет.

Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его есть. Борщ — огород в тарелке, а тут голая курица плакает — как утопленница. Эта палаческая простота внушила им такое отвращение, что бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное бабушка ценила больше себя. Всякая механическая вещь казалась ей бесценной. Например — будильник, одна из ее немногих самостоятельных покупок. Он ей был совсем не нужен. Она никогда никуда не торопилась. В школу бабушка ходила меньше года — от задач она плакала. Когда-то бабушка работала на фабрике, но и там не научилась приходить по гудку. И все же бесполезный будильник любила, как кошку. Когда дома дело доходило до битья посуды, бабушка уносила его в свою каморку, чтобы вместе переждать бурю.

Ну все, бурундук утихомирился в норе — до апреля у него мертвый час. Мне тоже пора — отсчитывать круто уходящие вниз ступеньки. Девять — нога на крепкой доске. Восемь. Все еще широко, но носок висит. Семь, шесть. Стертая покатошь. Пять — уже боком. Четыре, три, два. Чтобы выдержать паузу, надо вжаться в черную сырость стены. Два, вздох, один. Приехали.

На этот раз лес почти зеленый. Стволы угадываются под аккуратными загогулинами листьев. Хвойные вдалеке — палки с небрежными щетками. Но тропа очень реалистическая. Юлит, не показывая, куда ведет, и корни цепляются, как настоящие. Идти надо долго, и это трудно — как стоять зажмурившись. Ведь нужно держать в голове весь пейзаж, даже тот, что сзади. От усталости торопишь события, вытягивая шею шагов на десять. Впереди открывается пруд. Черный, с кувшинками — лесной Стикс. Смахивает на Васнецова, но я делаю вид, что не узнаю. У берега сучок плывет против ветра. Значит, черепаха — Харон. Прыгнул на панцирь, сжался, как воробей, — и уже на другом берегу. Там ствол развален вроде шатра. Внутри темно, из мрака появляется сундук. Не оригинально, тем более что я его узнал. Тут не видно, но он громадный, темно-зеленый. Сколочен из чего-то военного. Стоял у нас на антресолях. В нем лежали ненужные — как странно — игрушки. Сундук растаял, осталась книжка-лилипут, сшитая из промокательной бумаги. Перьечистка!

Она чистит копеечные перья для деревянных ручек. Их макают в чернильницы-невыливайки. Но это одно название, на самом деле всегда выливаются, поэтому их носят в отдельных мешочках — завтрак для чернильных эльфов, скорее — троллей, мерзкие твари. Расщепом перья захватывают набухшие бумажные волокна. Вот их-то и обтирают страницей-промокашкой. Физиология письма. Туалетная бумага тетради. Сомнительный дар. На что он мне? А я ей? Может, она считает себя книгой и ждет, когда ее прочтут? Но там одни отходы производства — чернильная слизь,

оставшаяся от написанных слов. Но тогда это чудо — претворение духа в тело, пусть и грязное. Клякса как икона — свидетель преображения. К тому же книга эта — в одном экземпляре — уникальные экскременты пера. Мысли как авторский помет? От них надо избавляться. Стыдно, но необходимо.

И все же зачем я ей? Сидит ждет. Нахохлилась, листочками дрожит, лиловый ежик. От чего ей хорошо? От работы — когда перья вытирают об нее ноги. Шершавая мазохистка. Для нормальной книги в ней многовато тактильности. Записная книжка памяти? В ней непонятная скоропись прожитого, дневник убитого стенографиста. Это я, что ли, убитый? Тактильность что-то должна означать. Противная, мурашки от нее, как от мела по доске (плохого, окаменевшего, а не жирного болгарского, который наши профессорши приносили с собой в сумке). Ага, вот и резюме — вспоминай, что колется. Культуристы говорят, что растут только разорванные мышцы.

Теперь можно обратно. Но это быстро: раз-два — наверху. Здесь столько лишнего, что даже мутит, но с этим быстро свыкаешься, если не оборачиваться слишком резко. Главное — добыча — перьевистка из оставшегося от переезда ящика защитного цвета с огромной угловатой надписью «Верх».

Когда-то мы жили в Рязани. Я даже там родился, но ничего не помню, кроме проходного двора. Куда он вел, мне уже не узнать.

От Рязани у меня осталась бабушка, которую мы так и звали — рязанская, чтобы отличать от другой — киевской. В сущности, они обе были из Киева. Их даже звали одинаково Аннами. Одну — Анна Соломоновна, другую — Анна Григорьевна. Разделяла их улица Чкалова и национальность...

Еврейская бабушка жила в маленьком доме, русская — в большом. Черный, уродливый. Я плохо понимал его устройство. Знаю только, что кухонные окна выходили во двор. Как только мужья уходили на завод, жены затевали котлеты. Мясорубок еще не было, и фарш рубили секачом. Канонада доверху наполняла каменный колодец.

Все это было в тридцатые годы. Маленьким я любил это время и хотел в нем жить — как Хоттабыч. Из тридцатых к нам дошла узорчатая скатерть с бахромой, скорее — ковер-самолет, чем самобранка. Долго я не верил, что бывают вещи красивее.

Теперь мне кажется, что в тридцатые все мужчины походили на Булгакова, а женщины — на Цветаеву. Дедушка на фотографии — вылитый Булгаков: редкие волосы, пристяжной воротничок. Зато русская бабушка — луганская Кармен. Черные волосы до колен, белое, как у панночки, лицо, дикие широко представленные глаза. Я видел такие на снимке — африканский буйвол перед атакой. У него были бабушкины глаза — бесстрашные до сумасшествия. Она никогда не сдавалась. «Вы — кремень, а я — булат», — говорила бабушка моему отцу, путая незнакомые пословицы. Тем не менее в этом что-то было. После войны отец торговал камешками для зажигалок. Делали их, насколько я понимаю, из кремня.

До семнадцати дед не умел читать, но в конце концов закончил рабфак, работал инженером, играл в преферанс. Он родился в румынском городе Браилов, и звали его Филипп Флоре, но бабушка упорно считала его, как всех хороших людей, русским. Тем более, что в Луганске дедушкина фамилия стала Бузинов. В анкете спрашивалось: «Як твоє прозвище?» Не зная украинского, он написал «Бузина». В тридцать восьмом его за это расстреляли — как румынского шпиона.

Сегодня река вынесла на берег борт корабля. Судя по еле заметному изгибу, целым судно было гигантским — ковчег. От странствий кожу его покрыла жемчужная сыпь ракушек. Непонятно — состарился он за работой или лежа на дне. Доски пригнаны так, что между ними не влезает гри-

фель карандаша. Завидная работа. Соединять части труднее всего. Знатоки женского тела, объяснял мне скульптор, следят, чтобы не было швов между верхом и низом.

На суше корабельный остов несуразен, как выброшенный кит. Я видел такого на Рижском взморье. Он был напрочь лишен формы. Особенно после того, как тушу искромсали набежавшие из Слоки цыгане.

У реки мне тоже нравится жить. Жирно поблескивающая рябь мешает воде отражать. Не минеральное стекло, а живая ткань — влажный эпителий. Его полотно расписано узорами — темные разводы, блестящие штрихи, лужи глади. Раньше мне хотелось прочесть реку, теперь я почти разлюбил читать. На воде сидят утки. По сравнению с нами им доступны две лишние стихии, как ракетам «вода — воздух». Зимой на Гудзон прилетают глупые канадские утки. Они умеют плавать не просыпаясь. Как-то мы с Гариком наткнулись на таких. Приманивая их, всю воду замусорили булкой. Но они только качались на зыби. Упорные в любви к животным, мы не отставали от птиц, пока из кустов не вывалился человек с ружьем. От хохота маньяк никак не мог нам втолковать, что мы кормили его резиновых уток.

Бабушка тоже любила все правдоподобное. Непонятному не было места в ее мире. Стихийный реалист, она плакала, когда история не кончалась свадьбой. Но больше всего ее огорчала живопись, которую отец вырезал из прогрессивных польских журналов. С журналами он обращался, как цыгане с китами. Сперва отец, не зная языка, читал их по азбуке Брайля — водил пальцами по строчкам, пока не наталкивался на запретную фамилию — Бухарин! Потом вырезал Брижит Бардо для себя и Гогена для гостинной. На репродукции бабушка смотрела не мигая, и когда над диваном появилась натурщица с бордовым задом, бабушка сожгла картину вместе с рамкой.

Я никогда больше не видел, чтобы к искусству относились так трепетно. По-моему, бабушку понимал один Хрущев. Для обоих связь живописи с жизнью была слишком прямой — уничтожая дурную копию, они спасали оригинал.

Из всех искусств больше всего бабушка ценила вышивку. Она и меня научила вышивать цветы шелковыми нитками. Они назывались нарядно, как пирожное, — мулине.

Последняя бабушкина работа лежит у меня на столе. Она изображает природу — на малиновом бутоне соловей с чертами петуха. Эту вещь невозможно применить по назначению, потому что у соловья нет назначения. Чистое, как у Набокова, искусство. Резервуар бесполезного труда — величественный, как пирамида, и бессмысленный, как реликвия.

Бабушка научила меня вышивать, я ее — читать книжки. Раньше ей это не приходило в голову. Писала она, как слышала, то есть — плохо. Зато читала с наслаждением, иногда до утра. Пока автор не отклонялся от реализма, экзотичность происходящего ее нисколько не смущала. Так, бабушкиным любимцем стал король биржи Каупервуд. За его карьерой она следила на протяжении всех трех томов, которые отвел ей Драйзер. Бабушка называла его Теодором. Она вообще редко утруждала себя фамилиями: Лондон был для нее Джеком, Хемингуэй — Эрнестом. Ей не мешало незнание предмета — она охотилась за эмоциями. Если бабушка узнавала описанные автором чувства, то слепо верила всему остальному. Исключение составляла явная чушь. Впервые мы разошлись на «Голове профессора Доуэля». Друг моей юности Шульман хотел поменяться с ней местами, но мне эта живая голова всегда не нравилась и снилась до тех пор, пока я не стал вставлять несчастного профессора во все, что печатаю. Так, я выяснил, что снится мне лишь то, о чем я не пишу. Литература — сон разума, и мне удастся заполнить страницу лишь тогда, когда я забываю, что делаю.

Не забыл ли я сказать, что маленьким любил бабушку больше всех? Ради нее я часами прижимался лицом к оконному стеклу, надеясь вырасти, как все порядочные люди, курносый. Не то чтобы бабушка ненавидела евреев, скорее она всегда о них помнила.

Говорят, с возрастом национальные признаки проявляются острее. Может, потому, что все остальные слабеют. Когда я первый раз бросил курить, то страдал отчаянно — до галлюцинаций. Через несколько лет опять закурил — и опять бросил, но уже без особых мучений. Сперва обрадовался, решив, что у меня воля окрепла, а потом сообразил, что это страсти остыли.

С евреями, впрочем, всегда сложно. Просто с ними было только на футболе. В нашем классе играли по бразильской системе: четыре — два — четыре. Нападающими были Сенин, Медведев, Устинов и Попов. В полузащите играли полуевреи — Гриша Иври и я, в защите — Якобсон, Гильдин, Канторович и Карпус. На воротах стоял безнадежный Изя Ассинас. На контрольной пирамида переворачивалась. Последние становились первыми, и все норовили списать у нашего вратаря.

Возможно, я слишком много места уделяю национальному вопросу, но это оттого, что у меня их два, по одному от каждой бабушки. Как ян и инь, они стоят над моей душой, дополняя друг друга банальными стереотипами.

Однажды я попал в буддийский монастырь. Лес, горы, каменный будда под американским флагом. Почти все буддисты — евреи. Самый толстый, похожий на карикатуру, держал на койке книжку «Каббала и деньги». Настоятеля звали Лурье. По двору он ходил в джинсах, но службу вел в черной робе, помахивая особой мухобойкой — древний символ власти. Лурье учил, что нет лучшего часа, чем тот, что ты не заметил. Здесь с этим было проще. Занятые либо простым, либо непонятным, все давали жизни течь так, как будто их нет. Тем, кто обнаруживал, что и в самом деле нет, давали мухобойку.

Как все нормальные, а тем более ненормальные люди, бабушка ненавидела перемены. Новое казалось ей развратом. Она любила шить, но больше перелицовывать. Прогресс пугал ее до столбняка. Бабушка рыдала, когда нам проводили горячую воду. Явление стиральной машины ввело ее в ступор. Она дорожила всем, что повторяется, включая болезни. Цenia нетленность красоты, она любила искусственные цветы и еще — все, что рифмуется.

В последнюю встречу бабушка отдала мне тетрадь со стихами — своими и списанными. Первые будто из XVIII века:

Пока сердце бьется сильно,
Ух! как хочется пожить,
Но когда оно заныло,
Так и хочется тушить.

Чужие стихи она брала где придется, отдавая предпочтение переводам с украинского:

Героя смел и ясен взор,
зовут его теперь шахтер.

По-украински бабушка говорить не умела. Мне кажется, она не знала, что такой язык существует. В ее дремучей, как летопись, геополитике Украина включала в себя Россию и предшествовала ей. Империя была ее внутренним органом, вырабатывающим чувство государственной принадлежности. Латышей она соглашалась считать соотечественниками и не прощала, когда тех это не устраивало.

Бабушка не знала, что такое политика, но это не мешало ей обладать твердыми убеждениями. Сталина она ненавидела и считала виноватым,

когда подгорали пироги. Хрущев был своим — как Тарапунька и Штепсель. Остальными она и не интересовалась. Советская власть для нее кончалась на Шульженко.

В ней было таинственное, как телепатия, чувство границы. Все вокруг нее называлось родиной. Она так туго вписывалась в устройство бабушкиной души, что они не смогли расстаться. «Умру, где Шевченко», — сказала она, отказавшись ехать в Америку. Никто не знает, что она имела в виду, потому что скончалась бабушка за границей, в Риге. И похоронили ее, так уж вышло, на еврейском кладбище.

КОЛЯ

Несмотря на фамилию, Коля Левин был второгодником. Он не мог вызубрить таблицу умножения, хотя учил ее во втором классе, и в третьем, и в четвертом, и в пятом — четыре раза.

Из таблицы умножения Коля помнил только то, что множилось на десять. В остальных случаях он старался угадать. Из-за этого Коля так и не научился играть в карты и мучился со сдачей. Скрывая свой несчастный пробел, Коля изобретательно изворачивался, но таблица умножения, как тугая авиационная резина, из которой получались лучшие рогатки, возвращала его к себе, не пуская к новым знаниям.

Меня прикрепили к нему для подтягивания, но умножение нам было ни к чему. Мы интересовались ракетами. Делалось это так. Рулончик фотопленки, которая тогда еще горела, заворачивался в фольгу от шоколадки. В хвост вставлялась спичка серой наружу. Когда ее поджигали, ракета поднималась на реактивной струе, пролетала метров пять и умирала, крутясь на месте. Стараясь удлинить полет, мы сооружали проволочные стропила — они давали ракете разогнаться — и могли нацелить ее, скажем, в окно, а не под кровать. Толку от этого было не много, но экспериментировать мы не переставали.

Воздух счастливая стихия — невидимая, веселая, легкая. Даже бумажный самолет кажется в ней грузным, и то, что воздух с дружеским участием держит его на плечах, казалось завидным — ангельским — подарком.

Мне нравился в ракетах полет, Коле — взрыв. Взрыв ведь не просто ускоряет разрушение, он придает ему космический характер. Взрыв несопоставим со своей причиной — как Big Bang. Отменяя время и искажая пространство, взрывная волна освобождает пленный дух — нарядно, наглядно, навечно. Переставая быть, вещь салютует небу — даже то, что не умеет летать, взлетает в воздух. Взрывное усилие отличается от волевого, как праздники от будней. Накопленное скорбным трудом бытие мгновенно уравнивается своим ликующим отрицанием. Решая этот пример, мы получаем свободу столь чистую, что ее нельзя пустить в дело. Взрыв — триумф бескорыстия. Во всяком случае — в мирное время.

Ломать, конечно, не строить, но Коля, любя и то и другое, не жалел труда. Разнести склеенный из ломких реек планер казалось ему так же интересно, как целую неделю над ним трудиться. И только невежество спасло Колю, когда он бросил в канализационный люк зажженную шашку тринитротолуола. Для взрыва нужен детонатор, о чем я знал из Жюль Верна, а Коля нет, пока я не дал ему книгу. Она нас окончательно сдружила. Я копировал карту «Таинственного острова», Коля — рецепт нитроглицерина (не все знают, что для этого достаточно смочить глину смесью азотной кислоты с серной).

Уже после суда, женитьбы и армии Коля держал под кроватью чемодан динамита. Но сперва он обходился бумажными лентами с пистонами, которые пугали только мою бабушку. Потом появился настоящий порох. Коля крал его у отца, у которого он изредка гостил после того, как родители развелись. По профессии Колин отец был браконьером. Коля даже

угощал меня лосятиной, а однажды показал добычу — ванну рубинового мяса. Его хватило на сто банок домашней тушенки. Раскурочивая украденные патроны, Коля высыпал на стол крупный порох. «Бездымный», — подчеркивал он, радуясь.

Порох требовался для акции против соседа, повесившего свой замок на общий сарай. В нем хранились лишние, у всех одинаковые вещи — продавленные диваны, непрременные лыжи, зеркала, помутневшие от увиденного.

Готовясь к бою, Коля собрал полный спичечный коробок. Его хватило, чтобы заполнить все брюхо ржавого замка. Такими запирали наши дивные амбары. Вместо окон у них были стройные кованые двери — по дюжине на этаж. Соединенные вязью переулков без имен и названий, бордовые амбары толпились от реки до базара. На этом ганзейском пятачке кончалось средневековье и начинался Запад. В ясные дни, снилось мне, отсюда можно было увидеть Швецию.

Бикфордового шнура у нас не было, но мы обошлись, намочив бельевую веревку в бензине для зажигалок. Взрыв удался. От замка не осталось ничего, дверь снесло, сарай — тоже. В восторге мы бежали с места происшествия, а когда отдышались, обнаружили, что две крупницы пороха обожгли Колину роговицу, обеспечив его особой приметой. Конечно, хорошо, если бы она пригодилась для нашего рассказа, но вряд ли. Колины преступления оставались нераскрытыми, а когда его поймали, никаких примет не понадобилось вовсе. И все же пусть эти мелкие, как мушиные следы, крапинки останутся на странице, защищая ее от целеустремленности.

Ненужная деталь — гвоздь, на котором повесилась логика. Что еще не страшно, ибо логика не фатальна. Она приходит и уходит, а жизнь остается, предлагая нам выбирать между разумным и действительным. Все необъясненное нелогично, но это не мешает ему существовать. Чжуан-цзы советовал не присосовывать ноги змее, даже если мы не можем поверить, что она обходится без них.

Бездельные детали — мука авторского сознания. Они привязчивы, как незавершенный аккорд. Язык без конца ощупывает их, словно дупло в зубе. Автор не может ни оторваться от безработного эпизода, ни пристроить его к делу. Язва ненужного разъедает бумагу, но избавиться от него еще никому не удалось. Когда я впервые решил испечь пирог, мне быстро удалось соорудить белесый гробик с начинкой. Уже смазывая тесто яйцом, я заметил дырку меньше шляпки гвоздя. Стремясь к совершенству, я стянул края отверстия, чем удвоил число дыр. Повторил операцию — их стало больше вчетверо. Сражаясь с геометрической прогрессией, я сам не заметил, как параллелепипед стал колобком. С тех пор я не пеку пироги и собираю дырки.

Когда мы подросли, выяснилось, что Коля пользуется успехом. Большоголовый и низколобый, он походил на красивого питекантропа из Музея природы. Коля нравился фабричным девицам — в отличие от меня. Отвечая взаимностью, я волочил за ними, шипя от ненависти. Бесформенные, как тюлени, они носили пронзительно короткие юбки, сразу за которыми, впрочем, начинались теплые штаны немарких оттенков. Коле они позволяли все, мне — ничего, и я вечно ходил с расцарапанными руками.

— Знаешь рагеров, — говорила мне одна из кредитно-учетного техника, — это мы.

Я не знал, но терпел, понимая, что надежд на нее все-таки больше, чем на волооких еврейских старшекласниц, которых полагалось водить в филармонию.

Коля туда не ходил. Он не интересовался искусством. Он любил технику и крал мопеды. Коля не мог устоять перед всем, что движется. Он часто уговаривал меня не тянуть лямку жизни, а, дожив до тридцати, вре-

заться на мотоцикле в стенку. Мотоцикла у него, правда, не было, но однажды он привез из Пярну эстонский «студебеккер» без тормозов. Коля клаясь, что по дороге ни разу не остановился на светофоре.

Я не участвовал в его приключениях. Мне хватало доставшегося от брата пудового велосипеда, который назывался «трофейным». Возле руля, на шее, виднелся грубый шрам от сварки. Велосипед был моей первой и, наверное, последней любовью. Все, что сложнее вилки, мне дается с трудом. Я ненавижу механизмы, начиная со складного зонтика. Но велосипед — дело другое. Он воплощает меру и охраняет справедливость. Особенно в холмистой местности, где ветреная радость спуска благоразумно предвещает похмелье подъема. К тому же вверх ехать куда дольше, чем вниз, что и понятно. Счастье мимолетно, иначе б нам его не выдержать.

Господи, где то утро? Нежарко, часов восемь, мне двадцать пять. По дороге на работу накатывает обжигающая, как прорубь из сауны, схватка счастья, предвещающего нужное будущее. Мне досталось больше, чем присил, но меньше, чем хотелось.

Еще картинка, как цитата из Чуковского. На полу играет сын, жена возится с шитьем. Дальше надо лезть в прошлое. Скажем, восемнадцать, первые пьянки с их творческим пафосом. Тогда же — весенний огурец. Мы растянули его на целый день в пустынных дюнах взморья. Кроссворд — мы разгадывали его, когда я забрался к родителям в постель. Мне от силы двенадцать. А вот уже десять. День рождения, грипп вместо праздника, но тут мама приносит из академической библиотеки тома Брема с ласково льнущей к рисункам папиросной бумагой. Дальше — ничего, в другую сторону — тоже. Только привычная зависть к пропавшему времени.

Я обходился своим трофейным велосипедом. Мулы мопедов мне были ни к чему. Коле, впрочем, тоже. Воруют ведь что попало. Запах чужого будит чувственность и пьянит, как весенний ветер. Я знаю, что у каждого писателя был блатной учитель жизни, но мне не повезло. Того, кого я знал, звали Тайгой. Он унес из интерната глухонемых мешок глобусов. Мне так и не удалось его понять, потому что, считая «бля» союзом, он не справлялся с грамматикой. Точно так же говорили начальник рижской тюрьмы, за дочкой которого успешно ухаживал Шульман, и главнокомандующий Прибалтийским военным округом со смешной для генерала фамилией Майоров. Его жена учила нас выразительному чтению.

Склонность к технике помогла Коле с незаконченным (мягко говоря) образованием устроиться на телефонную станцию монтером.

В те времена каждому было место. Люди ученые шли в сторожа, наглые — в вахтеры, корыстные — в букинисты. Мой пунктуальный, как ночь, знакомый гасил свет в витринах. Другой охранял кровать, на которой однажды спал Ленин, третий коллекционировал антиквариат, проверяя счетчики. Брат мой служил окномоем, я — пожарным. Сильные поэты работали могильщиками, слабые — в саду, хитрые — в архивах. Сектантов брали в зоопарк, отказники разгружали вагоны. Любовно оглядывая эту деловитую, как в «Незнайке», компанию, я понимаю, что наш кпд был не больше, чем у паровоза Черепанова, но Коля и тут выделялся: пользы он не приносил решительно никакой, вред же от него был весьма очевидным.

Телефон Коля не мог починить, потому что не знал, как тот устроен, но это его не останавливало. Коля любил технику безвозмездно. Ему вовсе не нужно было, чтобы она работала, а если она это все-таки делала, Коля не оставлял ее в покое, пока она не переставала.

Работой Коля дорожил. Добравшись до очередного телефона, он разбирал все, что откручивалось, и подолгу смотрел на детали. Потом потягивался и веско говорил: «На станции». «Токи Фуко», — вежливо добавлял я, если составлял ему компанию.

Коле давали на чай, и, став на ноги, он задумал жениться, не дожидаясь восемнадцати. Но тут случилась катастрофа. Однажды, когда Коля,

отослав хозяйку за бутербродом, мирно трудился над телефоном, его взгляд упал на рояль. Под нотами лежала пачка десяток.

Когда я вновь встретился с ними в Америке, они показались душераздирающе маленькими, но тогда в десятирублевой купюре еще звенел червонец. Из нее выходило три поллитры или пива без счета. При этом десятка была предельной суммой. За ней начинались взрослые деньги вроде двадцатипятирублевого билета, который ни на что не делился и откладывался на пальто.

Увидав столько денег, Коля не растерялся. Не мешкая, он смел их в кулак и помчался к двери, свалив в коридоре хозяйку с тарелкой. Поскальзываясь на снегу, Коля бежал по рельсам, пока не догнал трамвай, увезший его в далекий Межапарк. Только там Коля пересчитал десятки — их было тринадцать. Сперва он решил справить свадьбу, но, затаившись минут на двадцать, передумал и принялся тратить. Его первой покупкой стал карманный вентилятор. На холодном ветру не удавалось понять, хорошо ли он работает. Чтобы проверить, Коля отправился в кинотеатр «Рига», украшенный вопреки названию гипсовыми пальмами. В зале было душно, но вентилятор так ревел, что Колю пригрозили вывести. Устраняя дефект, он разобрал аппарат на ощупь, но в темноте потерялась батарейка. Со злости Коля ушел из кино, так и не узнав, чем кончился латышский боевик «„Тобаго” меняет курс».

Десяток оставалось еще много, и он пришел ко мне за идеями. От разговоров нам захотелось пить, и мы купили самое дорогое — малиновый сироп с двоюродной болгарской этикеткой. Коля хотел открыть бутылку по-пиратски — отбив горлышко, но она раскололась по ватерлинии. Верхней частью Коля сильно порезался, а то, что осталось на доньшке, не лилось. Вымазанный кровью и сиропом, Коля стал походить на упыря, и мы решили продолжить разгул, когда он отмоется.

Дома его, однако, ждала милиция. В чужой квартире Коля оставил сумку с казенной отверткой и личными вещами — противогазной маской и бульонными кубиками. Там же лежало удостоверение с Колиной фотографией и номером рабочего телефона. Звонить, впрочем, было неоткуда, и в участок пострадавшая добралась пешком.

Только тридцать лет спустя я понял, о чем думал Коля, оставив на месте преступления все улики, которые у него с собой были. Коля не мог не знать, что его поймают. Он знал, но не верил, как не верим мы, что умрем, твердо зная, что этого не избежать. Коля не считал наказание следствием преступления. Одно для него не следовало за другим, а соседствовало с ним. Жизнь его состояла из независимых монад, каждая из которых рождалась и умирала, не оставляя будущему потомства.

Тридцать лет я пытаюсь поставить себя на Колино место, но у меня не выходит, и я пишу о том, чего не знаю, но о чем смутно, чаще во сне, догадываюсь. Я верю в то, что пишу, но не живу по своей вере. На бумаге я воспеваю то, что недоступно мне в жизни, — безрассудную удаль, беспредельную свободу, беспробудное пьянство. Шагреневая кожа моих сочинений устроена таким образом, что жизнь ходит за мной по пятам и стирает влажной тряпкой все описанное. Это, конечно, неприятно, потому что пишу я о том, что люблю: холодной водке, богатых щак и нерушимой дружбе.

Колин суд мне понравился. На процессе фигурировала моя первая статья. «Человек, — писал я в ней, — это *tabula rasa*, на которой оставляет свои скрижали пионерская организация». Статью горячо обсуждали и приобщили к делу как вещественное доказательство мятежности Колиного духа. Но от тюрьмы его спас не я, а возраст. К моменту кражи Коля все еще не был совершеннолетним, и вряд ли он им стал с тех пор, как мы расстались.

СУББОТНИК

Писать я научился раньше, чем читать. Меня обучил грамоте дядя Сема, самый образованный из нашей киевской родни. Мастер игры и виртуоз духа, он был артистом оригинального жанра — играл в шапито на тромбоне. Главным в его номере была выдержка. Как только он принимался играть, на арене появлялся рыжий клоун. Он завидовал дяде, как Сальери Моцарту, и вел себя не лучше — пихался и толкался, пока от тромбона не отваливался кусок. Но дядя Сема выводил свою песню на том, что осталось, только октавой выше. Свирепея от обиды, клоун вновь бросался за инструмент, но музыка продолжала жить даже тогда, когда дяде приходилось извлекать ее из огрызка не больше милицейского свистка. Посрамленный клоун убирался за кулисы, а вместо него на манеж выбегала тетя Вера с тремя болонками — по числу граций. Делая вид, что не узнает мужа, тетя Вера пугалась дородного мужчины, свистящего соловьем-разбойником, но собакам он нравился, и они крутились на задних лапах, пока всю компанию не увел шталмейстер.

Цирк я с тех пор не люблю, но с циркачами дружил, особенно с воздушными гимнастами. По Шкловскому, цирк — публичное преодоление трудностей. Никто не станет смотреть на силача, жонглирующего картонными гириями. Артисту должно быть трудно, а нам страшно. Перемножив обе части уравнения, мои приятели додумались кувыряться над ареной с тиграми. Расчет был на простодушную публику, но другая в цирк и не ходит. Трапедия висела под куполом, и присутствие хищников ничего не меняло в раскладе — упавшим было все равно, а остальным животные приносили немалую выгоду на заграничных гастролях. Из украденных у тигров костей циркачи варили суп в гостиничном биде. От голода звери делались покладистыми, но вид их все же внушал такой страх таможенникам, что на обратном пути мои друзья прятали в клетке «Плейбой» и «Ракочный корпус». Солженицын, как джинн из «Тысячи и одной ночи», возвращался на родину в сопровождении тигров и гурий.

Дядя Сема тоже мечтал о заграничье. Он хотел показать свой неустранимый тромбон Америке — на родине его все уже видели. Притязаниям дяди Семы придавало вес то обстоятельство, что фамилия гремевшего тогда в Нью-Йорке импресарио Сола Юрока лишь на одну — отсутствующую — букву отличалась от той, что носила в девичестве моя бабушка Анна Гурок. Совпадение, однако, оказалось случайным, ибо Юрок пригласил в Америку Большой театр, а дядя остался дома, в длинной, как вагон, квартире. Вместе с женой, собаками и хронически безработной мартышкой он занимал в ней треугольную комнату, лучшая часть которой была отдана платяному шкафу. Его сорванная еще до войны дверь то и дело падала на пол, угрожая прихлопнуть кого-нибудь из питомцев.

В этой огромной киевской семье ничего толком не работало. Женщины занимались спекуляцией, мужчины сидели — либо за хищение социалистической собственности, либо за недоверие к ней. Часто это были одни и те же люди, что уже в детстве мне казалось нелогичным. Несмотря на нездоровый образ жизни, все они дожили до старости, особенно — дядя Миша. Вернувшись разочарованным с войны, которую он упорно называл «империалистической», дядя Миша навсегда бросил работать. В этой ситуации ему не оставалось ничего другого, как быть нетребовательным в быту. Зимой и летом он ходил в галошах на босу ногу. Чтобы они не спадали с ноги, дядя Миша привязывал их бумажной бечевой, но она так быстро перетиралась, что он выходил из дому лишь к щиту, где власти вывешивали «Радянску Украину». Прочитанным он ни с кем не делился. Убедившись на своем долгом веку, что все газеты рано или поздно становятся запрещенной литературой, он не хотел ставить родственников в глупое положение.

Кроме него, газет никто не читал, но книги были у всех. Их вручали передовикам производства. Наши туда попадали так редко, что бабушкина домашняя библиотека занимала верхнюю полку этажерки, оставляя вдоволь места пузырькам, пилюлям и одноногой Улановой. В фарфоровом кулаке балерина сжимала снабженную линзой фотографию Большого театра, поехавшего в Америку вместо дяди Семы.

Чтобы научить меня читать, он достал букварь по благу. Их продавали только первоклассникам, до чего мне было далеко. Букварь производил неотразимое впечатление. Его слоговая поэзия заволаживала шаманским шепотом — «жи-ши-пиши-через-и». Азбучные мантры будили неведомое, таяли во рту и ровным счетом ничего не значили.

Пижон мог бы увидеть в букваре эскиз обэриута, неопиту он нес благую весть. Букварь открывал законы сложения, позволяющие накинуть паутину письма на пестрый хаос вещей и явлений. Мир бесконечен, говорил букварь, но не произволен — в нем может быть все, но не все, что угодно.

Мне хотелось бы прочесть книгу, написанную в тюрьме, гареме, лабиринте, на необитаемом острове, «Титанике», Эвересте, перед казнью, на кресте, под венцом, в колодце, стоя в углу, сидя на горшке или лежа на горошине, но сам я пытаюсь написать что-то бесхитростное: «Маша ела кашу».

Я, впрочем, больше люблю лисички — они не бывают червивыми. За это их прозвали еврейскими грибами. Из лисичек готовилось восхитительное жаркое, но по торжественным дням за столом царила тучная кура. Из-за нее каждый праздник венчал неприменный скандал. Когда птицу разрезали, то крылышки доставались дочкам, чтобы убрались скорее из дома, гузно — хозяйке, чтобы она, напротив, не покидала очага, а ножки, считавшиеся лакомыми кусками, кочевали по тарелкам, пока их не выбрасывал в окно обремененный артистическим темпераментом дядя Сема. Как художник, он презирал «еврейский баскетбол».

Кстати сказать, Мандельштам, вспоминая дедушку, жившего на улице Авоту, в двух шагах от нашего дома в Риге, писал, что дед знал по-русски одно слово — «кушать».

Съестного хватало и в букваре, открывавшемся полосатым, как курортная пижама, арбузом. С него начиналось знакомство с алфавитом. Непререкаемость его авторитета не перестает меня восхищать. Из арбузов, барабанов и гусей он составляет ребус просветления. Разгадавшим коан букваря открывается власть над миром, на описание которого русской азбуке хватает тридцати трех букв, а другим и того меньше.

Задолго до того, как выучил их все, я начал писать свой первый рассказ печатными буквами. Обходясь без «э» и «щ», я ринулся в бой с той авторской самоуверенностью, которую мне с тех пор не удалось вернуть. Но дело шло туго — как и сейчас, мешали буквы, больше всего — «к» и «я». Их конечности выпирали не в ту сторону. Мои первые читатели говорили, что таких нет в русском языке. «В моем — будут!» — отвечал я сквозь слезы. Хотя действие рассказа проходило в джунглях Амазонки, я, считая его глубоко личным, даже интимным делом, полагал себя вправе пользоваться тем языком, которым хотел. «Язык принадлежит всем и никому», — увещевали взрослые, не подозревая, что задают мне задачу на всю оставшуюся после завершения тропического опуса жизнь.

Из него так ничего и не вышло. Рассказ застыл на слове «металлургический», которое мне не удалось изобразить на бумаге. Думаю, что больше я его ни разу не употребил, но в том, первом, рассказе оно было совершенно необходимым. Согласно тогдашним моим религиозным убеждениям, которые отличала давно исчезнувшая определенность, в этом слове заключалась власть над всем словарем. Не исключено, что так и было, если вспомнить, что в те годы сталь еще всему была мерой. Metallургия, превращающая холодное в горячее, твердое в жидкое и серое в красное,

считалась патриотическим промыслом. Сталь варили в домнах — домах столь больших, думал я, что взрослым пришлось вставить в них лишнюю букву — «н».

Она, кстати сказать, мучила меня не меньше советской власти. Как редкие звери в зоопарке, «н» размножались, когда хотели, причем часто в неподходящих местах — стеклянный, деревянный, оловянный.

Ошибки всю жизнь гонялись за мной орфографическими фуриями. Я пробовал все — зубрил правила, корпел над упражнениями, практиковал исключения. Развивая по методу сюрреалистов навыки автоматического письма, я написал сотни диктантов, познакомивших меня с самыми скучными страницами Тургенева. Не помогало ничего. Ошибки сторожили меня, как тени в подворотне. Пугаясь неведомого, я падал в грамматическую лужу, поскользнувшись на каком-нибудь незатейливом окончании. Постепенно я примирился с неизбежным. Безупречность уместна в эпитафиях, но только грех порождает живое. Утешившись лживым афоризмом, я почувствовал, что ошибки стали мне физиологически близкими — как почерк.

Самую большую ошибку я делил со всей страной. Я имею в виду субботник. Меня угораздило им заразиться от первой же прочитанной книги — «Первоклассницы» Евгения Шварца. Она открыла мне глаза на то, что и Конфуций называл счастьем, — учебу, свободный труд свободно собравшихся детей.

Бескорыстный и бесконечный, труд этот представлял аскезой чистой воли, напрягшей мысли в ожидании вечно откладывающегося прыжка. Школа казалась мне храмом, где послушники с бритыми под полубокс затылками поклонялись знаниям. Дошедшая из тьмы веков наука жаждала, как душа без тела, воплотиться в учениках. Но это была не конечная цель, а транзитная остановка. Овладев еще одним поколением, знания лесным пожаром неслись дальше. Фонтан фактов, бесцельный, как жизнь, но и не менее величественный, чем она, извергался в пустые небеса, засева их спорами смысла и семенами разума. Уступая умному напору, безмолвная Вселенная, как казахстанская целина, покорно ждала пахаря, в сущности — меня.

Не зная школы, я ждал ее с трепетом жениха. Сокращая разделявшую нас бездну дней, я — все теми же печатными буквами — выполнял упражнения из учебников моего спортивного брата. Риторические упражнения, которые мне предлагалось переписывать, вставляя пропущенные буквы, искушали категоричностью суждений: «Весна — утро года, а Москва — столица нашей родины». Тире, графический символ вселенского сальдо, подводило черту (продолговатую, а не куцую, как запанибратский дефис) под историей вопроса. Оно выдавало себя за спрессованную сумму предыдущей мудрости. Как квадрат Малевича, оно интегрировало все живое в свою молодежавшую геометрию. Тире перечеркивало сомнения даже тогда, когда про «столицу нашей родины» писали латыши.

Первое знакомство с тире ошарашило меня, как Колумба Америка, — мы оба приняли наши открытия не за то, чем они были на самом деле. Чтобы замкнуть земной шар, Колумбу пришлось изъять лишний континент. Поверив тире, я счел возможным принести в жертву краткости длинные растрепанные мысли, которые оно, тире, предательски заманивало, обещая подвести им итог. Беда в том, что спровоцированная тире краткость постепенно обесценивает страницу, как порченная монета. Лаконизм отрывает письмо от мысли. Ведя самостоятельную жизнь бросившей хозяйина тени, текст забывает бесповоротностью. По дороге к афоризму он вырождается в тождество, но если одно равно другому, не стоило открывать рта.

Скользя по поверхности, тире мешает сказать, что в глубине покато́й жизни скрыта нежная и нервная сеть мира. Мы бродим над ней, задевая

струны то своей, то чужой души, не умея разобраться в тонкой вязи, уходящей в плодородную тьму, куда нам никогда не добраться. Этот ковер корней иногда называют кармой. Следуя ей, гусары играли в тигра.

Правила этой старинной забавы собирают за круглым столом компанию офицеров. Спустив штаны, каждый привязывает к гениталиям бечевку и пропускает ее сквозь дыру в столешнице. Тщательно перепутав веревки, игроки, дождавшись сигнального клича: «Тигр пришел!», что есть силы тянут за доставшийся им конец. Прелесть игры в том, что никто не знает, мучит он друга или врага, союзника или соперника, себя или соседа. За этим столом, в отличие, скажем, от карточного, царит не слепая фортуна, а разумная воля. Держась за нити судьбы, каждый настолько упивается властью, насколько может ее вытерпеть. Такая ситуация освобождает от страха Господня — мы твердо знаем, что наша судьба в наших руках. Жалко только, что это верно для всех, но не для каждого.

Коммунизм, верил я, обрывает связывающие людей путы, чтобы сделать из коллективной пытки субботник. Заменяя Сада Мазохом, он скреплял трудом то, что держалось мстью. Бескорыстие субботника делает трудовое усилие спортивным, бригаду — командой, цель — неважной. Процесс тут, как в любви и молитве, важнее своего результата. Никто не знает, куда Ленин нес бревно, но видно, что оно ему нравилось. Если разделивший человека конвейер есть ад труда, то рай его — слепляющий нас субботник. Не посягая на личную свободу, он просит ее взаймы — как джазовое трио. Сводя таланты, субботник прячет их в счастливый аккорд трудовой соборности. Этим он напоминает и свальный грех, где каждый торопится расстаться со своим вкладом.

Наслаждаться субботником мне мешала антисоветская агитация и пропаганда, которая велась у нас дома. Как в каждой семье, где уважали Хемингуэя, читали Евтушенко и слушали Высоцкого, отношения с режимом у нас складывались безлюбивые. Ненавидя власть, отец был неравнодушен к ее проделкам, но мне советовал держаться от нее подальше.

Подражая взрослым, я перегибал палку. Сторонясь коллектива, я презирал все, что тому нравилось. Мое детство обошлось без пионерского задора — я так кривлялся, что меня публично не приняли в пионеры на торжественной церемонии в Музее революции. Он размещался в Пороховой башне, самом пугающем здании города, если не считать сталинской высотки, отведенной под Дом колхозника, но захваченной Академией наук, где работала моя мама. Что касается построенной крестonosцами башни, то она казалась слишком большой для истории революции, которая в Латвии была существенно короче. В скупо освещенных бойницами залах томилось имущество красных стрелков — ложки, кружки, пулемет «максим».

Сегодня наследство крестonosцев вновь стало средоточием государственности, и там, где раньше был Дворец пионеров, сейчас расположилась президентская резиденция. Первым ее занял Ульманис, племянник довоенного диктатора, по безалаберности — или из прозорливости — сохранивший громкую фамилию. Раньше он служил директором Дома быта. Поселившись в крепости, Ульманис начал принимать посетителей. Одним из первых оказался мой знакомый физик, ставший флотовладельцем. Хоть гость давно познакомился с хозяином, заказывая у него брюки, на новой территории встреча проходила церемонно. Из-за шторы выскочил немолодой мужчина, одетый в цвета латвийского флага. Помахав затянутыми в красно-белое трико ногами, он проделал пируэт и согнулся в глубоком поклоне. Герольд, кстати, тоже был не чужим в этой компании. В прежней жизни он служил капитаном ГАИ и штрафовал всех участников аудиенции.

По праздничным дням я не ходил на демонстрацию, помня, чему она посвящена. Других это не смущало. Сбиваясь в теплую кучу, они без задних мыслей разливали ситро и портвейн. Чужой праздник прокатывал

мимо, цокая копытами и каблуками по нашим сизым булыжникам. Я смотрел на него со стороны, а думал, что свысока.

К субботникам, как и ко всему запретному, меня приобщил отсталый друг Коля. В его дворе с зиявшей воронкой от взорванного нами сарая соседі потерпевшего затеяли клумбу. Отнюдь не угрызения совести побудили нас принять участие в облагораживании пейзажа, обезобразить который нам стоило столько сил и умения. Азарт преобразования окружающей среды не зависит от направления вектора. Пушкин говорил — лучше картежного выигрыша только проигрыш.

Как всякое дело, субботник начался с того, что взрослые закурили, обмозговывая предстоящее. Взвесив трудности, они скинулись и отправили нас в магазин, снабдив по малолетству запиской. Потом, сдержанно отложив принесенное, мужчины принялись рыть, женщины — сажать, мы — вертеться под ногами. Трудно поверить, но от всего этого прямо из неприбранной земли поднималась клумба. Она росла и хорошела, подчиняясь веянию трудового лада. Прислушавшись к нему, работа спорилась. Всякое — а не только разумное — усилие делало клумбу лучше. Каждая — а не только счастливая — случайность служила ей украшением.

Уже на излете трудового героизма, иссякающего под лучами высокого солнца, согревавшего бутылки, клумбу завершил саженец клена. Мне, как не отличавшемуся от него ростом, доверили сунуть деревце в землю.

Мне с трудом удалось на него залезть, когда я навел клен четверть века спустя. Он вырос таким развесистым, что на ветках легко было перевешать всех моих противников. Их, впрочем, не так уж много. С возрастом мы делаемся скучнее. Как римляне периода упадка, мы пропускаем вперед представителей продвинутых формаций.

К пятидесяти, почти исчерпав марксистскую хронологию, мы застываем в том снисходительном состоянии, когда, перестав бояться варваров, мы еще не смешались с ними.

К пятидесяти, скрывая отвращение безразличием, ты смотришь на наследников. У них все короткое: волосы, мысли, дыханье, даже застолье. Выхватывая куцые куски настоящего, они забывают о прошлом и не верят в будущее. Шутки их прямы, и всем средствам они предпочитают грубые. Они ценят простоту, быстроту и хватку. Они полны собой, глухи к обидам и цельны, как редиски. Они говорят лишь друг с другом, обходясь птичьим наречием. И ты, как Назон у даков, стеснясь себя и стыдясь за них, учишься ему у них. Заменяв разум рефлексам, они совсем не нуждаются в том, что позволяет тебе овладеть пространством и временем — в союзах. Считая до трех, и то на доллары, они не помнят, что идет за чем и почему. Но, чтобы стать понятным тем, кто не отличает сложноподчиненного предложения от примуса, ты сдаешься их синтаксису, исчерпывающему неостановимым, как икота, «и», чтобы обнаружить, что он тебе нравится.

В жизни у меня было немало связей. Застарелая — с прилагательными, случайная — с каламбурами, законная — с глаголами, но только с лысиной пришла любовь к сложносочиненным предложениям. Мысли в них стоят рядом, как взрослые и независимые любовники. Свободный труд свободно собравшихся идей, живущих в простоте. Желательно — на природе. Но и там лучше не писать пейзажи, а подражать им. То, что вырастает из земли, выгорает на солнце, разбавляется дождем и сохнет на ветру, называется не простым, а элементарным. Но в школе меня этому не учили.

Мою первую учительницу звали Ираида Васильевна. В школу она пришла по призванию, но из органов. У Ираиды Васильевны были стальной взгляд, железная хватка и золотые зубы. Ее единственной любовью был Александр Матросов, и она всех нас хотела бы видеть на его месте. Двоечники внушали ей больше надежд, и она прощала тем, кто умел шагать в ногу.

Я не умел. Не твердо отличая левую ногу от правой, я хотел знать, почему первая важнее второй. Я вообще хотел все знать, что даже меня раз-

дражало. Не говоря уже об одноклассниках. Они сделали все, чтобы науки не давались мне даром.

У каждого возраста — своя валюта. У подростков — дружба, у молодых — любовь, у взрослых — слава, у стариков — деньги. Дети, понятно, беднее всех. Они не доросли до символики обмена. Не накопив социальных отличий, они полагаются только на себя и всегда дерутся — как три мушкетера.

Мне это не нравилось. В драке нельзя выиграть. Даже если ты победил, совершенно не ясно, что делать с поверженным противником. Я своему — форварду Женьке Устинову — одолжил расческу, но он все равно вырос, спился и умер.

АТЕИСТЫ

Диплом с отличием мне не достался из-за четверки по атеизму. Я получил ее за богоборчество. «Бога нет», — говорил мне старший брат, но он был двоечником. Из педагогических соображений от меня это скрывали, но я все равно знал, что в школе ему давалась одна физкультура. Гарик хотел стать летчиком, но еще больше ему хотелось поставить три стула друг на друга, выдернуть нижний и посмотреть, что получится. Не удивительно, что Гарик оказался в армии, где его учили не летать на самолетах, а сбивать их, что не привило брату уважения к небу.

Окончательно это выяснилось в Бруклине. Свое первое американское жилье мы сняли в самом центре этого большого, но тесного, как грудная клетка, района. Евреев в Бруклине живет больше, чем в Иерусалиме, поэтому из окна нашего светлого подвала можно было добросить снежком до любой из четырнадцати соперничающих синагог. Тем более, что зима выдалась снежная. Обрадовавшись ей, мы только собрались отмечать праздники, как начались трудности с елкой. Мы ее простодушно называли «новогодней», соседи — «рождественской». Они же объяснили неуместность христианской флоры в нашем районе.

Чтобы не огорчать их, мы, дождавшись сумерек, отправились за елкой к неграм. Гарик надел на нее мое пальто, и мы побрели домой, держась поближе к стенам. Только на полпути до нас дошло, что со стороны мы похожи на убийц, а вблизи — на сумасшедших.

С тех пор по субботам Гарик жарил картошку на сале, злорадно открывая окно, выходящее на ближайшую синагогу. Евреи, однако, реагировали не так нервно, как ему хотелось бы. В Америке сало едят одни синицы, и то зимой. Зато сало обожали обе мои бабушки. Русская явно, еврейская тайно. Первая клала его в борщ, вторая ела так, успокаивая совесть самодельной поговоркой «Если есть свинину, так уж жирную». В их трагически-невинной жизни грехи и соблазны редко выходили за пределы кухни. В Бруклине, впрочем, тоже, если не считать драки, которую учинил ладный Сеня Жуков.

В прошлой жизни Жуков любил танцы. Он был хореографом областного масштаба — ставил пляски на стадионах Полтавщины. Привыкнув к размаху, Сеня мыслил флангами и спал с кордебалетом. Работа не оставляла Сене выхода — в одном только танце «Урожайный» на футбольное поле выходило триста гривуазных колхозниц, наряженных снопами.

Чтобы отвлечь тихую жену Бэллочку, Сеня завел трех сыновей, но это не помогло. Жена затаила обиду на Полтавскую область. Она считала ее рассадником разврата и — заодно — антисемитизма. Чтобы забыть о первом, Сеня напирал на второе. Так семья Жуковых оказалась в Бруклине.

На первых порах им приходилось трудно. Пособия хватало на еду и дешевую водку «Альоша». Из мебели в доме стояла метровая менора, подаренная молодыми хасидами. Они-то и подбили Сеню обратиться к Богу.

Хасиды посоветовали Жукову разделить их веру, что принесет ему духовную радость и материальную выгоду. Уточнив, что хасиды обещают по две тысячи долларов, так сказать, на нос, Сеня предложил Богу не только себя, но и все свое обильное чреслами потомство. Выгода казалась ошеломительной, операция — простой.

На праздник, отмечающий удачный исход предприятия, в «Алеше» подавали фаршированную рыбу. Сеня наливал, хасиды не пропускали. Каждую рюмку Жуков деликатно сопровождал тостом о еврейской доле, которую он взвалил на свои украинские плечи. Хасиды кивали, но деньгами не пахло. Когда стали расходиться, Сеня заглянул под менору. Долларов не было и там, зато выяснилось, что на обрезании Сеня сэкономил восемь тысяч. Узнав, что Жуковы стали евреями даром, Сеня вышел из себя, сломал об хасидов менору и перебрался в Канаду. Там он поставил с украинцами Виннипега сатирический гопак «Запорожцы пишут письмо Андропову». Партию запорожцев исполняли терпеливые славистки, которых Сеня не без отвращения хватал за ляжки.

Мы следили за карьерой Жукова из Бруклина, где я, наученный его примером, посвятил Богу свою русскую жену. За семь долларов в час она переводила эмигрантскую брошюру «Шавуот для новых американцев».

Между тем вокруг сгушались тучи. Мы узнали об этом в синагоге, где выступал раввин-боевик Меер Кахане. Гордо неся бремя экстремиста, он охотно делился им с бруклинскими земляками.

— Ребе, — волновались они, — что нам делать с неграми? Они — всюду.

— Пусть у каждого, — гремел Кахане, — лежит под кроватью автомат. Не ружье, не пистолет — автомат!

— А, — с облегчением вздыхала полная Рая из Кишинева, — тогда, конечно, другое дело.

Но Рая, видимо, не завела автомат, потому что, когда пять лет спустя я проезжал мимо нашего прежнего дома, на месте четырнадцати синагог стояло четырнадцать церквей враждующих деноминаций.

Негры крестили Бруклин с упорством крестоносцев, но и они не убедили Гарика. «Бога нет», — повторял он, а мне этого было мало.

Отчасти потому, что я его видел — на картинках Жака Эффеля, где Бог в одной рубашке пересказывал Адаму наш учебник «Природоведение». К тому времени я уже перестал его бояться, как раньше, когда мы с бабушкой не отличали Бога от смерти. Чтобы спрятаться от нее, я хотел переселить бабушку в наш книжный шкаф с тугими стеклянными дверцами.

Многие мои знакомые так и делают. Они надеются найти Бога в книгах. Евреи, скажем, вычитали себе целую страну. Я был в Израиле. Я видел, что весь он соткан из мечты и преданий. Как Диснейленд. Библия служит Израилю строительным проектом. Здесь высаживают только то, что упомянуто в Торе. Ведя происхождение из одной книги, евреи считают себя братьями. Это не мешает им разделиться на сорок колен, когда дело доходит до брака. Отдавая дочку замуж, каждая мать помнит, что зять из Западной Европы лучше, чем из Восточной, что одесситы хуже москвичей, что американские евреи — идиоты, румынские — жулики, польские — воры. Сефарды в расчет не входят.

Стена Плача — единственное место, где евреи опять равны, кроме женщин, конечно. Уже этим оно напоминает баню. Окунувшись в теплые волны благодати, тут отпускают душу на волю. Молодежь неистовствует, как на рок-концерте. Старики посапывают. Одни выпивают, другие закусывают, третьи читают газету, и все ждут чуда, неизбежного, как закат.

Вечерний ветерок, пропитанный духом, словно баба ромом, незаметно обволакивает тело, расслабляет члены и облегчает сердце. Гаснет зависть, гложут страсти, меркнут желания. Все, как в парной, становится не важным. Молиться больше не о чем. Присутствие истины неоспоримо, когда

ее не ощущаешь, будто теплую, как кровь, воду. Блаженная пауза ждет за воротами, но обычно мы сталкиваемся лбами, когда пытаемся из них выйти. В одиночку легче плакать, чем смеяться.

Правда, друг моей юности Изя Шульман умел обходиться без компании. Он, например, всегда хихикал, листая «Капитал». Защищая марксизм, он настаивал на его более тесной связи с Гегелем, чем утверждали власти.

Подобно многим книжникам, Шульман был неопределенного роста и сомнительного сложения. Внешность ему, как кубинским барбудос, заменяла борода. Любимыми словами Шульмана были «возьмем» и «пусть». Первое тянуло за собой второе. То, что бралось ниоткуда, приходилось сесть в никуда. Взятое напрокат нуждалось в допущениях, как фальшивый вексель в поддельной подписи. Шульмановские «возьмем» и «пусть» влюбленно кружились в умозрительном вальсе, ни на что, как и Изя, не обращая внимания. Из газеты Шульмана выгнали за то, что он перепутал снимки, выдав делегацию варшавских коммунистов за липайскую ткачиху Майю Капусту.

Лишившись трибуны, Шульман нашел себя в утильсырье. В лавке старьевщика он наконец приобрел власть над бумагой.

— Макулатура, — горделиво объяснял он мне, — загробная форма существования книги. Когда ее дух, обреченный, как все мы, крутится в колесе сансары, теряется по дороге к свалке, книжное тело возвращается в дремучий лес ненужных знаний.

В нашей затейливой, как я теперь вижу, жизни макулатура занимала непомерное место. Бумажный голод жег страну, помешанную на контроле, учете и изящной словесности. Мне тоже довелось участвовать в севообороте знаний, принося с каждого сбора больше, чем уносил. Это пагубно отражалось на моей репутации. Чтобы прибавить ей веса, я подложил в пачку газет домашний уют, но был пойман и наказан — дважды. Это не помогло. Я не мог устоять перед старыми календарями, скабресными выкройками, амбарными книгами и записной книжкой юного снайпера, которую я привез даже в Америку.

Полюбив книги, я до сих пор их нюхаю. В плотской страсти к духу есть нечто развратное, но евреи часто любят так книги. Попав к букинисту, Шульман ведет себя, как слепой в борделе, — щупает переплеты, не переставая смущенно улыбаться. В нем говорит генная память о гетто. Молясь о просторе, цадики имели в виду столько места, чтобы разложить книгу на столе, а не коситься в полураскрытые страницы. Вырваться из тесноты можно было, лишь воспарив. Поэтому и у Шагала все летает — люди, дома, коровы.

Аэродинамические свойства книги соблазняли меня с тех пор, как я познакомился со Стариком Хоттабычем. Мне тоже хотелось добиться естественного сверхъестественным путем. Скажем, стать невидимкой, чтобы попасть в женское отделение бани. Я еще не видел в чуде насилия над природой и жаждал его, не веря, что жизнь даст сама. «Не насилуй невесту», — писал Горький, зная своих читателей.

Тому же учил меня мой наставник Пахомов.

— Зачем Бог, если есть пиво? — спрашивал он.

Русский по душе, происхождению и профессии, Пахомов делал на работе то, чего евреи стеснялись, — резал родине правду в глаза. В свободное время Пахомов обижал евреев и завидовал им. Не найдя в себе иудейской крови, он выдавал себя за цыгана. Как и они, Пахомов ни в чем не знал меры. Он обладал тем избытком эрудиции, который Шопенгауэр называл грацией. Так боксер орудует штормом, а Бродский говорит о поэзии.

Зная все, Пахомов ничего не скрывал и никого не стеснялся. Начальники его избегали. Будучи от природы трусоват, он с ними всегда соглашался, но от простодушия мог и зарезать.

— Как я рад, — обращался к нему наш директор с той елейностью, с какой евреи говорят с православными, — что в Кремле вновь звонят колокола.

Забыв задуматься, Пахомов отвечал по-пушкински:

— Кишкой последнего попа последнего царя удавим.

Поклонники Пахомова обожали, особенно — сумасшедшие. Среди моих корреспондентов преобладали западники вроде петербургского доктора, задумавшего стерилизацию соотечественников. Пахомову писали патриоты. В том числе орегонский поэт Иван Русский. Его поэма начиналась с верхнего *до*: «О родина! Ты — сука».

Не прячась от славы, Пахомов предавал свою почту гласности.

«Барский голос столичного профессора», — читал я в одном письме, когда меня прервал проснувшийся адресат.

— Сашка, — важно сказал он, — я, кажется, того...

Из штанов и правда капало, но водка не умаляла пахомовского гения. Тем более, что чаще он пил пиво.

Всему лучшему в себе Пахомов был обязан книгам, в основном — запретным. Его отец начинал телеграфистом, а закончил мэром. Чтобы заполнить пробел между двумя профессиями, ему пришлось овладеть третьей — ненадолго стать конвоиром. Пахомов гордился тем, что отец взял на душу лишь один эшелон.

Принципиальная неопределенность этой русской меры вины напоминает о квантовой механике и удачно вписывается не только в нашу историю, но и географию.

— Где это — Соликамск? — как-то спросил я из праздного любопытства.

— Две ночи из Перми, — непереводимо ответили мне.

Пока отца не посадили, Пахомов жил в материальном достатке и интеллектуальной роскоши. Его возили в школу на машине, обитой настоящей, хоть и не человеческой кожей. Молодость Пахомов поделил между пивной и спецхраном. Не отличая одного от другого, он жадно впитывал знания, пока не стал философом. Превзойдя мудростью всю кафедру марксизма-ленинизма, Пахомов остался без работы и уехал в Израиль, точнее — в Нью-Йорк. С тех пор он себя презирал, а других ненавидел. Познав печаль любомудрия, он не говорил, как мой брат, что Бога нет, он спрашивал, зачем Он мне нужен.

— Ты хочешь жить вечно? — рычал на меня Пахомов. — Может, ты хочешь, чтобы и я жил вечно?

Не решаясь это утверждать, я, как Хоттабыч, рассказывал про другую, хоть и не потустороннюю жизнь. Но это еще больше бесило Пахомова.

— Не хватать, — стонал он, — может только денег.

Прочитав все книги и не найдя в них ничего путного, Пахомов жил, торопя годы. Смерть пугала его меньше расходов. Она мало что могла изменить. Стремясь всем владеть, ничего не тратя, он ждал старческого бессилия, чтобы покончить и с этой арифметикой. Когда его желание сбылось, Пахомов влюбился, и Бог стал ему необходим.

— Одной природе Бог не нужен, — говорил я себе, глядя на Пахомова. — И мне. Но только днем.

Ночной Бог не имеет отношения к дневному. Возможно, они даже незнакомы. Про ночного Бога ничего не известно, зато дневной хорошо изучен, но опять-таки не мной.

Однажды, решив познакомиться с Ним поближе, я отправился в церковь. У нас их две. Наверху — протестантская, вторая, победнее, — католическая. У католиков всем заправлял толстый, как в «Декамероне», священник. Он походил на тренера и не стеснялся в выражениях. Купаясь в любви паствы, он обещал разобраться с прихожанами на том свете.

У протестантов людей было поменьше. Пастор — стройная негритянка — горячо говорила о производительности труда. Оставалось еще право-

славие, но тут меня шуганули с порога. Над входом висела доска, перечисляющая все, что запрещалось делать в церкви. Даже на глаз в списке было больше десяти пунктов.

Не сумев найти Бога, я решил ставить опыты на животных и в тот же день завел сибирского котенка по имени Геродот. Когда-то у меня уже был кот. Хотя правильнее сказать, что это у него был я. На двоих нам было пять лет, но он рос быстрее. Как всех котов в Риге, его звали Минькой. Мы жили в квартире с таким длинным коридором, что я научился кататься на велосипеде. В его темных закоулках Минька сторожил меня и гнал до кухни, где я спасался на бабушкиных коленях.

Минька открыл мне зло, на Геродоте я хотел опробовать добро. Я решил на это, хотя коты вовсе не созданы по нашему образу и подобию. У них, например, совсем нет талии. Еще удивительнее, что они никогда не смеются, хотя умеют плакать от счастья, добравшись до сливочного масла. И все же ничто человеческое котам не чуждо. Как Пахомов, Геродот пользовался всем, ничем не владея, как Шульман. Раздобыв перо, Герка мог часами, как Пушкин, валяться с ним в обнимку. Я прощал ему праздность и никогда не наказывал. Только иногда показывал меховую шапку, а если не помогало, то зловеще цедил: «Потом будет суп с котом». Чаше, однако, я мирно учил его всему, что знал. Когда он, урча и толкаясь, бросался к кормушке, я цитировал хасидских цадииков: «Как реб Михал, ты не должен наклоняться над едой, чтобы не возбуждать в себе жадности, и не должен чесаться, чтобы не возбуждать в себе сладострастия».

Стараясь, чтобы Геродот жил как у Бога за пазухой, я еще в самом начале объяснил ему суть эксперимента:

— Звери не страдают. Они испытывают боль, но это физическое испытание, страдание же духовно. Оно и делает нас людьми. Значит, задача в том, чтобы избавиться от преимущества. Мудрых отличает то, чего они не делают. Лишив себя ограничений, мы сохнем, как медуза на пляже.

Услышав о съестном, Герка открыл глаза, но я не дал себя перебить:

— Запомни: мир без зла может создать только Бог или человек — для тех, кому он Его заменяет.

Дорога в рай для Геродота началась с кастрации — чтобы не повторять предыдущих ошибок. Спася кота от грехопадения, мы предоставили ему свободу. В доме для него не было запретов. Он бродил где вздумается, включая обеденный стол и страшную стиральную машину, манившую его, как нас Хичкок. Считая свой трехэтажный мир единственным, он видел в законном пейзаже иллюзию вроде тех, что показывают по телевизору. Но вскоре случайность ему открыла, что истинное назначение человека — быть коту тюремщиком. Однажды Герка подошел к дверям, чтобы поздороваться с почтальоном, и ненароком попал за порог. В одночасье его широкий и ласковый мир стал скудной «вещью в себе». Он думал, что за дверью — мираж, оказалось — воля.

Геродот знал, что с ней делать, не лучше нас, но самое ее существование было вызовом. Он бросился к соседскому крыльцу и стал кататься по доскам, метя захваченную территорию.

— Толстой, — увещевал я его, — говорил, что человеку нужно три аршина земли, а коту и того меньше.

Оглядывая открывшийся с крыльца мир, Герка и сам понимал, что ему ни за что не удастся обвалить его весь. Он напомнил мне одного товарища, который приехал погостить в деревню только для того, чтобы обнаружить во дворе двадцативедерную бочку яблочного вина. Трижды опустив в нее литровый черпак, он заплакал, поняв, что с бочкой ему не справиться.

Герка поступил так же — поджал хвост и стал задумываться. Тем более, что, боясь машин, мы не выпускали его на улицу. Это помогло ему обнаружить, что сила не на его стороне. Прежде он, как принц Гаутама в

отцовском дворце, видел лишь парадную сторону жизни. Мы всегда были послушны его воле. С тех пор как мы заменили ему мохнатых родителей, он видел в нас своих. Тем более, что мастью жена не слишком от него отличалась. Котенком он часто искал сосок у нее за ухом. Но теперь Герка стал присматриваться к нам с подозрением.

Я догадался об этом, когда он наложил кучу посреди кровати. Этим он хотел озадачить нас так же, как мы его. Это не помогло, и Герка занемог от недоумения. Эволюция не довела котов до драмы абсурда, и он не мог примириться с пропажей логики. Вселенная оказалась неизмеримо больше, чем он думал. Более того, мир вовсе не был предназначен для него. Кошачья роль в мироздании исчерпывалась любовью, изливавшейся на его рыжую голову.

Пытаясь найти себе дополнительное предназначенье, Геродот принес с балкона задушенного воробья. Но никто не знал, что с ним делать. Воробья похоронили не съевши.

От отчаяния Герка потерял аппетит и перестал мочиться. Исходив пути добра, он переступил порог зла, когда нам пришлось увезти его в больницу.

Медицина держится на честном слове: нам обещают, что, терпя одни мучения, мы избежим других. Ветеринару сложнее. Для кота он не лучше Снежневского: изолятор, уколы, принудительное питание.

Когда через три дня я приехал за Герой, он смотрел не узнавая. В больнице он выяснил, что добро бесцельно, а зло — необъяснимо.

Мне ему сказать было нечего. Я ведь сам избавил его от грехов, которыми можно было бы объяснить страдания. Теодицея не вытанцовывалась.

Я обеспечил ему обильное и беззаботное существование, оградил от дурных соблазнов и опасных помыслов, дал любовь и заботу. Я сделал его жизнь лучше своей, ничего не требуя взамен. Как же мы оказались по разные стороны решетки?

Этого не знали ни я, ни он, но у Герки не было выхода. Вернее, был — по-карамазовски вернуть билет, сделав адом неудавшийся рай. Он поступил умнее — лизнул руку и прыгнул в корзину. Ничего не простив, он все понял, как одна бессловесная тварь понимает другую.

В тот вечер, не усидев дома, я сел на велосипед и отправился к статуе Свободы. Вода и небо вокруг нее — как иллюстрация к Жюльо Верну. Парусники, дирижабли, вертолеты, даже подводная лодка, оставшаяся после парада. Статую видно лишь в профиль. Кажется, что она стоит на котурнах, но античного в ней не больше, чем в колоннаде банка. На берегу толпятся туристы. Они все время едят, как голуби.

Солнца уже нет, но дома еще горят, перебрасываясь зайчиками. Опускаясь, вечер закрывает на ночь этот край одичавших параллелепипедов. В темнеющем воздухе ажурные, как чулки, троссы Бруклинского моста висят над водой. Краснорожий буксир тянет к морю мусорную баржу. Навстречу ему шлепает по густой воде пароходным колесом расплывшаяся «Бубновая дама». Снижаются самолеты, птицы жмутся к воде, последнее облако запуталось в небоскребах. В сумерках дневное безбожие встречается с ночным суеверием, и тьма прячет довольного Бога, потирающего невидимые руки.

Я тороплюсь домой. Чтобы вернуться, мне надо вновь пересечь мост. Пыхтя и потая, я взбираюсь по крутому бедру, пока дорога не становится покатою, и велосипед сквозь забранное решеткой троссов небо катится на Запад. То и дело меня обгоняет молодежь, но я не трогаю педали. Тормозить поздно, торопиться глупо. Впереди уже темно, но сзади, на бруклинской стороне, запылала неоновая реклама журнала пятидесятников: «WATCH-TOWER».

— Сторожевая вышка, — автоматически перевел я сам себе.

ТАБЛЕТКА ОТ ТАНКОВ

Путешествиям в подсознание меня научил лама Намкхай Норбу, вернее, его бруклинский ученик психиатр Ник Леви. Американский тезка моего рижского товарища походил на Колю избытком оптимизма. Один не верил в тюрьму, другой — в смерть. Изучив тибетскую «Книгу мертвых», Леви делился загробным опытом. За вход он брал шестьдесят долларов, с пары — сотню. Скидкой, правда, никто не воспользовался.

Среди собравшихся преобладали писатели, рассчитывавшие на экранизацию своего подсознания. Доктор начал сеанс, решительно уложив нас на узорчатые подушки. Потом он велел закрыть глаза и спускаться по воображаемым ступенькам, пока не начнется вымышленный лес. По нему следовало дойти до миражной речки, перебраться на отсутствующую сторону, залезть в несуществующую пещеру, чтобы найти в ней призрачный дар судьбы. Брезгливо проделав требуемое, я с удивлением обнаружил в пещере большой кусок угля. Он оттягивал даже воображаемые руки.

— Антрацит, мудила, — добродушно подсказало подсознание, и я тут же вспомнил одноименный город в Донбасской области. По случаю выходного все его жители гуляли в воскресных костюмах — бумажных тапочках и пиджаках, сшитых из того черного сатина, что шел на трусы, называвшиеся «семейными». Выгодный наряд из магазина похоронных принадлежностей не предназначался к долгой носке, но город был небольшим, и ходить по нему, в общем-то, было некуда.

Пропустив мой мемуар сквозь жернова гештальт-психологии и сито ночной йоги, Леви сказал, что уголь символизирует талант, который может разгореться под его руководством. Но я решил сэкономить, обойдясь без посторонней помощи. Тем более, что к мистическим опытам меня уже приобщил белорусский буддист Юра Павлецкий, подаривший мне первый том «Древнеиндийской философии», поскольку сам он его знал наизусть.

Задумчивый крепыш с волосами цвета картофельного пюре, Юра был художником, но писал исключительно белилами и только коаны. В Гродно его никто не понимал, в Нью-Йорке — только я. Свою первую американскую зарплату я обменял на Юрин «Пейзаж № 5». Небольшая картина в светлой раме изображала тень сломанного цветка и сливалась со штукатуркой.

— Это не роскошь, — вкрадчиво говорил Юра, — это — инвестмент. Она отучает от желаний. А то, пока хочешь, всегда не хватает.

Нам и правда всегда не хватало, и я купил картину, но не обрадовал семью. Увидев, что на полотне нарисовано белым по белому, да и то немного, отец рассердился. В Америке он признал бабушкину правоту и картины покупал вместе с мебелью.

Выручки, однако, Юре хватило ненадолго, и вскоре он опять горевал в компании невзыскательного «Алеши». Как часто это бывает, водка поломала Юрину жизнь. Это случилось в воскресенье, когда нью-йоркские законы запрещают торговать спиртным до завершения проповеди. Устав дожидаться, мы отправились за пивом в либеральный Бостон. На крышу гариковской «импалы» Юра погрузил свой «Пейзаж № 5», который я забраковал из-за габаритов. Аккуратно загрунтованная картина скрывала истину. Юра надеялся, что на нее будет спрос в городе, который у эмигрантов считался интеллигентным.

Сняв в «Шератоне» люкс (Гарик забыл сказать, что собирается разделить его с четырьмя обормотами и одним шедевром), мы отправились осматривать город. Шульман предложил начать с базара, Пахомов решил им ограничиться, но я настоял на океанариуме. Торопливо перемещаясь вдоль его голубых стен, мы и не заметили, как потеряли Юру. Он прижался к стеклу, едва успев отойти от кассы.

Моря в Белоруссии нет, с продуктами не лучше. О рыбах Павлецкий судил по кильке. Коралловые рыбки, пестрые и несъедобные, как бабочки, поразили Юру избыточной палитрой. От тропического разноцветья страшные мыслы зародились в его белесой голове: у этой картины должен быть автор!

Мучаясь ревностью, Юра пришел к нам со своими сомнениями.

— Павлецкий, — обрадовался Шульман, — ты открыл монотеизм. И правильно сделал! Художник должен карабкаться на следующую ступеньку.

— Пока не выяснит, что лестница приставлена не к той стене, — добавил Пахомов.

Вернувшись из Бостона, Юра впал в буйство. Правда, из незлобивости он пил с Шульманом, а дрался с Пахомовым. Устав от развлечений, друзья посоветовали Юре вернуться в лоно церкви или купить аквариум. Павлецкий послушался и вскоре уехал с парой мечехвостов в джордонвильский монастырь писать иконы. Через год он вернулся в Гродно, где стал звездой политпросвета, сочно рассказывая о происках американских сионистов.

Оставшись без гуру, я пустился в дорогу. Для начала мне понравилось место с оттенком высшего значения, у лесного водопада: в падающей воде ничего не отражается, кроме света. Усевшись под камнем, разбивавшим струю зонтиком, я почти впал в задумчивость, но мне помешали шаги. Для судьбы они показались слишком громкими. Убравшись в кусты, я с раздражением смотрел на двух тяжело нагруженных мужчин, занявших мое место. Сдвинув очки на лысину, они принялись распаковывать сумки. Я думал, в них закуска, оказалось — тамтамы. Запрокинув голову к зениту, они принялись колотить по барабанам с такой силой, что не заметили, как я ушел.

Боясь затеряться в толпе анахоретов, я отправился искать менее живописный уголок и нашел его на берегу Гудзона, напротив нефтеперегонного завода. Сев под старую вишню, я удовлетворенно осмотрел уродливый пейзаж, удачно опрокинутый в реку. Отражаясь, все выглядит лучше, так как произведенное нами безобразие разбавляется водой и небом.

Прижавшись к шершавому стволу, я закрыл глаза и вымел из головы все, что осталось от прожитого дня. В образовавшейся пустоте заметался рассудок. Не зная, за что уцепиться, он путался в волосах и отскакивал от зубов. Я ждал, давая ему угомониться. Отделавшись от него, я перестал быть собою, не став, понятно, другим. От этого у моего «я» прибавилось самостоятельности, которую никак не выразит наш скромный набор местоимений. Как бы там ни было, отпустив себя на волю, я был вправе ждать сюрпризов, но на этот раз пещера оказалась пустой. В дальнем конце ее мерцал сумрак вечера. Сразу было видно, что здесь привыкли обходиться без электричества. Настроив зрение, я разглядел на другом берегу фанзу с красной вороной на крыше. Пахло, решил я наугад, горящим кизяком. Из-за Гудзона донесся гудок тепловоза, но здесь было по-первобытному тихо. Только ворона деликатно хлопала психоделическими крыльями. Чем дальше я пялился на ландшафт, тем труднее было бороться с раздвоением личности. К тому же сзади, с затылка, к нам пристроился третий, без лица, но с голосом. Он шептал что-то расхолаживающее, но мне было уже все равно. Медленно сползая, я перестал вмешиваться в окружающее. Оставшись без дела, я стал тихим и непрозрачным, как вода в луже. И только третий, без глаз, никак не мог успокоиться. Перед тем как занавес опустился, я наконец разобрал две хлебниковские строчки, которые он запихивал мне в темя:

Плеск небытия, за гранью веры,
Отбросил зеркалом меня.

Разбудили меня зайцы. Они выглядели непривычно логично — у больших зайцев уши были большими, у маленьких — маленькие. И те и другие

не обращали на меня внимания. Может быть, «Дед Мазай» был их настольной книгой. Стараясь не мешать зайцам завтракать, я стал распутывать приснившееся.

Как всему мудреному, психоанализу меня обучил Пахомов. За пиво он виртуозно разгадывал сны. В работе Пахомов напоминал мне учебник литературы для нерусских школ. Пахомов тоже не опускался до содержания и формы. Он пользовался Фрейдом, как его отец Марксом, — хватал на лету, смотрел в корень и делал выводы.

— Привиделась мне, — с трепетом начинала малознакомая дама, — радуга дивной красоты...

— Под себя будешь ходить, — тут же все понимал гениальный Пахомов.

С ним редко спорили. Жертвы — из уважения, свидетели — из злорадства. Только мне, как всегда, было мало. Не оспаривая ученого диагноза, я берег его упаковку. Меня интересовала тара сновидения. Следя за фиоритурами подсознания, я хотел узнать то, что оно говорит — не обо мне, а о себе, особенно стихами.

— «За гранью веры», — теребил я поэтическую материю, как бахрому на нашей бордовой скатерти, — должно означать, что вера очерчивает круг. За его пределами — море, «плеск небытия». Верить можно только в то, что есть, или хотя бы может быть. То, чего нет, не нуждается в вере. Ему ничего не нужно — его же нет. Но поскольку то, чего нет, заведомо больше того, что есть, небытие вмещает в себя все остальное. Отсутствие присутствия недоступно моему воображению, как квадратный трехчлен Чапаеву. Но это еще ничего не значит. Небытие — факт. Хоть неочевидный, но бесспорный. Тем более, когда в нем отражается поэт, утверждающий, что небытие — зеркало.

Хлебников эту цепь рассуждений назвал «Моими походами», Коля говорил: «Лекарство от танков: одна таблетка — и тебя нет». Я часто принимаю ее на рассвете, в то прозрачное мгновенье, когда, открыв глаза, но еще ничего не вспомнив, ты отражаешь в себе безымянную елку, смотрящую в окно.

— Хорошо там, где меня нет, — заключил я и собрался в путь.

Зараженный странностями мир входил в норму, кобенясь. Бредя по тропе с полоумными зайцами, я наткнулся на парочку. Нежно обнявшись, они закатали рукава и достали шприц.

Прибавив шагу, я догнал молодого человека в диковинной обуви, которую мне пришлось окрестить «гамашами». Дело в том, что я не только не знаю, как они выглядят, но никогда и не узнаю этого. Пахомов запретил мне приобретать ненужные знания. Так он звал все, чего не знал, в отличие от того, что забыл. Его нечеловеческий интеллект проявлялся в том, что Пахомова не интересовали частности. Он думал, что кукурузу открыли в Харькове, но знал, что Земля круглая. Об этом он сам мне сказал, когда я спросил, каким градусом помечен Северный полюс.

— Нулевым, — твердо ответил Пахомов.

— А экватор? — не отставал я.

— Тоже ноль, ибо Земля — шар, — отчеканил Пахомов.

Я не спорил. Из всего человечества Пахомов выносил одного меня, и то когда я не умничал.

Это выяснилось после того, как мне довелось объяснить Пахомову устройство дрободелательной машины. В сущности, я был не виноват. Я прочел у Марка Твена, как Гекльберри Финн рассказывает, что Хэнка Банкера похоронили между двух дверей вместо гроба, потому что он расшибся в лепешку, упав с дроболитной башни. Заинтересовавшись технологией изготовления дробы, я узнал, что расплавленный свинец стекает с большой высоты, которая превращает капли металла в круглые шарики благодаря силе всемирного тяготения. Я хотел заодно рассказать про всемирное тяготение, но не стал, заметив на губах Пахомова пену.

— Пионер! — хрипел он, потемнев лицом. — У тебя нет святого! Троица для тебя — Том, Чук и Гек. Ты недостойн пить вино моей беседы.

Мы помирились лишь после того, как я пообещал забыть все, что знаю. Избавляясь от искушения, я подарил свою Большую Советскую Энциклопедию отцу. Ему она помогла бороться с тоской по родине, без чьих преступлений он не мог прожить и дня. В Америке отец скучал по пристрастному взгляду власти.

— Я есть, — пересказывал отец епископа Беркли, — пока за мной следят.

Поэтому он так обрадовался, найдя уже во втором томе статью «Андропов».

Отъезд расколол отцовскую жизнь таким странным образом, что все лучшее и все худшее осталось в России. Ребенком он слал письма Сталину, комсомольцем писал Эренбургу, но, женившись, с трудом дождавшись, как Коля, восемнадцати, отец стал не писать, а читать — журнал «Америка».

После войны на него подписывали, но только дураков. Умные покупали журнал в киосках, читали между строк и держали на антресолях. Там я его и нашел в припадке макулатурного ража.

Из «Америки» я узнал про американцев не больше, чем из разговорника. Они много ели — первое, второе, мороженое — и часто ходили на работу, в кино и церковь. Следя за этой деятельной жизнью из номера в номер, я и не заметил, как мои герои состарились и стали задумываться о смерти. Это меня насторожило. В моем мире еще никто не умирал, даже голова профессора Доуэля. Я не мог себе представить мертвого иностранца, тем более что и живого я видел только однажды, причем голого — в душевой турбазы «Репино».

В остальном заморская жизнь отличалась от нашей лишь полиграфией. Глянec придавал всему парадную безжизненность. В кулинарных книгах так выглядят нарядные кушанья («Будто соплей вымазали», — говорил брезгливый эстет Пахомов). Поблескивая молодежавшей глянцевитостью труппа, «Америка» казалась страной мертвых. Реализма в журнале было не больше, чем в «Плейбое», соблазна — не меньше.

Короче, Америка не убедила меня в своем существовании, и эти сомнения не рассеялись даже после того, как я провел в ней большую часть своей сознательной жизни, не говоря уж о бессознательной. Америка и сейчас мне кажется богатой версией продленного дня — так назывался зазор между уроками и родителями, который бралась заполнять наша школа. Продлить, однако, можно только ожидание, и я живу в Америке, как в комфортабельном тамбуре. Что и неплохо. Искусство жить — это искусство жить в очереди. Хуже, что даже в приемной дантиста мы торопим время, будто не знаем, чем оно кончится. Вспоминая об этом, я стараюсь расслабиться и получить удовольствие на каждой транзитной остановке. Например — в аэропорту.

Аэропорт — дом свиданий, в основном — со временем. Ничем не занятая, вычеркнутая из биографии жизнь обращается в испытание чистого бытия. Здесь не курят, не спят, иногда едят, но чаще говорят — не друг с другом, а по телефону.

Мобильный телефон увеличил публичность жизни. Телефонное общение интимно не по содержанию, а по форме — односторонняя беседа похожа на молитву.

Игнорируя посторонних, телефон упраздняет их. В чужой, объединенной лишь расписанием толпе ты не существуешь, пока с тобой не говорят. Вот так для Геродота нет тех, кто не пахнет, — ни теней, ни отражений, ни мультфильмов. Как нейтронная бомба с предельно узкой избирательной способностью, телефон стирает тебя с лица земли. Примерка не твоего бессмертия.

Чтобы победить в борьбе с телефоном, нужно перейти на его сторону. Вот пассажиры и трезвонят, чтобы убедиться в собственном существовании.

Мне это не нужно — у меня есть карандаш, и я никуда не хожу без бумаги. Блокнот дает мне власть над минутой. «Когда пишешь, не страшно», — говорил мне Сорокин, заканчивая роман о людоедах. Но чаще писатели пользуются литературой, как телефоном: в качестве средства связи — между друзьями, читателями, странами и поколениями.

Я — дело другое. Я вырос в углу — в Америке. Я знал всех своих читателей в лицо, и оно мне не нравилось. Мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, и я делаю это лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету. И это значит, что можно начать все сначала, не обращая внимания на тех, кто будет читать эти строчки, тем более — на того, кто их пишет.

Я сочиняю только то, что не могу прочесть. Литература кажется мне не общественным транспортом, а личным, вроде велосипеда. Я пишу, о чем не знаю, — чтобы узнать. Теоретически — невозможно, практически — неосуществимо, по-житейски — глупо, материально — вредно. Выходит, что я зря перевожу чернила и стираю грифель.

Впав в гносеологический ступор, я дрожащими руками достал из кармана телефон и набрал скорую помощь.

— Пахомов, — взвыл я, — зачем мы пишем, Пахомов?

— А что ты еще умеешь? — бухнул Пахомов и бросил трубку.

ВЕСТИ С МАРСА

Отец мой всегда стремился к свободе, но часто путал ее с вольностью, причем нравов.

Он легко нравился женщинам, потому что был летчиком, вернее, ходил в том же мундире. Не рвавшись к небу, он рассказывал о нем курсантам, ценившим отца за либерализм и бороду.

Все, что относилось к оппозиции, связывалось воедино в его длинной голове, из-за которой отец казался выше всех родственников, что, впрочем, было не сложно. В его жилах смешалась кровь бедных портных Гурок и богатых купцов Генисов, которых на Подоле знали с плохой стороны. Они слыли хулиганами. Мой прадед за завтраком выбил вилкой жене глаз. Ссора забылась, а традиция нет. Однажды, еще в Рязани, отец заснул за рулем, произошла авария, и мама потеряла глаз.

От Генисов нам не осталось ничего, кроме странной фамилии. Ее первую букву остряки всегда переправляли на «П». Так я заинтересовался латынью и пошел ее изучать на русское — за неимением классического — отделение филологического факультета Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Сейчас, говорят, из всего названия уцелело меньше половины. Даже здание расколосось, как дом Эшеров, — трещина прошла от крыши до столовой. Но латынь, в отличие от Стучки, на прежнем месте. В мое время она начиналась уже в уборной. Войдя туда впервые, я прочел на стене: «Fortuna non penis, in manu non tenis». Посчитав знакомое слово добрым предзнаменованием, я вышел из сортира с поднятой головой.

Поскольку латынь я открыл вместе с половой зрелостью, то Цицерон мне, как Онегину, нравился меньше Апулея, не говоря уже о Петронии. Вылавливая у классиков пикантности, я купил большой латинский словарь, потому что в малом не нашлось перевода слову «mentula», которое значит то же самое, что и моя фамилия, когда ее пишут образованные хулиганы.

Античную похабщину отличало от обыкновенной безразличие к греху. Это совсем не то же, что чреватая раскаянием бесшабашность грешника.

Обычно дар безгрешности проявляется в тюрьме и окопах. Похоже, только там можно научиться встречать день так, как это делал Швейк в полицейском участке. «А здесь недурно, — сказал он, потягиваясь, — нары из струганого дерева».

Признавая право пороков на существование, античные авторы исходили из того, что пороки есть, и с этим ничего не сделаешь. Неизбежный, как дождь, грех не рассчитывал на искупление, ибо даже боги не могли изменить прошлого, а будущего у древних не было. Вернее, было, но они старались о нем не думать, потому что твердо — в отличие от нас, агностиков, — знали, чем все кончается. Их будущее уже состоялось. Оно ждало их, подобно узору, выписанному вечными звездами в черном небе. Понимая, что нельзя исправить свершившееся, они искали к нему удобную дорогу, видя предзнаменование во всем, что встречалось по пути. Не следовать им означало мешать будущему. Поскольку это никому не под силу, оно все равно свершится, но уже самым неудобным образом.

Суеверия — простая вежливость по отношению к судьбе. Я, конечно, не верю в приметы, но и мне не остается ничего другого, как следовать им, потому что наши боги не говорят по-русски, хотя и понимают.

В Берлине я подружился с одним историком. Как всех немцев, его звали Шиллер. Автор мириад книг, он знал о России несравненно больше моего, и поразить его мне удалось лишь напоследок, когда мы уже выходили с чемоданами из украшенного иконами дома. Прежде чем переступить порог, я машинально сказал:

— Присядем!

— Вам нехорошо? — с тревогой спросил Шиллер.

— Нет, с чего вы взяли?

— А зачем же мы садились?

— На дорогу.

— Чтобы — что? Зачем садиться, если надо ехать?

— Но так принято.

— Я понимаю, что принято, — закричал хозяин. — Я немец, а не идиот, я не понимаю — почему?

— Я не знаю! Деды сидели, прадеды — вплоть до Рюрика, — наврал я для убедительности.

Услышав знакомое, Шиллер затих, но до вокзала шевелил губами.

Я верю в приметы не больше, чем в алфавит. Но и не меньше. Все авторы в душе каббалисты, тасующие знаки в надежде набрести на скрытую истину.

Как анекдоты, приметы созданы человеком, но неизвестно — каким, и не ясно — почему. Анонимность сближает их с религией, таинственность — с поэзией, практичность — с жизнью. Понуждая нас к нелепым поступкам, суеверие, как любовь, рождает собственную логику, притворяющуюся оборонной. Однако приметы не спасают от будущего, а лишь указывают пути к нему. Укрыться от будущего можно лишь в настоящем. Для этого надо по секундам отшелушить от текущего малейшую примесь грядущего. Упраздняя время, человек становится неуязвим и называется буддой, но они встречаются редко. Я знаю только одного, из Нью-Джерси.

По-латыни жить мгновением называется «*carpe diem*». Я выучил это из Горация специально для несговорчивых однокурсниц. Увы, даже им этот язык казался мертвым. От их равнодушия я лечился по Лукрецию — «доверяя любовные раны доступной Венере». Ими у нас считали фабричных девиц. Коренастые и упорные, они всегда мерзли, потому что одевались согласно намерениям, не зависевшим от сезона. Их мечтой был брак с сержантом. Как белобилетчик, я не представлял интереса, и нам с трудом удавалось скрыть обоюдную ненависть, которая ничуть не мешала искренности моих порывов.

Я не видел в этом противоречия, считая, что девицы владели тем, что, как воздух, принадлежало им лишь отчасти. Бесплатный и невидимый, Эрос помещался не внутри, не снаружи, а между нами — словно надутый шар, твердевший по мере сближения.

Безличность этой, как, впрочем, и любой другой, физики казалась оскорбительной, но не настолько, чтобы ею пренебрегать. Каждый, кто углубляется в предмет своей страсти, теряет представление о времени. Попав в клещи, время маятником марширует на месте, вырабатывая запас настоящего — изрядный, но недостаточный. Наполеон будто бы обещал империю тому, кто сумеет ее утроить. Я не знаю наверняка, потому что слышал об этом от Шульмана.

Изя никогда не врал, но всему верил. Даже в верблюда, получившего звание Героя Советского Союза за переноску грузов во фронтовой полосе. Про верблюда ему рассказал Пахомов вместе с историей старого зека, так привыкшего в лагерях к человечине, что ему ее присылали на Брайтон-Бич в консервах из Мордовии.

Шульман верил всему, что слышал или — тем более — читал. Не доверял он только своим глазам. Сырая реальность увиденного казалась ему недоступной, как звездное небо. В ней не было сюжета, а нерассказанного для Изи не существовало, и путешествовал он зажмурившись, как выяснилось на Гавайских островах, где я видел извержение вулкана. Не полагаясь на политику, он каждый день увеличивал территорию США на три квадратные мили.

Дома я огорчил Шульмана, делясь впечатлениями.

— Да, — сказал он горько, — это ж надо — такое увидеть.

— Изя, ты ж рядом стоял!

— Ну?! — изумился Шульман — и тут же обо всем забыл.

Зато ничего не забыл Пахомов. С тех пор он обзывал меня туристом. Сам он знал все, но любил немногое. В кино ему нравились пухлые ляжки, в ресторане — тоже, но куриные, хотя критики и называли Пахомова людоедом. Выходя из дома лишь по нужде, он презирал передвижения тела и странствовал умозрительно — чтобы питать сварливую душу. Греков Пахомов уважал за то, что они открыли гомосексуализм. Римлян терпел из-за Бродского. Китайцев боялся, японцев ненавидел. Стоит ли говорить, что пахомовский сын женился на милой японке, и скоро у них пошли белокурые и узкоглазые дети. Пахомов безропотно гулял с внуками, научившись прятать в коляске пиво.

Я старался, но ничего не мог с собой поделаться. Мне нравилось все, начиная с государства Урарту, которым открывался наш школьный учебник с фантастическим названием «История СССР с древнейших времен». Экзотика грела надеждой диалога. Мне было все равно, с кем говорить, я жаждал чуда и ждал его отовсюду — от букваря до географии, которую мне уже в первом классе открыли марки. У нас их собирали все, кроме меня. Экономя, отец уговорил меня отдаться коллекционированию спичечных этикеток. Они продавались сотнями, но раздражали линючими красками и небогатым содержанием.

Филателистский рынок жался к темным подворотням и проходным дворам. В нем все отдавало беззаконием — сомнительность товара, недобросовестность продавцов, а главное — тариф обмена, приравнивавший три Польши к одному Камеруну. Колонии, понятно, ценились больше, хотя их марки часто изображали каторжный инвентарь. Уганда, помнится, выбрала тачку.

В этих вольных краях мои жалкие этикетки не возбуждали страсти, и меняться ими было решительно не с кем. Попав впросак, я вышел из положения, обратившись к знаниям, которые сделали меня консультантом марочных баронов. Над моей кроватью висела политическая карта, и, засыпая, я зубрил мелкие государства Океании. Зато рыночные законы я от-

крыл сам. Успех коллекционеров определялся богатством и уравновешивался силой — лучшие марки доставались предприимчивым и отбирались второгодниками. Я был нужен и тем и другим, ибо знал все страны мира. Без исключения. Я до сих пор помню, каким был главный город французской Гвианы, но теперь меня уже некому проверить.

Достигнув вершины, я не ценил счастья и плакал от невозможности увидеть мадагаскарскую столицу Тананариве, хотя Гарик назло мне вычитал в энциклопедии, что она в двенадцать раз меньше Рязани. Я никогда ему не верил и обставлял дальние края согласно собственным соображениям. Завоевав твердое положение в темных коридорах власти, я злоупотреблял им, создавая собственную шкалу ценностей. Она опиралась на сугубо непроверенные слухи об экзотичности той или иной местности. Превосходя меня невежеством, клиенты не смели жаловаться, тем более что сам я марок не собирал и врал бескорыстно.

Как это часто бывает, все погубила свобода. Вдруг рухнули цепи колониализма, и карта мира стала меняться быстрее, чем выходят газеты. Не поспевая за переменами, я сдался, хотя меня и отговаривал Гриша Махлис. Он любил мои домыслы и, пробегая стометровку за двенадцать секунд, наживался на них безнаказанно.

Отец Махлиса был высотником. Где он работал, я не знаю, потому что единственный в Риге небоскреб принялись строить до меня, а закончили после, но до того, как было принято решение его взорвать, чтобы украсить город к юбилею. Так или иначе, старший Махлис был передовиком, а младший — двоечником. Но вскоре судьба перевернула доску, и отца посадили, а сын стал учиться на «хорошо» и «отлично». Грише помогли те же качества, что погубили его папу, — быстрота и находчивость. Разбогатев на марках, Махлис собрал в нашем классе интеллектуальный кулак, выполнявший за него домашние задания.

Меня Гриша подкупил стержнем от шариковой ручки, которым я написал за него сочинение «Делать жизнь с кого». Гриша хотел — про отца, но тот еще сидел, и я предложил профессора Доуэля. Чтобы не спорить, сошлись на Матросове.

Гриша тоже любил риск. В десятом классе он отправился в Сибирь с вагоном подпольных маек. На груди у них было написано «Harward», на спине — «Fuck you» с ошибками. В Сибири особо не присматривались, и Гриша вернулся с такой прибылью, что на выпускную фотографию снялся в черных очках. Кончив школу, приобретя диплом и подкупив ОВИР, Махлис уехал в Америку, где так свирепо разбогател, что потерял нужду в работе. Оставшись без дела, Гриша вновь взялся за марки, из-за чего вся его бурная жизнь попала в скобки, содержимое которых можно выкинуть из предложения без особого вреда для его смысла. Экзотика, впрочем, на Грише отыгралась — он женился на китайке и научился есть палочками фаршированную рыбу.

Китайцы мне тоже нравились. Они мне казались марсианами, что и неудивительно. Пахомов считал марсианами евреев, Шульман — негров, отец — коммунистов. Каждый населял землю пришельцами, зовя своими лишь тех, кого знал, понимал и ненавидел. Остальные были другими — непредсказуемыми.

Любуясь спящим Геродотом, я часто думаю, что настоящего кота от плюшевого отличает лишь способность к произволу. Мы любим его за свободу воли, включая и злую. Гарантированная добродетель безжизненна. Впрочем, вряд ли бы мы стали держать Геродота, если бы он принялся рассыпать. Людей и без того много. Лишь соблюдая в инакости меру (рассыпая крупу, но не играя в карты), кот обрабатывает свое место у камина.

Китайцы блюли иную меру и были другими радикально. Часто навдываясь к фанзе, я никогда не заставал хозяина дома. Постепенно я при-

вык считать ее своей. Мне так хотелось быть китайцем — не пить молока, не есть горячего и всегда отличать восток от запада. Если бы я был китайцем, я бы спал в горах, писал на скалах, смотрел, как растут сосны. Не страшась перемен, я бы следил, как вещи жмутся к своему корню. Зная концы и начала, я бы любовался превращениями. Собирая листву, я бы учился мнимости ее беспорядка. Говоря с друзьями, сидел бы поодаль. Я бы жил в окружении богов, которые верят в меня больше, чем я в них. Я бы думал редко и не делал ничего такого, чего делать не стоило. И того, что стоило, не делал бы тоже.

Беда в том, что я не знаю, как живут китайцы, хотя догадываюсь — зачем. Единственными китайцами в моей жизни были японцы, но я им об этом не рассказывал. Меня и так прозвали в Токио «любопытным варваром» за то, что я не боялся ездить в метро.

Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-сан, который просил называть его Сёма. Широко понимая славистику, он говорил на всех языках — польском, армянском, английском. С японским было сложнее. Это выяснилось, когда он пригласил меня в свой любимый ресторан «Волга», где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык.

— Вы не знаете, — льстиво завязывал я беседу, — как пройти на Фудзияму?

— Понятия не имею.

— А сумо? Вы любите сумо, как я?

— Ненавижу.

— Может быть, театр? Что вам дороже — Но или Кабуки??

— Ансамбль Моисеева.

— Тогда — природа: сакура, бонзай, икебана?

Сагияки-сан выпил сакэ, закусил гречкой и ласково спросил:

— Часто водите хоровод? Давно перечитывали «Задонщину»? Играете в городки? Сын ваш — Еруслан? Жена — Прасковья? Сами вы — пскопской?

— Рязанский, — сказал я приосанясь, но больше добавить было нечего, и мы перешли на водку.

Домой мы вернулись друзьями. Распевая русскую народную песню «А я Сибири не боюсь», Сагияки с трудом вписывался в изгибы дорожки, огибавшей университетский пруд причудливых очертаний.

— Раньше здесь была усадьба самурая, — объяснил вожатый, — жестокий самодур велел придать водоему очертания иероглифа «кокоро», что означает «сердце».

Я вернулся к пруду на рассвете. Из зеленой воды выглядывали лобастые золотые рыбки. Возле лотосов плавали презервативы. Мне всегда казалось, что экзотика может что-то прибавить, но тут скорее следовало кое-что убрать. И это наводило на мысли.

Полнота мира избыточна. Она заведомо больше того, что мы способны понять. Я бы даже сказал, что по-настоящему мы можем познакомиться лишь со съедобной частью мира. И это значит, что нам не дано вступить в плотский контакт с большей частью Вселенной. Однако чем один предел лучше другого? Разве тайны ночью темнее, чем днем? Скорее — наоборот. Во сне мы путешествуем дальше, молчание вмещает больше слов, и нам часто нравится жить на ощупь. Я не завидую слепоглухорожденным, но догадываюсь, что их мир экзотичнее Голливуда. Пахомов, отказывавший себе во всем, кроме пива, утверждал, что только ограничения создают человека.

Тем более — женщину. Излишества их анатомии меня будоражили куда меньше того, чего им не хватало. Тайна зияния смущала, как ноль: он был всегда, но не все об этом знали. К нему вели все пути, и все с него начинались. При этом сам он не представлял собой ровно ничего, заслуживающего внимания. Зато пышно, как сорняки, цвело то, что его окру-

жало. Искусная эскалация сулила небывалое, но вела никуда, ибо конечная цель была, в сущности, началом — именно потому там ничего и не было. Твердо зная, чего лишены, и нетвердо — чем обладают, женщины служат рамой пустоте. Приняв облик, мало отличающийся от нашего, они недоступны разуму. Мы наслаждаемся, отдавая. Про них не известно ничего, кроме того, что они другие.

Беседуя с женщинами, я не верил ни одному слову, зная, что затаившаяся в них природа говорит молча и не о том. Прислушавшись, я полюбил женщин целиком, не переставая надеяться, что они с Марса.

Рассчитывая в этом убедиться, я женился.

Нью-Йорк.
1999 — 2001.



СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ



А ПЕСНЕ СНОСУ НЕТ

Бутырки

Тучи стелются сизоб.
Нет душе покоя.
Словно узнику СИЗО
Выпало такое.

И с утра и до темна,
Как на серой фотке,
Только голая стена
И окно в решетке.

Скручен я до волоска.
Черная картина.
Давит душная тоска,
Будто слой ватина.

Раскроить бы дверь пинком,
Но охота рядом.
Все под Богом. Под замком.
Под казенным взглядом.

И во сне, и наяву
Где-то на затырках
Я давно уже живу
В собственных Бутырках.

Страх

Когда же я смогу без страха
Пройти по улице ночной,
Чтоб тень, восставшая из праха,
Не встала вдруг передо мной.

Чтоб обошла меня во мраке
И где-то скрылась вдалеке,
В нехитром френче цвета хаки
И с трубкой в согнутой руке...

Островой Сергей Григорьевич родился в 1911 году в Новосибирске. Первый лирический сборник поэта вышел в 1937 году в библиотечке «Огонька». Фронтовик, орденносец, лауреат Государственной премии. Автор нескольких десятков поэтических книг. Живет в Москве.

Публикация приурочена к 90-летию со дня рождения поэта.

Северá

Конструкция ледовая,
Мохнатые дома,
Зима у нас суровая,
Мятежная зима.

Тут снег со спиртом смешанный,
Глотнешь — и допьяна.
Гуляет ветер бешеный,
И смерть — ему жена.

Ой, лихо, лихо, лишенько,
Снега вовсю метут.
Отец мой старый Гришенька
Расстрелян где-то тут.

Здесь зона шла особая,
И зрят из темноты
Лишь горка белолобая
Да чахлые кусты.

И пусть здесь версты дикие,
Метельная игра,
Но трижды есть великие
Все эти севера.

И в пику быстротечности,
И в пику маете
Назначу встречу с вечностью
На вечной мерзлоте.

Фарт

Ах, песенка фартовая,
Утеха и дурман,
Поет шпана дворовая
Про Мурку и шалман.

Поет про зверя-стражника,
Про остров Сахалин,
Про беглого бродяжника
Из зековских былин.

Саднѣт печаль щемящая,
То ранит, то замрет.
И песня немудрящая,
А за сердце берет.

Романтика барачная,
Чувствительный сюжет —
И песня-то невзрачная,
А песне сносу нет.



ИЗ НАСЛЕДИЯ

ПРУТКОВИАДА

САФЬЯННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Интерес к творческому наследию Козьмы Пруткова никогда не ослабевал. Автор неизменно завоевывал себе почитателей в новых поколениях. Легко предположить, что внимание к личности и произведениям Козьмы Петровича усилится в преддверии двухсотлетнего юбилея великого барда (1803 — 2003). Вместе с тем известно, что даже самые полные собрания его творений недостаточно полны. Вот почему мы предприняли дополнительные разыскания в его собственном архиве. Они привели к некоторым любопытным находкам. Одной из них хотелось бы поделиться с читателями «Нового мира», среди которых наверняка найдутся любители размышлений и старины.

В последнем из знаменитых сафьянных портфелей автора за нумерами и с печатною золоченою надписью «Сборник неоконченного (d'après le №)», в особенном отделении обнаружались избранные мысли и афоризмы Козьмы Петровича, не печатавшиеся прежде. Видимо, требовательный к себе сочинитель счел эти плоды раздумий не вполне дозревшими. Похвальная строгость! Но по прошествии лет само время, кажется, довело их до надлежащей кондиции, подобно тому как зеленый персик поспевает с наступлением срока, к удовольствию садовника.

Современникам трудно постичь гения. Козьма Прутков до дна испил горькую чашу зоилова яда. Критика не раз отмечала «самоуверенность, самодовольство и умственную ограниченность» гениального мыслителя, его способность ломиться в открытые двери, что, по общему мнению, сочеталось, однако, с некоторыми проблесками ума и «прирожденным добродушием, делающим его невинным во всех его выходках», «забавным и симпатичным». Если эти черты присутствуют в предлагаемой находке, то подвергать сомнению ее достоверность было бы смешно, равно как и безоговорочно принимать ее на веру.

Алексей СМИРНОВ.

**ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ,
не включавшиеся в собрание сочинений Козьмы Пруткова
по разделу «„Плоды раздумья”, не включавшиеся в
собрание сочинений Козьмы Пруткова»**

1

Человек незлобивый и подаст с любовью; человек вздорный и примет с бранью.

2

Лучший способ сохранить свое инкогнито — прославиться на самых отдаленных поприщах. Тогда сочтут тебя за однофамильцев.

3

Слово *набухвость* столь же неуместно в галантном письме, сколь бычьи хвосты в модной лавке.

4

Химия уступает физике в математике, но превосходит оную в аромате.

5

Ищи сходства, а различия сами сыщутся.

6

Не будь врагом нового, будь другом старого.

7

Человек чувствительный питает любовь к Отечеству, тогда как для человека бесчувственного главное — насолить неприятелю.

8

В старости Вольтер сделался похож на бабу-ягу. Доязвился!

9

Афоризм дороже денег.

10

Начинающему афористу: подстригись и надень фрак в обтяжку.

11

Опережая атакующих, страх преследует отступающих.

12

Согласитесь, господа, что если бы земля была шаром, то спускаться к югу было бы куда легче, чем взбираться на север.

13

Сей номер благоразумней опустить.

14

Юноша! Обнимая необъятное, не вывихни плечевой сустав свой.

15

Идучи на званый обед издалече, можно так *нахлебаться киселя*, что уж и самый аппетит твой не нагуляется, а вовсе пропадет.

16

Загадка любителям изящной словесности: отчего *монах* может стать *ханом*, а *хан монахом* нет?

17

(Подсказка: в языке нашем могучем, как в зеркале, отразился могучий наш язык.)

18

Хочешь быть, хоти!

19

Кто берет, тому не дано.

20

Спя, спи; бдя, бди!

21

Хочешь настроиться, помысли о вечном.

22

И трезубец Нептуна давно бы проржавел, когда бы сталь его ни была такою нарочито нержавеющей.

23

Подобно языку нашему, женщины суть самая отразилась, как в зеркале, в самой сути женщины.

24

Если у тебя спрошено будет: кто приятнее, жена или девица? — ответствуй смело: жена. Ибо девица только волнуется, когда и без того достаточно тревог, а жена — утешает.

25

Поэтический гений подобен молнии: он поражает одиноко стоящих.

26

Сугроб, обвалившийся с крыши, сравню разве что с комом, упавшим как снег на голову.

27

Рифма *Герасим* — *квасим* хороша для военного афоризма и дурна для церковного.

28

Август мухами кусач.

29

Тихий океан чересчур бурный. Предлагаю сперва его засыпать, а потом вырыть канал от Японии к Америке.

30

Ученый имеет право на ошибку. Большой ученый имеет право на большую ошибку. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

31

Если не ручаешься за слог, бей на сафьянный переплет с золотыми пряжками!

32

Красавица! Обнимая необъятное, не вывихни сустав свой.

33

Рифма *еси* — на небеси плоха для военного афоризма и отменно хороша для церковного.

34

То, что на Руси капуста, в Индии — ананас. Трескай и не сетуй.

35

Дерзость послушания! — вот суть монашеского подвига.

36

Взять хотя бы комод. Он просто врос в пол! Невооруженным глазом вижу, что Вселенная неподвижна.

37

Одним нравятся петербуржанки, другим — москвички, и только гармонический поэт сойдет где-нибудь на станции Бологое...

38

Справедливо ли упрекать путешественника в том, что он столько времени тратит на дорогу, когда преодоление пути и есть предмет его странствия?

39

Меняй что-нибудь одно: либо картину, либо рамку, либо стену.

40

И роза розе розь.

41

Древней греческой старухе, надкусившей паука: сплюнь!

42

Повторяя зады, ученик узнает много нового.

43

По Священному Писанию Бог творил мир шесть дней, а на седьмой отдыхал. Еретик же говорит, что Господь создал все за одно воскресенье... Не верю! Тут соблазн кроется в преувеличении Господних сил, а ошибка — в неправильном расписании.

44

Бабка, играющая с юношей, совсем иное, нежели юноша, играющий в бабки.

45

Почем известно, что именно гуси спасли Рим, а не гусыни?

46

При виде обмочившегося пред Адмиралтейством младенца: большому кораблю большое плаванье!

47

Афоризм без мысли — что солдат без амуниции.

48

В каналах вода стоячая, в Неве — проточная, одуванчик желтит нос.

49

Ухнув в сугроб по пояс, не вини валенки, что голенища коротки.

50

Влепившись лбом в косяк, на порог не сетуй.

51

Ветошь к лицу лишь тому, кой прижимает оную к оному.

52

Не завидуй таланту: италийский мудрец однажды заметил, что гениальный художник в окружении своих полотен нередко просит милостыню у бездарного галерейщика.

53

Путник усталый! Какого покоя ждешь ты на Земле, когда она все время вертится?

54

Афоризм без номера то же, что нестроевой солдат.

55

Страдающий мигренью обыкновенно сетует на мигрень; подверженный простудам рассуждает о вреде сквозняков; а давно не мывшийся по-минутно возвращается мыслию своею к жарко натопленной бане.

56

Лучше будь целиком, чем отчасти.

57

Энциклопедист подобен двум флюсам vis-a-vis: полнота его всеобъемлюща.

58

Петербург всасывают с молоком охтенки, Москву — с монастырским квасом.

59

В семьдесят лет трудно стяжать славу начинающего ученого, но легко нискать лавры молодого поэта!

60

Чтоб загнать шар в лузу, сперва изловчись ткнуть кием по оному.

61

Не всякий Потемкин — Таврический; не всякий Суворов — Рымникский; не всякий Козьма — Прутков.

62

Красота взялась от ласточек; ласточки взяли от стрекоз; стрекозы — от комаров; комары — от сырости. Заключаю: без сырости не на что было б и любоваться.

63

Любовь есть постижение своей сущности чрез растворение в Предсущем.

64

Какой июль без мух?

65

Климат бразильский уподоблю климату сингапурскому, а оный сопоставлю с отменно экваториальной Африкой.

66

Иной Архип сипнет, а иной Осип хрипнет.

67

Сырость равно противна и в яйцах, и в колодезях, и в простынях.

68

Афоризм есть лаконическое выражение бесконечного.

69

Не держи в себе!

70

Случается, что философ одолевает вершину разума, но, споткнувшись о рытвину, летит кувырком в придорожную канаву.

71

В мире масса вещей ни на что не пригодных, и все они у нас есть.

72

Страсти равно кипят как в пробирке, так и в Пробирной Палатке.

73

При хорошей укывистости краски не бывает ни трещиноватости, ни пузырьчатости.

74

Малиновый мусс столь же приятен устам каптенармуса, сколь и устам генералиссимуса. Тут дело не в чинах, а во вкусе.

75

Излагай кратко, но сжато.

76

Кофий на болоте не растет, как ни поливай.

77

Гений подобен бублику: самая середина его бездонна.

78

Снегопад приятен праздному созерцателю и отменно утомителен для дворника.

79

Америка слишком велика. Отдельные куски ея вполне можно передать герцогству Люксембург.

80

Будь я Державин, а не Прутков, быть бы мне Гаврилой, а не Козьмой.

81

Загадка юношеству: отчего летом мухи черные, а зимой белые?

82

Старые шлепанцы всегда хлбыщут.

83

Главная ненавистница человека — его любовь к себе.

84

Зоила, язвящего спелый плод раздумий сладкопевца, как не уподобить осе, вязнущей в роскошном персике?

85

Хочешь быть, хоти! Не хочешь — как хочешь.

86

Красота плодотворна: самый вид петуха столь возбуждает пеструх, что некоторые несутся от одного вида оного.

87

Старуха, порхающая древней гречанкой, не тамошней бабочке подобна, но праху, взметнувшемуся из гробовой урны.

88

Хочешь расстроиться, подумай о бренном.

89

Когда душа уходит в пятки, встань вверх ногами и встряхнись!

90

Искусство требовать жертв.

91

Не знающему слово *комедиянничать* как объяснишь его словом *фиглярничать*?

92

Коротая досуг, укорачиваешь жизнь. Посему удлиняй досуг.

93

Нельзя побывать в пустоте, ибо самое пребывание твое в оной делает ее не порожнею.

94

Афоризм есть необъятное разнообразие лаконического.

95

Черепеховый суп ешь не спеша, уху — молча, гречневую кашу — скрупулезно. Природную сущность постигай в сущностях природы.

96

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто я.

97

Чтобы убедиться в том, что бананы — трава, достаточно попасть в Эквадор.

98

Плавать на зонтике столь же разумно, сколь и укрываться оным: главное — не замочиться.

99

Нисходящая линия: великодушие — снисхождение — потворство.

100

Кто поверит, что земля вертится, когда небосвод недвижим?

101

Тот, кто сорвал уже сотню зрелых плодов раздумий, с горделивым спокойствием может обойти сто первый.

102

Дети — цветы жизни; люди в годах — плоды ея; тогда как старики — соль земли.

103

Ежели бы Вселенная сжималась, то какой градоначальник допустил бы сие беззаконие?

104

Мысль философа рождается в извилинах, посему она и замысловата.

105

О порог задевши, не вини притолоку.

106

Человека, изменяющего общее мнение, смело уподоблю аномалии, подвигающей магнитную стрелку.

107

Достоин хвалы тот, кто предан душой химическому искусству, ибо он обостряет обоняние свое и на все иные ароматы жизни.

108

Не мелькай!

109

В начертательной геометрии главное — твердость линии.

110

Ну и что же, что шотландский стрелок ходит в клетчатой юбке? Означает ли сие, что и наш брат гусар должен скакать на парад в декольте с глубоким вырезом?

111

Восходящая линия: терпимость — благодушие — добросердечность.

112

Простая логика подсказывает, что поворот мысли связан с ее перегибом в извилине.

113

Поэта, дерзнувшего впервые предстать пред публикой, как не уподобить пииту в самом начале своего поприща?

114

Старца, гарцующего на деревянной лошадке, сравню разве что со старухой, прихлопнувшей совком своим песочный кулич. Ах, дети, дети...

115

Афоризм без чувства все равно что амуниция без солдата.

116

Эротический поэт обыкновенно несчастен в супружестве, целомудренный же познал все наслаждения оного.

117

Месяц, который светит, смело уподоблю солнцу, которое греет.

118

Слово *укрывистость* означает не скрытность характера, но тонкость сцепления.

119

Маскарады большею частию устраивают для дам, ибо приятная путаница столь же необходима дамам, сколь порядок мужчине.

120

Чтобы сделать болванчика из фарфора, китайцам пришлось крепко подумать.

121

Слово *Творец* пища через *а*, будешь более прав, ибо Он есть родоначальник всех *тварей*.

122

Обнимая необъятное, не потяни плеча.

123

Выражение *хлебать киселя* равно применимо как к персоне уже обедающей, так и к токмо еще торопящейся на обед издалече.

124

Чтобы пролететь мимо собственной конюшни, надо быть не поэтом, а Пегасом!

125

Каждый парижанин знает, что Сена впадает в Ла-Манш. А знают ли о том в Астрахани? То, что для одних трюизм, для других — географическое открытие.

126

В марте мух не бывает.

127

Идучи на риск, убедись сперва в своей безопасности.

128

Случается и так, что, пока отцы трудятся на природе, природа отдыхает на детях.

129

Афоризм суть самая удачная из всех неудачных попыток обнять необъятное.

130

Самые неприятели в живом мире — пингвины и белые медведи. Иначе зачем природа расселила бы их по полюсам Земли?

131

Петух, перелетевший чрез бельевую веревку, натянутую на цыпочки привставшей хорошенькой прачкою, в некотором роде гений. Суть понятия сего относительна.

132

Чтобы оставить свой след, не обязательно ходить по грязи.

133

За каждую дурную рифму я бы сощипывал по листку с лаврового венка поэта. Манкируешь? Ходи ощипанным.

134

Кто не берет, тому дано.

135

Признаваться в любви под дождем все равно, что разжигать мокрые спички.

136

Игрец на дуде бывает не менее любезен в своем Отечестве, нежели жнец серпом или швец иглою. Но трижды славен тот, в коем сошлись все сии благодати!

137

Щекотать самолюбие девицы полезней, нежели играть у ней на нервах.

138

Воображение начинающего стихотворца подобно ноге, болтающейся в старом валенке.

139

Некоторые слова я бы и посреди строки писал с прописной буквы. Например, *Укрывистость*.

140

Законы химии проще унюхать, нежели уразуметь.

141

Ежели бы Вселенная расширялась, то земной шар давно бы лопнул, как мыльный пузырь.

142

Ранее я имел удовольствие заметить, что благочестие, ханжество и суеверие — три разницы. Теперь дополняю: а вольнодумство, вольтерьянство, либерализм — один черт.

143

Цензор подобен парикмахеру: тот стрижет волосы твои, сей же бреет самые мысли.

144

Рифма *пороша* — *Параша* для военного уха туга, а для статского весьма благозвучна.

145

Простая вещь — яблоко, а попробуй сделай.

146

Если плоды раздумий зрели долго, они не испортятся никогда.

147

У иголки есть ушко, у тротуара — бровка, у жука — усики, у ключа — борода. Но все сии благодати сошлись разом разве что в гишпанце!

148

Спелая репа еще повкусней будет иного банана.

149

Натура суть такова, каковою ты ее мыслишь, а не каковою она является в действительности.

150

Не всякий носорог сойдет по косым сходням. Только африканский.

151

Спроси у солнца: «Кто не без пятна?»

152

Чтобы левое стало правым, достаточно повернуться к нему лицом.

153

Откуда узнаешь ты, что такое дождь, пока не вымокнешь?

154

Можно опешить, ежели тебя огорошат, и ощутить легкую оторопь от мелкой неожиданности. Наблюдая следствие и причину, сохраняй масштаб.

155

Попав на выставку, не изображай из себя знаменитости, пока не убедишься в том, что тебя там никто не знает.

156

На вопрос невежи: «Отчего вы всю жизнь копаетесь с одним червяком?» — некий ученый муж ответил: «Оттого, сударь, что жизнь короткая, а червяк длинный».

157

Не налюбуюсь на слово *укривистость*: сколько в нем совокупно рыка и посвиста, скрытности и дерзновенного порывания!

158

Петербург купили в магазине, а Москву нашли в капусте.

159

Одному Богу известно, как обнять необъятное.

160

Адмиралы в пруду не плавают.

161

Лису, разорившую курятник, смело уподоблю любительнице строить куры.

162

Хочешь ходить сидя, поступай в шахматисты.

163

Афоризм без номера все равно что дворник без бляхи.

164

По размышлении истина дороже Платона; но по человеколюбию Платон дороже истины.

165

Преувеличения не приводят к величию, оное складывается из мелочей.

166

Если б Ньютон упал с яблони, то, зашибившись, навряд ли б изобрел земное тяготение.

167

Астролябия и мундиролюбие суть два кита морской службы.

168

Стих без чувства уподоблю старому скареду; стих без мысли — молодому шелкоперу; и только гармонический поэт избегает крайностей, будучи чувствительно умудренным.

169

Дайте мне точку опоры, и я переверну рычаг.

170

Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством.



О П Ы Т Ы

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ

*

ЖИЗНЬ КАК РИМЕЙК

Римейк

Жизнь сама по себе являет нам гораздо меньше откровений, чем информация о жизни. И не только потому, что информация — это уже отбор наиболее заметных событий — чьим-то каким-никаким умом. Просто в своей реальной жизни обычных людей мы мало с чем сталкиваемся непосредственно. Одни и те же лица, стареющие с той же скоростью, что и мы сами. Одни и те же ужимки и повадки соседей по дому, даже по микрорайону. Одних и тех же хозяев с одними и теми же собаками приходится встречать во время прогулки со своей собакой в определенные часы. Одни и те же продавцы в непрерывно перестраивающемся и переходящем от одного владельца другому ближайшем продуктовом магазине. А уж теперь, после долгих лет советской взаимной ненависти, возникают даже какие-то типа вычитанных у какого-нибудь Сименона регулярные любезности местного значения. Езда в транспорте протекает как тяжелый недуг — в полубессознательном состоянии, а на работе — опять же ходят по коридорам, встречаются у лифта — одни и те же тени, с которыми здороваешься раньше, чем успеваешь их идентифицировать. Редко кто-нибудь скажет что-нибудь заметное, новое о чем-то вообще существенном. Обычно речь знакомых людей выполняет функцию латания их образа, который вы, не видя их какую-нибудь неделю, местами подзабыли, отвлеклись.

По всему по этому, конечно, телевизор и печатные издания, под встречу с которыми в доме традиционно отводится кабинет-сортир, дают вдруг толчок мысли, *впечатление!* И хотя уже давно, казалось бы, все прогрессивное человечество перешло на туалетную бумагу, тем не менее увлакивание прессы в сортир для кратковременного чтения — это инстинкт, передающийся от поколения к поколению, по всей видимости, неким гордоновско-лысенковским волновым способом вместо классических менделевских законов наследования генетических признаков. Видимо, эта кабина слишком долго была для советского человека единственным законным местом уединения, столь необходимого для обострения восприятия.

Только не подумайте, что речь пойдет действительно о чем-то безумно содержательном по определению. С другой стороны, это не значит, что какой-нибудь там серьезный Чаадаев или Фрейд не могут оказаться на несколько дней в моем сортире. Могут. Но я их унесу и либо продолжу читать, либо брошу. Но поставлю обратно на полку. Они могут отправиться туда вместе со мной, просто чтобы не разлучаться вразрез с логикой наших сиюминутных отношений. А не то что бы их место было там (впрочем, что касается приведенного в качестве примера Фрейда, то я бы не взялась категорически отвергать такое предположение именно относительно его). Дело ведь не в высокой концентрации смысла на единицу площади страницы. Сила внешних воздействий на мыслительную функцию не поддается планированию, это все-таки скорее

Шамборант Ольга Георгиевна — постоянный автор журнала «Новый мир». См. циклы ее эссе «Признаки жизни» (1994, № 2), «Занимательная диагностика» (2000, № 4) и «Срок годности» (2001, № 5).

удар молнии и одновременно обеспечение некоего зажигания. (Как говаривал Набоков — нежный толчок. И опять ассоциации с сортиром...) А для этого годится любая практически случайная искра. Вот лежит у меня там не первый месяц старый номер «7 дней». Уже даже кошка Рита небось не раз промокнула об него лапы, слезая со своего лотка. И вдруг сегодня читаю какую-то куцу, дурно написанную лабуду, раскрывающую содержание «астросюжетного», как говорят по телевизору, фильма «Сахара». Обращаю, кстати, внимание на это название, потому что в силу профессионального стереотипа мышления сначала про себя неправильно ставлю ударение в этом слове и удивляюсь столь откровенно химическому названию фильма. Потом и из-за этого читаю дальше и понимаю, в чем тут дело. Речь идет об американском римейке американского римейка старого советского фильма, где красноармейцы превратились в англичан, басмачи — в немцев, а Каракумы — в Сахару. А второй римейк отличается от первого годом выпуска и режиссером с актерами. В последнем — и год 1995-й, и героя играет уже совсем Белуши. Ну, нечего сказать, обогатилась, казалось бы, информацией. Нечего сказать... Ан нет! Я потрясена. Неужто слово найдено?! Я умываю руки совершенно счастливая. Ну, конечно — римейк!!! Во мне симфония удачи трубит финал — ЖИЗНЬ КАК РИМЕЙК! Ура! Я счастлива. Я почему-то нежно люблю эти, как мне кажется, *мои* открытия, что такие основополагающие, всеобъемлющие, структурообразующие, фундаментальные механизмы жизни, как гипноз, наркомания и вот теперь еще и римейк, почему-то обособляются общественным сознанием в некие частные явления, охватывающие лишь небольшой круг лиц — профессионалов и жертв. Ну там сеанс гипноза проводит какой-то шарлатан где-нибудь в Сочи для не знающих, куда себя деть, отдыхающих, и кто-то из них действительно забылся, затвердел и начал на сцене «рвать цветы». Или будто бы наркоманы — это такие плохие, бледные, исколотые отбросы общества, группа риска и прочее. А не то что и гипноз, и наркомания суть наиболее существенные механизмы организации и «самоорганизации человеческого общества»... Это я написала еще давно.

Жизнь как римейк! Ну какого смысла вам еще надо? Каких еще откровений и озарений вам не хватает? Ведь это и есть тот процесс, который, единственный, и происходит. И вот появляется слово, имеющее на первых порах очень ограниченное применение и очень частный смысл. То есть — вначале слово. Кто его придумывает для этих частных конкретных нужд? Так точно, так тупо, так удачно... И вот оно постепенно наполняется все большим смыслом, тяжелеет, и кому-то уже кажется, что все человечество погрязает и тонет в этом понятии-явлении. Мировой океан выходит из берегов. Голландия — первая, а уж потом и все остальные... Все как по рельсам.

Дивная, азартная игра! Только ни один игрок не успевает поиграть достаточно долго, чтобы сравняться по опыту с Профессионалом. Если ты и угадаешь один раз, под каким из наперстков, то только труднее будет оторваться.

А если уж совсем честно постараться признаться себе в истинном положении вещей и состоянии чувств, придется еще кое-что добавить. Вот никогда не знаешь, откуда ждать беды. То есть ее ждешь практически отовсюду и всегда, но чудо жизни снова и снова проявляется в ее неисчерпаемой способности заставить нас, даже самых искушенных и умудренных, врасплох. Ну, можно ли было ожидать такого сильного удара по эстетическим представлениям — в форме появления вопиюще неправильного слова, обозначающего столь необходимое вот как раз сейчас — понятие. Теперь изволь терпеть пытку таким вот ничего-не-поделаешь-написанием. Ведь когда я впервые читала глазами эти самые злополучные «7 дней», там-то было написано так, как мило и уму, и сердцу, и взгляду, и слуху, и духу, а именно — *ремейк*. То есть — нормально. Раз снова-заново, значит — *ре*. Правда, уже тогда я сразу почувствовала липкое сомнение в законности такого написания. Ре-то ре, а мейк-то — совсем уже из другой оперы. В детстве мне мама рассказывала дореволюционный анекдот-байку: откуда произошел английский язык? — А французы кри-

чали им разные слова через Ла-Манш, и вот то, что они там услышали, и есть — английский язык. Все замечательно. Но закопать их не удалось. И теперь — все. Извольте лицезреть такие вот буквосочетания, которые выглядят как новоделы, прикидывающиеся археологическими находками на обломках культуры. Тоже своего рода римейк. На этот раз — языка.

Кем быть?

Вот возьмите сказку о рыбаке и рыбке. И не в меньшей степени — о бабке. Какая драма разыгрывается на троих! Кому в результате, когда «сказочке конец», — хуже всех? Первой приходит в голову, конечно, бабка. Ну конечно, она же «осталась у разбитого корыта». Но минуточку, так ли уж тяжел удар по этой самой бабке? Совсем не так. Он даже не намного тяжелее, чем хроническая психотравма бедняка, читающего по бедности какую-нибудь бесплатную рекламную газету и невольно проникающегося слобными верованиями в целебные свойства всей рекламируемой продукции — от недвижимости в «экологически чистом» районе мегаполиса до средства от импотенции, переживая кратковременно видимость якобы возможностей, — ну точно как эта бабка. Даже немножко приходится беспокоиться каждую неделю, достаточно ли хороша стиральная машина «Занусси», наверно, все-таки «Аристон» потому и такая дорогая, что очень уж хорошая. Самоочищающиеся фильтры...

Ну вот, а что касается самой по себе бабки с ее душевными переживаниями — ну да — она пострадала от собственной жадности, неумной алчности. Но, ей-Богу, это не так больно, как кажется. В общем, проиграть из-за своего дурного со всех сторон поступка или свойства характера — неприятно, конечно, но не так больно, потому что у любого, даже плохого, но нормального человека есть очень большая и искренняя любовь к справедливости, и, несмотря на то что справедливо — это когда наказаны другие, все-таки на втором плане личного краха это торжество справедливости, хоть оно тебе и не на руку, — но, ей-Богу, укрепляет как-то дух.

А с деда что взять? Он при любом раскладе — малодушная шестерка, тряпка, не злой, но абсолютно несамостоятельный человек. Скажут: иди делай добро — пойдет и сделает, скажут: говнишь — он и это осилит не задумываясь. С ним тоже ничего нового и тяжелого не случилось. Он при любом режиме — орудие.

А вот какой головокружительный пирует я вам предлагаю: хуже-то всего в результате — рыбке. Ну посудите сами. Она попала в сети. Естественно, взмолилась. Но не просто взывала к милосердию, великодушию и прочим добродетелям, в наличии которых она явно деда и не подозревает. Она же, во-первых, априори постановила, что он корыстен, и ПООБЕЩАЛА ему фактически — открытый счет, как говаривали про жизнь партийной элиты при совке. Дед же хоть и тряпка, но сам-то по себе человек не жестокий. Самое потрясающее место, кульминация, — это то, что дед-то отпускает ее с миром БЕЗ ВСЯКОГО ВЫКУПА и без каких-либо предварительных условий. Другое дело, что потом он пошел-таки конечно же на поводу у бабки и т. д. и т. п. Но первым-то делом рыбка лажанулась, попалась и проявила цинизм, а также дала ответственное и серьезное обещание, а дед, напротив, проявил великодушие, милосердие и бескорыстие. Но беда в том, что все эти вещи — короткоживущие по своей природе. Это — кинокартина или там рассказ — может закончиться в любой удобный для этого момент. А в жизни — долго в великодушной позе не прстоишь, ноги затекут. На милосердии с бескорыстием тоже долго не продержишься, поэтому если проявил их одноразово — и на том спасибо.

Далее, всем известно, пошли банальные дела. Бабка, растущие запросы. Дед похерил свое бескорыстие, превратился бесповоротно в безвольного пособника. Дед, конечно, позицию сдает. Вернее, он и был-то не столько бескорыстен, сколько безынициативен. Ну, типичный такой застарелый, заскорузлый алкаш, которому все по барабану. Но все-таки по барабану-то по барабану, но желательно без жертв. Ну, и обошлось же все-таки без рыбо-челове-

ческих жертв, не следует об этом забывать. Пострадало главным образом воображение. Ну и бес с ним. Экзистенция деда не поколебалась.

А вот рыбка... Рыбка... Сделала ставку на циничное предположение, что дед корыстен, и потому пообещала ему Бог знает что, а потом при испытании временем — взбеленилась не хуже бабки. Рассердилась и наказала. Взмолилась о помощи, пообещала, взялась, имела, кстати, достаточное могущество (а между прочим, *poblesse oblige*), однако, обнаружив, что ее оседлали, разозлилась, похерила свое обещание и жестоко наказала. Сначала взмолилась, а потом — наказала. Каково? Вот где драма. А не в корыте, которое каким было, таким и осталось. Ну и дальше что? Каково ей там, в море-окияне, после всего? С сознанием своего, мягко выражаясь, несовершенства, своей претензии вершить Божий суд, играть людьми, обольщать, а потом попавшихся — наказывать. Я думаю, под золотом чешуи — там, в пучине морской, — ей очень скверно. Юркать в одиночестве со шлейфом из собственного дерьма (как, впрочем, любая хорошо всем знакомая аквариумная золотая рыбка) в глубинах моря-окияна — непонятно ради чего. Вероятно, ради свободы, которая, вероятно, и является главной героиней нашей сказки. Но эта тема еще необъятнее любого окияна.

Да, лучше быть отрицательным персонажем, чем так недотягивать до идеала.

Вот так-то — пытаться быть лучше, чем можешь.

Великий и могучий

Телереклама — это такой урок языка! Все по сорок раз в день слышат, как звучит сказанное слово. Ну вот, например: «Как добраться до самых труднодоступных мест? Можно раскрыть рот пошире. А можно доверить это дело щетке...»

Надо ли что-то еще сочинять? Все равно слова придуманы не нами. Они уже придуманы, непонятно как и когда. Образование языка так же точно невообразимо, как происхождение одного вида из другого. За всеми этими «скачками в развитии» маячит этакое неутомимое Дарование, которое безумно редко вдруг разродится колесом, компьютером, лазером, космическим кораблем. А все люди-статисты то ли игнорируют это нечто, как и следует, видимо, игнорировать самое главное, — иначе все кончится слишком быстро, то есть буквально сразу. То ли они действительно в состоянии верить, что язык, например, мог постепенно образовываться. Разговорились, так сказать. Как будто сначала люди видели всего очень мало, ну, все остальное просто не замечали. Ну и назвали эти четыре-пять предметов, которые все время попадались на глаза. Да к тому же еще в свободное время обязательно бегали — договаривались, улаживали, чтобы все им подобные согласились называть каждый вновь называемый предмет — одинаково, так, как придумал самый разговорчивый, или самый тупой, или самый какой-нибудь еще. Некоторые спорили (ну, не словами, конечно, а какими-нибудь тумаками), что эта штука совсем не похожа на это слово, что они не будут так ее называть, что им трудно это выговаривать, наконец, или просто противно — чужое слово, а предмет очень родной, изо дня в день маячит перед глазами. Кому-то было не до этого, просто недосуг вникать, запоминать (именно они либо вымерли, либо, наоборот, выжили). И все-таки все почему-то тогда, когда-то, стали играть в эту игру. Согласились. Причем образовались границы между теми, кто называет солнце, дерево, пипиську и мамонта — по-разному.

У кого может найтись терпение не только попытаться вообразить этот процесс образования языка, но даже вот прочесть написанное мною на эту тему буквально в двух словах? Мало у кого. Насколько проще, яснее — не вообразать невообразимое, а поверить, что «вначале было слово». Ведь все эти религиозные «сказки», в том числе о сотворении мира, просто гораздо менее бредовые, чем любые другие предположения на этот счет. И кстати — чем полное отсутствие представлений на этот счет — это-то ведь вообще уже даже

и не бред, а наркотические глюки — вместо понимания или хотя бы представления.

У каких-то там чокнутых ученых есть каких-нибудь два-три черепка в доказательство их версии. Такие одни и те же два-три черепка на весь земной шар, этокое переходящее красное знамя идиотизма как защитной реакции, затянувшейся на тысячелетия...

Не могу удержаться и не добавить, что вот те самые труднодоступные места называли позже, по мере их достижения и по аналогии с уже названными, легкодоступными местами. Да... Надо, видимо, только открыть пошире рот.

Многая лета

Вы что же, думаете, если я так все люблю раскладывать на элементы, увлекаюсь расчлененкой всякого мимолетного впечатления, так уж я и не человек? Куда там! Могу даже слезы лить, благо живу без людей, а звери — делкатные. Так вот, могу над соплевышибающей мелодрамой любого уровня художественности — поплакать. (Не говоря уже о жалости ко всем и всяческим людям и животным, существующим в реальности.) И вот один из подобных случаев: очень качественные и душещипательные «Менты» шли на фоне и заканчивались уже под титры — хитом неземного Погудина «Многая лета». Плохой вкус есть у всех.

Я помню, как я его услышала первый раз на самой заре перестройки — до нее, наверно, это было бы вообще невозможно. Тогда все-таки ничего драматичнее и подлиннее Робертино Лоретти не могло прозвучать в официальном эфире. Помню эти раннеперестроечные потрясения — на фоне тихого восторга, что у совка при нашей жизни истек срок годности, кроме всех бурных потоков политической свободы, — вдруг эти всплески удивления в связи с обнаружением то и дело этаких перлов. Появление Смольяниновой, наверно, в «Пятом колесе» и вот вдруг — что-то вроде мини-концерта Погудина. Как будто первый звонок раскрытия несоветских талантов прозвенел на самой что ни на есть чистой ноте — «динь-динь-динь...».

Помню, потом всех спрашивала, кто такой да куда делся, почему не каждый день заливаешь по всем каналам, почему из этого не делают события, не куют столь актуально необходимую как раз вот сейчас — национальную гордость. Ответа, конечно, нет, но привычка к рассасыванию и испарению из жизни любого мелькнувшего пера жар-птицы уже давно сформировалась, и тема сама собой закрылась.

Не знаю и не стремлюсь узнать, где он был все эти годы. Но вот недавно объявился — в двух остановках метро от моего дома, в клубе «Меридиан», он чуть ли не каждую неделю дает концерт. Но и этого мало. Оказывается, моя самая старинная близкая подруга с дочерью ходит на все его концерты — под деспотическим руководством своей еще более старинной подруги. А та — просто фанатка. Вы не думайте, я все это не просто так рассказываю.

Конечно, все таланты разные. Разного сорта, разного калибра и прочее. Памятны еще те времена, когда на Олимп, например, попадали как бы по мановению царственной руки великой старухи Ахматовой. Тогда все поэты, наверно, мечтали о чем-нибудь подобном. Теперь сезон охоты на старух закончился. Во-первых, закончились «те» старухи. Во-вторых, теперь для «раскручивания» нужны не старухи, а «бабки».

А тогда зависть вызывал не сам даже талант Бродского, а то, что он из свиты Ахматовой. У трона. Да она, нищая полубездомная старуха, одним мановением могла дать путевку в жизнь. Тому, кто гениален сам по себе. Нет, остальным она, может быть, тоже «давала». Ну так. Может быть, эти справки о гениальности и хранятся кое у кого. А толку-то? Но это — так, отступление.

Да будь сейчас на ногах даже целый взвод величественных и великих старух, они бы уж скорей какими-нибудь куртуазными маньеристами заинтересовались... А впрочем, нет. Для них и это — не то. В конце концов, как ни велик и могуч Козьма Прутков — он уже был, и он бессмертен пока. На его

поле дальше все равно никто не продвинется. Нет, старые царицы любили бы сначала Пригова, а потом Рубинштейна, а наиболее великие из них — Рубинштейна в первую очередь. Не следовало бы старухам забывать и о Кибирове... Но на всех, повторяю, великих старух не хватило. Даже молодой Битов вынужден был довольствоваться замечательной, по всей видимости, Лидией Яковлевной Гинзбург... Нет, я не склонна ни чуточки умалять никого, да и не знаю, в сущности, о ком говорю. (Да и Битову почти никто не был нужен, он сам очень быстро стал молодым дарованием и мэтром в одном флаконе, а теперь, дай ему Бог здоровья, сам — великий старец.) Но ведь никому не потребуется говорить: Анна Андреевна Ахматова... Одной фамилии или одного имени-отчества вполне достаточно. И тут даже не обязательно быть великой поэтессой, надо было быть великой Женщиной-Старухой. Теперь она по-смертно, весьма метко и талантливо, неизвестно только, насколько самостоятельно, названа охальником Топоровым «вдовой русской литературы». То есть она-то могла, «в гроб сходя», благословить от лица тех всех настоящих. Это вам не рекомендация в Союз от какого-нибудь сатрапа.

Да и для того, чтобы так ценно было благословение «прежних», нужен был советский бесконечный перерыв в культуре. А так, ну есть, конечно, какая-то форма признания уже достигшими — только прорезавшихся. А впрочем, нет. Теперь скорее все наоборот. Какой-нибудь модный молодой телемэн вроде Диброва в состоянии очень успешно «раскрутить» целую дюжину безвестных недюжинных старушек. И конечно, если слишком присматриваться, при любом варианте «раскрутки» есть место всяческим неблагоприятностям.

Есть ли вообще что-нибудь материальное и бессмертное? Ответ очевиден. Конечно нет. Но на практике некоторые вещи, а кроме горных хребтов, это в основном произведения искусства, очень подолгу задерживаются, если и не в первоначальном смысле и значении, то все равно — в том же духе, в том же ощущении. Ну, например, брякнул молодой Михаил Юрьевич: «По небу полночи ангел летел» — и все. Это стало, стало элементом Бытия, если не навсегда, то очень надолго. Хотя никто уже давно об ангелах всерьез не помышляет, не говорит и даже не помнит. Но ощущение, чисто физическое, от этих слов пока остается неизменным.

Так что же все-таки, вот тот якобы процесс-прогресс, который нас волочет мордой по ухабам истории, он есть или нет? Агитка? Чьи же тогда пиарщики его придумали? Или же — все ценности неизменны? А лишь шелуха ороговевшая сначала нарастает, а потом отшелушивается и принимает различные очертания? Все воспроизводится одно и то же? То есть сплошные римейки за римейками, а потому одно и то же звучит по-разному, по-новому. Вот именно по-новому. Родись сейчас хоть Шаляпин второй раз, хоть он-то вот уж совсем не устарел, и все еще не хватает его того, первого. Но родись он сейчас снова — он бы стал петь иначе совершенно или даже не петь, а уж и не знаю что. Вот в чем дело.

А думать обо всем об этом я стала из-за звуков пения Погудина под титры закончившегося фильма про ментов. Не воплощаясь в слова, возникло в мозгу удивление, почему никто его не «раскрутил» в свое время. Почему-то вспомнила про другую, изумительную, одиночку из прежних времен, которая была тоже как пария, несмотря на ее божественное пение, — Виктория Иванова. Почему-то мой мозг молчаливо задался вопросом, почему Виктория Иванова не «занялась» Погудиным. А раньше та же самая подруга, которая ходит с дочкой и подругой-руководительницей сейчас на Погудина, раньше она прилежно ходила на Иванову. А что Виктория Иванова потом стала старухой, знаю от Битова, который ее сосед по дому и почитатель ее дара (наверняка взаимно). А у нее небось и власти такой не было, а может быть, была. А может, ей Погудин — по барабану и совсем вне ее классических интересов. Да и вообще, мало ли что творится «в моем большом мозгу», никто не обязан с этим считаться или тем более этим руководствоваться.

Но все равно я неудержимо стала вспоминать про отряд старух-покровительниц, и пошло-поехало. Я сознаю, господа, что я просто банально не знаю

никаких обстоятельств жизни этого серебряного колокольца нашего, который не нашел сам себе места в нынешнем времени. То есть он что-то, конечно, нашел. Клуб «Меридиан», например. Но все же чем-то он обладает более замечательным, о чем невольно сожалеешь, думая о нем. Нет, не то что бы я подперла щеку и стала бы думать о Погудине. Нет, на самом деле это не мысли, а какие-то покальвания в голове. Прошла мимо афиши и как будто поцарапалась. Ну, жалко как-то. Ну, что же он! А что бы он мог? Да и зачем. Вот и Смольянинова, тоже жаворонок наш. Даже Гарик Сукачев брался ею торговать, а все равно — ее удел мелькнуть раз в год по культурному каналу в дневное время. Да нет. Я не то что бы считала, что надо, чтобы вместо Филиппа Киркорова нас в таком же количестве потчевали чем-нибудь «получше». Просто тут видна какая-то роль судьбы. Методом от противного доказывается ее существование. Это же мифы все. Ахматова сама по себе не миф. Но путевка в жизнь — миф. Кто там чем себя когда-то ощущал — от этого ничего не осталось, вернее, остались крохи, по которым невозможно восстановить картину действительно бывшего, но которыми можно попытаться в своих интересах, на которые можно устремить некий гибрид женского взгляда с серебряным шаром, короче — выкатить фары. Желательно за «бабки».

Нет, вы меня не останавливайте, не оттащите, пока я не скажу все-таки, что нельзя-нельзя-нельзя — быть «как раньше». Во-первых, раньше было все равно не так (те, под кого так любят делать, в свое время были *новыми*), а во-вторых, римейк так римейк. Надо делать его по-честному — по-другому, так, чтобы понятно *о чем* было — *уже другим*. Надо создавать плацдарм-пространство для новых поколений. Нет, можно, конечно, петь дома перед трюмо. Та же самая великая Ахматова писала иногда, между прочим, весьма посредственные стишки типа «а глаза глядят уже сурово в потемневшее трюмо», причем не почему-нибудь такому, а потому, что «брошена — придуманное слово».

Ценности — все вечные, потому что они — не материальны. А вот форма их выражения имеет срок годности, как бы прекрасна она ни была.

Для тех, кто давно не был

Замечательная телереклама каких-то, по всей видимости, баснословно дорогих кухонных гарнитуров. Голос трепетный, сообщается лишь неточный адрес: прямо рядом с метро «Юго-Западная», затем небольшая пауза и — катарсис — с интонацией, аналогичной стыдливо потупленному взгляду: «Для тех, кто давно не был в метро...» Прямо шифровка. Кому надо — поймет, кому не надо — даже не врубится, ну там, деревенские всякие, хоть они и, может быть, по-своему тоже никогда не были в метро, но на свой счет точно не примут это приглашение. Замечательный эффект. Соблюдение полнейшей конфиденциальности при вещании на всю страну. Новая правота такого стиля слегка удручает. Новые правые. А ведь они — правы. Ведь тут речь идет не о нескольких станциях в самом центре, где все-таки хоть и очень специфическая публика, с избытком пидоров и очень уж круто вошедших в роль, но еще недостаточно опрятных бизнесвуменов, то есть людей, для которых бедность — не есть главная их черта. Но если проехать по веткам, да еще днем, — видно кое-что, и правда видно. Может быть, конечно, дело в том, что я живу и все больше езжу по линии, по которой едут клиенты самого якобы дешевого оптового рынка, но все равно «едоки картофеля» все более очевидно становятся основными пассажирами муниципального транспорта.

Их всего-то несколько за всю жизнь — по-настоящему сильных впечатлений. И уж конечно, к ним не относятся ни роды, ни лишение невинности, ни первый бой. Ничто из того, что происходит в экстремальных условиях и требует оговоренного заранее напряжения всех чувств, ничто не производит сильного впечатления. Его стихия и фон — одиночество, тишина, созерцание. Вот я думаю, для всех, кто листал в детстве каталоги, перебирал открытки-репродукции, а может быть, даже и гулял по аутентичной галерее, по путевке или

просто на свободе, — я думаю, на всех «едоки картофеля» произвели очень сильное, неизгладимое впечатление. Это — некрасиво, то есть это воздействует не на чувство прекрасного и не может быть приятно физически, но и для испуга особых причин нет. Такая сила впечатления объясняется мгновенным восприятием огромной информации, выраженной очень простыми средствами, если, конечно, не считать технику живописи за сложность. Именно лаконичная и емкая форма передачи информации о жизни — вот источник сильного впечатления. Маленький ребенок может узнать о жизни много и сразу, минуя изучение истории, географии, биологии, искусствоведения, минуя накачку идеологией, — он узнает много и сразу — про людей, про дух бытия, про «инобытие духа».

Когда-то давно у меня была такая идея, что, устав ожидать от человечества, Бог — через гениев — подсказывает. Это неплохая мысль. Но есть много лишнего. Вообще весь этот непристойный и бездарный ажиотаж вокруг всех и всяческих звезд, эта лестница в Каннах, вся эта грязная и порочная тусовка блядей и бизнесменов от искусства — это всего лишь издержки того непреложного факта, что искусство — абсолютно необходимо. Конечно, творится в основном лжеискусство, но так настоятельно необходимо *то* сокровенное, несомненное, постоянно дополняющее Творение искусство, что все издержки — оправданны. Как и тот факт, что так много людей на свете, в чем очень легко убедиться, если все-таки не прекращать ездить в метро и пользоваться подземными переходами, а если уже не пользоваться — будет слишком много машин, — тоже образ ада с примесью фантастики.

С помощью искусства человек обнаруживает божественное, а вот с помощью техники — себя. Ну в основном, как известно, это — лень. Но никогда еще человеку не удавалось так самовыразиться, как при создании технологии виртуального мира. Вот уж когда он получил возможность выразить именно свой способ проживать жизнь — не в реальности, а в версии. Мы ведь просто не умеем реагировать на всю полноту реальности, не говоря уже о том, чтобы ее учитывать. Даже если кто-то там одарен способностью очень многое вокруг себя видеть, замечать, отмечать, даже, допустим, успевать что-нибудь подумать об увиденном, — все равно это не более осмысленная и продуктивная реакция, чем какое-нибудь подергивание мышцы. Все проходит без последствий. Ведь мы бы увидели, если бы охотно и добросовестно смотрели, — одни несчастья, одно неблагополучие. Первый попавшийся человек уже нуждается в помощи, в скорой помощи, в участии. Первому попавшемуся — пришлось бы посвятить всю жизнь, и ее бы не хватило. Но мы скользим курсором мимо всего, имея в виду нечто совершенно иное. Реальность наших мыслей и чувств абсолютно неадекватна «объективной реальности». То есть она поистине — виртуальна.

Сядьте утром хотя бы и не в метро, а в троллейбус, да еще в выходной день. Одно неблагополучие. Мужчины все благоухают вчерашним или уже успели поправиться поутру. Кажется, что все они спали не раздеваясь. Я намеренно не употребляю слово «бомжи». Стараюсь обойтись без него. Женщины — по большей части потерто-подтянутые. Не деловые, а деловитые. Устремлены — кто куда. На кладбище, к внуку, к больной одинокой подруге, к рецензенту — отдать диплом... Стоит только взглянуть на окружающих разутыми глазами, и ясно, что не только некому завидовать, но и то, что все угрожающе неблагополучно. Все везут тревогу — или откуда-то, или куда-то. И вот именно эту угрозу и эту тревогу мы призваны не замечать. То есть, может быть, и замечать, но — игнорировать.

Искусство, даже самое что ни на есть абстрактное, гораздо ближе к истинному бытию, чем повседневная жизнь. Вот мы увидели когда-то «Едоков картофеля» и решили, причем все без исключения, что это ни в коем случае — не про нас, что это такая короста и проказа бедности, которая с нами не может случиться — хотя бы потому, что мы-то парим и не сводим свою жизнь к поеданию картофеля или даже чего-нибудь поинтереснее. Правда, когда уже на-

чинает реально маячить что-нибудь намного интереснее, очень со многими людьми происходят-таки удивительные метаморфозы. Пример тому — наши многочисленные депутаты и министры или даже тележурналисты, которые через полгода пребывания у власти или на экране — округляются и перестают в этом самом экране помещаться. Но ведь это все-таки то, что находится на поверхности. Что за страх в глубине? Какого настоящего неблагополучия мы боимся? (Кроме этого самого недоедания в широком смысле слова, кроме скудности жизни, деформирующей шеки и виски.)

Ведь все «с самого начала» были оповещены о сюжете всякой жизни: рождение, становление, расцвет, увядание, смерть. Может выпасть одна или почти все стадии, кроме первой и последней, но направление всегда одно. Все известно. Конечно, благодаря хитроумным законам перспективы есть почва для иллюзий и грез, но все равно — всем все известно с самого начала. Конец оговорен, обещан и наступает, кстати, очень загодя. Насчет того, что «подкрался незаметно», — это все лукавство.

Да все, что могли бы сделать творческие люди, в конце концов произойдет само. Со своего двенадцатого этажа я сначала с удивлением, а потом со все большим удовольствием наблюдаю лужу, которая вдруг, хоть и слабо и отдаленно, напоминает мне былую «природу». Эта лужа неожиданно попадает в поле моего тоскливого взгляда в окно, она образовалась на плоской асфальтовой крыше белого кубического строения, я даже точно не знаю, что это, — точно, что не трансформаторная будка, ибо значительно больше и дверь — всего одна и без угрожающих знаков. Какая-нибудь подстанция, одним словом — ЦТП. На крыше высятся еще две небольшие будочки.

И вот можно как в детстве при высокой температуре: то ощущать, что это большая водная гладь с двумя катерами, то — что это два ботинка остались стоять в луже, а сам обоссавшийся — сгорел от стыда дотла. Как в детстве при температуре: то ты огромный-огромный, то крошечный-крошечный, — такие ритмичные колебания внутреннего «взгляда со стороны» — в такт сердцебиению. Видимо, так выглядит изнутри животное опасение за свою жизнь.

И вот сейчас — тоже как бы опасение за свою жизнь, что она уже и не жизнь вовсе. По поверхности лужи проходит рябь, как настоящая. Вода очень яркая, буро-коричневая. В ней, как и положено, отражается трепетная крона худого высокого дерева.

Боже! Сколько раз за жизнь мы все уже видели. В любом плевке уже можно узнать океан, в любом клочке — небо. В любом лице — измену. Можно вспомнить, вытянуть, как иллюзионист из рукава, — всего сколько угодно, и все будет связано одно с другим. Уже ничего мы не видим впервые. Такой застарелый и пока нескончаемый римейк, уже не имеющий почти ни у кого никакого успеха, в нем уже не заняты не только «звезды», но даже — знакомые лица.

И вот теперь каждое утро я иду к окну посмотреть на свой водоем. Мне кажется даже, что я вижу что-то лежащее на дне, что неплохо было бы суметь разглядеть. Как в детстве. Отвлекаясь от всей убогой и даже страшноватой правды такого вида из окна, я смотрю и смотрю. И там есть на что смотреть. Зыбь, рябь, чудо отраженного дерева. Несмотря ни на что, несмотря ни на что. Ведь самое невероятное свойство жизни — это то, что она всегда состоит, в сущности, в одном и том же, с детства и до старости, ощущение жизни — это одно и то же чувство, что бы к нему ни примешивалось. И чувство это, как ни странно, сродни все-таки счастью — такая смесь из согласия с устройством мироздания, удовлетворения творением и возможностью испытывать эти ощущения и впечатления — по поводу реальности, но все-таки в отрыве от нее. В любой самой урезанной форме это все доступно не только тем, кто давно не был в метро, но даже тем, кто долго не был в сознании — и вдруг пришел. Ну и так далее.



СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



ПРЕОДОЛЕНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА КАК ПРОБЛЕМА: ПОПЫТКА ОРИЕНТАЦИИ

«**V**ergangenheitsbewältigung», «преодоление» тоталитаристского прошлого, — это задача, которая теоретически стоит перед всеми народами с тоталитаристским опытом, хотя на практике, как мы видим, принимается к сведению далеко не всеми.

Один из уроков, которые мы извлекаем из анализа тоталитарных безумств, состоит в том, что безумством оказывается всякая система рассуждений, когда она становится некритической по отношению к себе. В особенности для любого вида критицизма дело чести — трезвый взгляд на себя.

1. Необходимо отметить, что сам по себе императив «преодоления» своего прошлого, то есть систематической критики поведения не тех или иных предводителей нации, но этой нации в целом, и притом в ее собственном сознании, является вполне новым явлением, для которого нет аналогий во всей человеческой истории.

Когда Карл Ясперс выступил в 1946 году со своим знаменитым трудом «Die Schuldfrage»¹, он действительно формулировал задачу, до сих пор никогда не обсуждавшуюся; я имею в виду, конечно, не специальный казус Германии, но самое логическую структуру вопроса о спектре различных ступеней коллективной вины.

Идея, согласно которой исполнитель военного приказа, и притом такого, который не относится непосредственно к делу палача в узком смысле, все равно виновен перед человечеством и собой, если вердикт мирового общественного мнения и его совесть не признают эту войну справедливой, чужда предыдущим векам. «Узурпатор» Наполеон мог быть виновным и с точки зрения традиционного монархизма, и с более либеральной точки зрения, как поработитель народов: но это нельзя было всерьез распространить на воинов «Grande Armée», и недаром русский полководец Багратион за минуту до смертельного ранения на Бородинском поле успел крикнуть похвалу врагу — бесстрашно наступавшим французским гренадерам: «Bravo, bravo!» Уже начало Первой мировой войны сильно стимулировало тип дискурса, в контексте которого не только правящая элита враждебной стороны, но и вся связанная с ней цивилизация становились предметом систематических нападок, осуществляемых подчас лучшими умами воюющих стран, включая, например, Томаса Манна с немецкой и Шарля Пегги с французской стороны. Столь не сходные между собой Т. Манн и Честертон удивительно сходным образом доказывали, что именно Германия или, напротив, именно Англия представляет в конфликте благородство органической культурной традиции, а каждый раз противоположная сторона — мертвую техническую цивилизацию; это было похоже на спор двойников, зеркально воспроизводящих жестикуляцию друг друга (причем

Выступление на Международной конференции «Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков» (15 мая 2001 года, Москва).

¹ «Вопрос о вине» (нем.). (Здесь и далее примеч. ред.)

никто из них не знал о другом...). Становление тоталитаризмов утилизировало для своих нужд эту тенденцию и резко усилило ее: для нацистского дискурса все противники были по самой своей природе недочеловеки, *Untermenschen*, для советского дискурса неограниченно морально виновен был, в принципе, каждый иностранец, не предпринимающий специальных усилий к тому, чтобы стать «другом Советского Союза» и через это искупить свою вину. А всех «своих» тоталитаризм стремился всеми средствами втянуть в ответственность за каждое из своих действий, в чем, собственно, и состояла его тоталитарность, то есть его отличие в худшую сторону от более архаических видов деспотизма, довольствовавшихся бессловесной покорностью подданных и не требовавших квазиспонтанного соучастия в виде имитации выборов, демонстраций с требованием расправ и т. п. Это создало специфический контекст для последующего. Речь должна идти не о некоем вневременном императиве, но, напротив, о его становлении на нашей памяти.

2. Не будет ни в какой степени ни деструкцией, ни компрометацией самого по себе морального принципа, лежащего в основе идеи «преодоления» прошлого, если мы откажемся от идеализирующей мифологизации обстоятельств, при которых эта идея впервые, то есть в момент окончания Второй мировой войны, вошла в политическую реальность. Насколько эта мифологизация возможна, прискорбно свидетельствует хотя бы знаменитый вопрос, задававшийся некоторыми русскими диссидентами в пору конца советской идеологии: почему не устраивают Нюрнбергского процесса над преступлениями коммунистического тоталитаризма? Для того чтобы всерьез задавать такой вопрос, нужно было полностью забыть об эмпирической реальности этого процесса и видеть лишь некую отвлеченную моралистико-юридическую парадигму. Разумеется, предпосылки Нюрнбергского процесса были подготовлены всемирной моральной рефлексией, в которой участвовала, между прочим, и «другая Германия» (*das andere Deutschland*), Германия эмиграции и сопротивления, и без этой рефлексии были бы невозможны. Но для того, чтобы превратить предпосылки в реальность, несовершенную, как всякая реальность, но обладающую правами реальности, необходимы были совсем иные факторы. Прагматика, оказавшаяся в союзе с моральными мотивами, оставалась прагматикой. Военная победа союзников (в число которых, не будем забывать, входил и сталинский Советский Союз, переживавший как раз тогда апогей своего тоталитаризма) только и сделала возможными Нюрнбергский процесс и программу денацификации, осуществлявшуюся оккупационными властями. Такова была прагматическая реальность, неизбежно включавшая в себя разного рода негативные эксцессы: и британские бомбежки немецких городов, и те расправы над немецким населением, за протест против которых Лев Копелев был отправлен в ГУЛАГ, и проявления бессмысленной мелочности в ходе денацификации (когда, например, великий дирижер В. Фуртвенглер был временно отстранен от исполнения своих обязанностей), не говоря уже о тоталитарном целеполагании советской оккупации, в ходе которой конструировалась та самая DDR, проблема «преодоления» наследия которой обсуждается в докладе коллеги Манфреда Бирвиша. Не была ли та половинчатость, которую доклад коллеги Ханса Моммзена² отмечает для раннеаденауэровского периода, не в последнюю очередь обусловлена также и неизбежной психологической реакцией (относительно не только экс-нацистов или филонацистов) на одиозные действия оккупационных властей? Но затем уже не только само по себе прошлое как таковое, но и недавние подходы к расчету с ним становились объектом все более резкой критики, в свою очередь имевшей не только моральные мотивы, но и сугубо ситуативные контексты сменявших друг друга моментов.

² Выдержки из этих докладов см. в подборке материалов конференции («Независимая газета», 2001, 15 мая).

Совсем иначе обстояло дело в Советском Союзе, одной из тогдашних стран-победительниц. Ситуация, приведшая к тому, что обозначается по-немецки словом *die Wende*³, была порождена сложным комплексом внутренних причин. Не без огорчения отмечу, что западное общественное мнение, в свое время, может быть, чрезмерно склонное воспринимать каждую уступку горбачевского СССР как беспримесно чистый акт свободной доброй воли, руководимый так называемым новым мышлением, затем слишком быстро повернулось на 180° и стало не менее безоговорочно воспринимать случившееся как простое поражение, аналогичное военному поражению. Грубо говоря, еще вчера нас, русских, рассматривали как добронамеренных инициаторов конца «холодной войны», а сегодня мы перешли в статус побежденных в той же войне. Если же говорить серьезно, реальность никак не сводима ни к одному, ни к другому одномерному представлению — ни розовому, ни черному. Обстоятельная характеристика всех участвовавших в происшедшем мотивов, от самых прагматичных до соображений совести, представляет собой самостоятельную тему и не может быть здесь дана. Как бы то ни было, роль морального протеста против тоталитаризма никак нельзя не видеть. Протест этот достиг такой силы, что с ним нельзя было не считаться, не начиная нового витка необузданного террора, чего Горбачев не захотел; но он был не настолько силен, чтобы одержать безусловную победу. В итоге произошел компромисс между советской элитой и оппозиционной частью общества, условия которого не так уж далеки от программы, некогда предложенной Солженицыным в «Письме вождям Советского Союза»: мы освобождаемся от тоталитарной идеологии, но в виде уплаты за такое мирное и бескровное освобождение прежнее начальство, в общем, остается на своем месте. Мы приняли этот компромисс; я до сих пор не вижу ему никакой альтернативы, кроме серии кровавых катастроф. Но он ставит для нас вопрос о смене элиты в особый контекст: приходится считаться с тем, что прежний порядок не был побежден ни внешней силой, ни восстанием снизу, он был демонтирован представителями самой партийной элиты. Старая морально-юридическая аксиома гласит: *pacta sunt servanda*, договоры должны быть соблюдаемы.

Позволю себе отметить, что, если и от Германии, и от России их собственная совесть, но также и мировое общественное мнение требуют всё нового обсуждения своих преступлений, на свете есть страны, от которых никто этого не требует: ни мир, ни голос их собственной совести. Один из многих примеров — Турция, до сих пор не склонная идти ни на малейшие уступки в отрицании самого факта геноцида 1914 — 1915 и последующих годов, унесшего большую часть армянского населения. Недавнее официальное признание этого факта французским государством вызвало со стороны Анкары вполне яростную реакцию. В остальном мир молчит — Турция слишком нужна как союзник; уже ставится вопрос о ее приеме в Европейское Сообщество. Внутри самой Турции тоже все безмолвствует...

По-видимому, не всякая культура принимает само представление, согласное которому для нации необходимо размышлять о ее коллективной ответственности за грехи и преступления ее прошлого, исповедовать перед всем миром эти грехи и преступления. Эта идея либо есть, либо ее нет. Если она есть, она как всякая моральная идея может быть временно вытесняемой или подавляемой, но продолжает подспудную жизнь. Очевидна ее связь с той высокой оценкой обращения и покаяния, которая прямо или косвенно восходит к христианской традиции. В известной классификации, восходящей к Рут Бенедикт, все это обозначается как *культура совести*. Напротив, цивилизации Востока традиционно определяются *культурой стыда*: там человек должен «сохранять лицо», и как раз для этого ему лучше не открывать своих неприятных тайн. Современный либерализм подчас высказывает предпочтение *культуре*

³ Поворот, перемена.

стыда как предохраняющей от чересчур негативных эмоций; но слишком очевидно, насколько будущее европейской традиции свободы связано с *культурой совести*. Последняя являет особый феномен. Разумеется, сегодня и в странах Востока мы видим некоторое количество правозащитников, готовых на преследования; но я не способен вообразить, скажем, китайского Солженицына, который с такой же силой и с такой же открытостью, как его русский собрат, выступил бы перед всем миром в качестве вдохновенного обвинителя, называющего в своей судебной речи все преступления своего глубоко любимого Отечества! И мне до сих пор не приходилось слышать о какой-либо попытке поразмыслить над тем же истреблением армян у какого-либо турецкого романиста или эссеиста, даже оппозиционного. А то обстоятельство, что Солженицыну свойственно, как мы знаем, национальное чувство, доходящее до страсти, только усиливает контраст: даже это в свое время не помешало ему совершенно открыто сказать, в числе другого, и о творившейся при Сталине неправде в отношении подавленных народов...

Разумеется, слишком часто и мы, как индивидуально, так и коллективно, проявляем готовность думать не о совести, а о том, как *спасти лицо*. Но мы не можем поступать так *bona fide*, словно ничего и не было, и эта внутренняя невозможность объединяет нас, русских, с людьми Запада. Для меня лично нет сомнения, что в этом проявляется, хотя бы и в секуляризованных преломлениях, действие общего для нас христианского наследия.

3. Программа *Überwältigung*⁴ предстает (совершенно необходимым и естественным образом) как программа перевоспитания масс; ей нужен этот аспект, чтобы не обернуться одной из бессильных и нереальных игр образованного общества в своем узком кругу. Но это сейчас же ставит ее в опасную близость с тем самым тоталитаризмом, который необходимо преодолеть и который сам представлял собой тотальный проект перевоспитания, как говорили в Советском Союзе, «*перековки*» человеческой идентичности, создания «*нового человека*». При моем искреннем почтении к Карлу Ясперсу, почтении, которое я выражал еще в советскую пору, должен сознаться, что понимаю (хотя и не одобряю) известную реакцию Эрнста Роберта Курциуса, направленную именно против педагогической претензии действовать как «*praeseptor Germaniae*», наставник Германии, который наконец-то всех воспитает и все поставит на свои места. Как раз опыт тоталитаризма создает особую аллергию против тактик, слишком часто свойственных воспитателям масс, предлагающих ученикам формулы для заучивания и повторения.

Когда-то известный ученый и мыслитель Карл Кереньи сказал, что двери национал-социализму открыл дух абстракции, когда евреи как лица оказались подменены безличной категорией «еврейства»; «убивать евреев» звучит страшно, а «ликвидировать еврейство» — словно бы формула логической операции. Я боюсь, как бы в практику политического воспитания новых поколений не проникло нечто от схематизма, сыгравшего такую роковую роль в том самом прошлом, которое мы преодолеваем.

Поделюсь двумя из моих венских впечатлений. Как известно, после аншлюсса большинство исторических синагог Вены было разрушено. Стратегия, возникающая из сотрудничества наиболее влиятельных еврейских организаций с миром *mass media*, избирает для напоминания об этой катастрофе такие акции, как, например, установление грандиозной временной копии фасада одной из погибших синагог поверх возникшего тем временем на этом месте жилого дома. Одновременно приходит в запустение и разрушается скромное по размерам, но подлинное здание бывшей синагоги при так называемой Всеобщей больнице; в этом здании была устроена трансформаторная будка, а сейчас располагается склад, — утилизация, которая нам, россиянам, поневоле напо-

⁴ (Пре)одоление (нем.).

минает советскую практику обращения с местами «отправления религиозного культа». Этот конкретный казус кажется мне симптоматическим по степени уверенности, с которой броская пропагандная акция, заставляющая вспомнить советско-тоталитарное понятие «монументальной пропаганды», манипулирующая подобием театральной декорации, то есть откровенным «симулякром», предпочитается нашим медиальным временем подлинной памяти о реальных жертвах былого. Мне кажется, что это отнюдь не локальная проблема Вены, и только поэтому я упомянул эпизод в этом контексте. Второе впечатление — демонстрация, отнюдь не пронацистская, напротив, вполне «левая», посвященная последним арабо-израильским конфликтам; мальчики и девочки маршируют под простенький ритм бесконечно повторяемого выкрика: «*Eins, zwei, drei — Palestina frei!*» Я хорошо понимаю, что один и тот же человек может безоговорочно сочувствовать страданиям евреев в пору Шоа⁵, чувствовать историческую связь между ними и рождением государства Израиль — и одновременно пытаться сочувственно понять проблемы той ситуации, в которой при этом оказались арабы. Я по опыту знаю это хотя бы благодаря знакомству с некоторыми из моих израильских друзей. Но именно этот опыт внушает мне, что такие трудные чувства чуткости к бедам и нуждам обеих стороны никак не могут быть выражены в самоуверенной полудетской формуле: «*Eins, zwei, drei!*» И я ощущаю в себе тревогу всякий раз, когда встречаю у молодого поколения, выросшего в условиях, далеких от тоталитаризма, так много, казалось бы, слышавшего о несправедливости именно к евреям, — ту самую готовность чересчур доверчиво, без малейшего чувства личной ответственности, подхватывать и хором выкрикивать подсказываемые медиальным механизмом «истины», которой в свое время так широко пользовались тоталитарные системы, создавая и Hitlerjugend, и комсомол. Недаром выражение «*петь хором*» становится таким мрачным символом в устах героя написанной еще в 1925 году повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Если согласиться с булгаковской критикой раннесоветского тоталитаризма, его беды произошли именно от чрезмерной склонности «*петь хором*». И перестала ли эта склонность быть опасной после конца классического тоталитаризма? Можем ли мы успокоиться на том, что сегодняшние хоровые выкрики, за вычетом каких-нибудь скандальных манифестаций неофашистов, по своему вербальному смыслу не похожи на тоталитаристские лозунги и проникнуты либеральной *political correctness*? Замечу, что нас, русских, опыт советского времени приучил с особым недоверием относиться к надеждам на *political correctness*; в худшее время позднесталинского антисемитизма, когда систематически уничтожалась еврейская элита, на так называемых политинформациях слушателям официально, но тайно сообщались самые безумные версии, вплоть до «кровавого навета» об употреблении евреями крови детей, и готовились общие мероприятия, сравнимые по масштабу с Шоа, — советская пресса оставалась безупречна по части *political correctness*, не упоминая ни «евреев», ни тем более «жидов», ведя речь только о «*презренных космополитах*». В наше время умственные моды меняются с убыстренной скоростью, каждое новое поколение вступает в генерационный конфликт с предыдущим, а значит, содержание хоровых декламаций все равно будет меняться. Я не хочу пророчить мрачные перспективы, однако в одном я уверен: если, не дай Бог, снова придет, выражаясь на классическом языке немецкой мысли, *das radikal Böse*⁶, сила, абсолютно неприемлемая по моральным соображениям, ей не трудно будет найти словесную маску, чисто внешне не похожую ни на один из видов уже известного нам тоталитаризма. Умственная привычка побуждает нас ожидать возвращения того, что уже было, хотя еще Гераклит сказал, что дважды войти в одну и ту же реку невозможно. (Так в свое время страх перед реставрацией царского самодержавия

⁵ Шоа — Катастрофа, Холокост (*иврит*).

⁶ Радикальное зло.

помешал русским либералам вроде Керенского увидеть надвигавшееся на них и куда более страшное самовластие Ленина.) Поэтому едва ли можно заранее соорудить против возможных будущих опасностей заградительную стену из чересчур готовых благонамеренных формул, повторяемых *хором*, из казуистики political correctness и тому подобного строительного материала. Сегодняшний либерализм слишком мало либерален, слишком нечуток ко всему, что не укладывается в медиально сообщимые лозунги. Между тем единственной прививкой, дающей иммунитет против возможности нового тоталитаризма, остается чувство собственной ответственности за каждое свое слово и действие, а потому — недоверчивость к внушениям, к гипнотическим пассам массовых воздействий, да и к тому духу абстракции, о котором говорил Кереньи.

4. Я вижу опасность для дела преодоления прошлого в двух настроениях, не похожих друг на друга, но слишком часто дополняющих друг друга: в сентиментальности и цинизме. Возьму для примера казус не русский и не немецкий: то, как ведется контрверза об уничтожении евреев в польском городке Едвабно 10 июля 1941 года. До сих пор это считалось делом немецких оккупантов; профессорствующий в Нью-Йорке Ян Томаш Гросс утверждает, что его осуществили местные польские жители. Не будучи ни поляком, ни специалистом по польской истории, не имею никакого суждения о самом тезисе Гросса, как кажется, не очень доказательном⁷. Меня огорчает только то, что этот вывод то с патриотическим негодованием, то, напротив, с генерационным злорадством воспринимается как опровержение образа Польши как страны-страдалицы. Как возможно после всех «преодолений» нацизма продолжать делить народы на «хорошие» и «плохие», причем находить достойными сострадания только первые? Если это не расизм, что такое расизм? Как возможно видеть в совершенном вину не тех лиц, которые его совершили, но всего «польского общества»? Разве не так рассуждали гитлеровцы?

5. Как выглядят сегодня препятствия к моральному преодолению тоталитаристского прошлого и разобщения между народами? С моей точки зрения, они размещаются в двух противоположащих направлениях. С одной стороны, это реликтовые, но живучие воинствующие антилиберальные тенденции националистического и изоляционистского характера. С другой стороны, это склонность современного либерализма, взявшего на себя задачу перевоспитания народов, функционировать наподобие любой другой идеологии, редуцируя себя до лозунга, до примитивного жеста, навязывая эти лозунги и жесты как единственную возможность; это уже не столько защита свободы личного выбора, сколько отмена смысла такого выбора. Что касается жестов, то они слишком часто не только некрасивы, но и глупы с самой прагматической точки зрения, поскольку именно они дают шанс противникам всякого диалога. В 1996 году в Россию приехали представители Green Peace, чтобы агитировать за ядерное разоружение России, предмет с любой точки зрения серьезный, — и вот, желая, как было с невинностью заявлено, привлечь на сторону благого дела молодежь, они не нашли ничего лучшего, как учинить неприличные, на грани порнографии, эстрадные танцы. Тогда любой русский неонацист или неокommунист имел возможность сказать: вот за какую грязь они хотят купить нашу молодежь! Подобных эпизодов слишком много, разумеется, отнюдь не только в России. Это уже не перmissивизм, не толерантность к индивидуальной интимной жизни, это идеологически мотивированное навязывание определенного образа жизни всему миру без разбора, и притом именно в качестве квазисакрального символа ценностей демократической цивилизации. Индуса, сжегшего себя в знак протеста против конкурса красоты, который почему-то необ-

⁷ Ср., в частности, статью Андрея Колесникова «Урок польского» («Известия», 2001, 22 мая), где приводимые Я. Т. Гроссом факты не ставятся под сомнение.

ходимо было любой ценой устроить в Индии, нельзя одобрить, но его можно и необходимо понять. Если бы не такие поводы, ни у неокommунистов, ни у неофашистов и неонацистов, ни у фанатиков исламизма не было бы шансов. Как раз демократ не может позволить себе ограничиваться выражением презрения и негодования против человека массы, когда тот прислушивается к самым одиозным глашатаям антилиберализма, отдает им свой голос на выборах и т. п. Каждый раз мы должны спрашивать себя: чем мы довели их до того, что они голосуют за кого попало, лишь бы сообщить нам, пользуясь своим демократическим правом, — до чего они нами недовольны?

6. В связи со всем этим разумно помнить, что тоталитаризмы не были простым бунтом подсознания с его «архетипами»; они получили свой исторический шанс лишь постольку, поскольку были абсолютно ложным ответом на вполне реальные вопросы, порожденные кризисом прежних идентичностей. Конец и последовавшее развенчивание тоталитаризмов дают нам в полной степени ощутить реальность самих вопросов. Только полная открытость навстречу вопросам, полная честность и трезвость в отношении их может действительно отнять шанс у возвращения тоталитарных тенденций в будущем. Воспитания интеллектуальной честности не заменит тренировка самых «правильных» готовых реакций на *слова*.



ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ

*

О ПОЛЬЗЕ НАУКИ

В начале мая 2001 года в США в течение нескольких недель на экранах телевизоров с утра до вечера появлялось грустное лицо негритянского мальчика. Ему задавали вопросы, а он на них отвечал. Отвечал рассудительно, толково, не особенно задумываясь, но и не спеша. Говорил он на хорошем английском языке, что не так уж часто встречается среди черных учеников государственных школ, обычно употребляющих специфический жаргон негритянских гетто. Видно было, что мальчик говорит правду, рассказывает обо всем так, как оно и было на самом деле. Пару раз на его глазах появлялись слезы, но даже тогда, когда он, казалось, готов был расплакаться, бросалось в глаза завидное спокойствие. Передача велась из зала суда, а рассказывал мальчик о событиях, случившихся почти год назад.

26 мая 2000 года тринадцатилетний Натаниэль Бразилл вошел в класс, где шел урок английского языка. Вел его учитель Барри Груноу, любимый учитель Натаниэля. Мальчик подошел к учительскому столу, достал из своей сумки пистолет, направил его на Груноу, хорошо прицелился и выстрелил. Учитель был убит наповал.

Главный вопрос, стоявший перед присяжными и судьей: было ли убийство преднамеренным? По словам Натаниэля, он был обижен на учителя: тот выставил его из класса за плохое поведение. Отец мальчика (который, кстати, с семьей не живет) утверждал, что это несчастный случай. «Несчастный случай? — недоумевает известная обозревательница Мона Чарен. — Мальчик приобрел пистолет, хвастался им перед одноклассниками, доказал знакомой девочке, что пистолет настоящий, продемонстрировав ей пригоршню боевых патронов, и пообещал, что он „вздрючит эту школу“ и что лицо его будет на всех телеэкранах. Тот еще несчастный случай!»

Дело Натаниэля Бразилла вызвало острую дискуссию по всей Америке. Прежде всего потому, что мальчика судили во «взрослом» суде. И хотя присяжные нашли его виновным лишь в убийстве второй степени, ему грозит долгий срок заключения в самой обычной тюрьме. А если бы Бразилла признали виновным в убийстве первой степени, его мог ждать и смертный приговор.

Разумеется, в США существует отдельная судебная и пенитенциарная система для несовершеннолетних правонарушителей, и большинство подростков, совершающих преступления, оказываются в ведении именно этой системы, главной задачей которой всегда являлось не просто наказание, но скорее перевоспитание, реабилитация преступника, подготовка его к нормальной жизни на свободе. Но дело в том, что за последние годы рост насильственных преступлений (при одновременном снижении среднего возраста преступников) заставил пересмотреть и ужесточить законы, по которым до сих пор судили подростков. На протяжении девяностых годов в сорока пяти штатах США были приняты законы о передаче дел об особо тяжких преступлениях в ведение «взрослых» судов, а нашумевшая серия массовых убийств в стенах американских школ усугубила эту законодательную тенденцию. Так Натаниэль Бразилл и оказался на скамье подсудимых во «взрослом» суде.

Но почему вопрос о справедливости суда над подростками по взрослым меркам возник только сейчас, в связи с делом Бразилла?

В который раз убеждаешься в великой силе телеэкрана, в его способности влиять на воображение множества людей, даже самых искушенных. В Америке показ по телевидению «живого» действия из зала суда — дело далеко не обычное: судебные органы чаще всего отказывают телевизионным каналам в прямых трансляциях. В данном же случае разрешение было дано, и стоило показать публике мальчишку, подвергнутого нешуточной процедуре судебного разбирательства, как вдруг все прозрели. И достаточно известный факт, что подростков уже не первый год судят как взрослых, внезапно стал предметом сомнений и споров. К процессу были немедленно подключены всевозможные эксперты, о которых всего каких-нибудь несколько дней до суда никто и слыхом не слыхивал.

Лоренс Стайнберг, социолог из университета г. Тампа (штат Флорида), оказывается, давно уже проводил исследования среди нескольких тысяч заключенных, сравнивая подростков со взрослыми. Ученый выяснил, что в «социальном, эмоциональном и когнитивном развитии человека существуют различные стадии». «Нельзя лечь спать подростком, а проснуться взрослым. Так не бывает! — утверждает Стайнберг. — Это процесс постепенный и последовательный».

Кто бы мог подумать!

Стайнберг также нашел у подростков недостаточную способность предвидеть последствия своих поступков. «Они органически не способны заглядывать вперед», — говорит он. И причиной, по его мнению, служит отнюдь не отсутствие жизненного опыта, или здравого смысла, или моральных устоев и всего того, что воспитывается постепенно и под руководством взрослых (как это утверждают отсталые, темные консерваторы, приверженцы косных традиций). Согласно Стайнбергу, главная причина — биологическая. Дело в том, что мыслительные процессы происходят у подростков в тех же отделах головного мозга, что и у детей, а эти отделы приспособлены лишь к обработке информации чисто эмоционального свойства. Виновата природа.

Строение мозга меняется у человека по мере взросления, утверждает другой ученый, Томас Гриссом из Массачусетского университета. Лобные доли подростка развиты слабее, чем у взрослого. Только когда лобные доли достигают определенной степени развития, подростки обретают способность мыслить более рационально. Поэтому подростки более импульсивны и склонны подвергать себя риску. У них слабо развито чувство страха. Опять же виновата природа.

А Дженнифер Вуллард из Флоридского университета провела специальное обследование, целью которого было сравнение компетентности взрослых и подростков с точки зрения их участия в судебном процессе: насколько хорошо они понимают происходящее в зале суда и способны ли адекватно реагировать на это — отвечать на вопросы так, чтобы не нанести ущерба собственным интересам, не возвести на себя напраслины, не забыть упомянуть о возможных смягчающих обстоятельствах. Было обследовано более трехсот обвиняемых в возрасте от 11 до 34 лет. Результат: подростки куда хуже по сравнению со взрослыми понимали суть и детали происходящего, смысл вопросов, которые им задавались, и намного уступали взрослым в умении предугадать, какими последствиями чреваты их ответы судьям, обвинителям и адвокатам. Тем самым усугублялся риск неоправданно суровых вердиктов и приговоров. Еще одно выдающееся открытие...

Вернемся к делу Натаниэля Бразилла. Конечно же ясно, что судить детей во «взрослом» суде неправильно, что это противоречит самым элементарным понятиям о справедливости. Не говоря уж о том, что подросток, помещенный в тюрьму для взрослых, обречен до конца своих дней быть профессиональным уголовником-рецидивистом. Это если ему вообще удастся выжить, и нетрудно догадаться, какой ценой: тюрьмы для уголовников разных стран поразительно схожи — при всей разнице в культуре или технологии. Но почему же именно в Америке, выставляющей себя образцом для всего остального мира, надо до-

казывать простейшие вещи, прибегая к затяжной публичной полемике, к научным исследованиям и даже политическим маневрам?

Дело в том, что научные данные, данные статистики и, конечно, практика неожиданно оказываются в резком противоречии с преваляровавшей долгие годы либеральной идеологией, провозглашавшей всеобщее равенство без различия возраста и пола — в том числе равенство подростков и взрослых. Именно это «выравнивание» позволило законодателям сорока пяти штатов с легкостью ужесточить законы в стране, которая по инициативе либералов последние пятьдесят лет вообще-то занималась тем, что всячески облегчала участь преступников, подсудимых и осужденных. В данном же случае, в случае с подростками-преступниками, идеология пришла в противоречие не только со здравым смыслом, но и с научными фактами. А это уже серьезно.

В современной Америке многие очевидные вещи постоянно оспариваются, ставятся под сомнение. Отчасти, конечно, это черта всей постмодернистской культуры, но в США граница между, скажем, научной теорией и реальной жизнью может очень быстро испариться, и то, что сегодня является лишь гипотезой, завтра начинает претворяться в жизнь без должного периода проверки и публичного обсуждения. Непроверенная гипотеза может в одночасье быть навязана обществу в качестве руководящей идеи весьма недемократичным путем. Одной из таких идей стала идея уравнивать взрослых и подростков в рамках судебного процесса.

«С тринадцатилетних детей нельзя спрашивать так же, как со взрослых, — пишет Мона Чарен. — Но что еще можно сделать, если общество настолько сдвинуто в сторону первобытного состояния, что дети совершают самые чудовищные преступления почти не задумываясь?» Действительно, что же делать?

То, что проблема молодежной преступности напрямую связана с тем, в каких семьях воспитываются американские подростки, известно давно. Дети матерей-одиночек составляют главный контингент заключенных тюрем США. С такой статистикой трудно спорить. Процент же матерей-одиночек выше всего среди тех женщин, которые сами воспитывались без одного из родителей. У той же группы намного выше процент ранних беременностей. Процент внебрачных детей в Америке в среднем — 33, но среди негритянского населения сегодня уже 70 процентов детей рождаются и растут без отцов, среди белого — 27. Благополучные семьи, где с детьми живут и мать и отец, где между родителями и детьми существуют доверительные, добрые отношения, если и не гарантируют будущего благополучия детей, служат тем не менее одним из главных факторов, позволяющих прогнозировать поведение подростков.

Поэтому следует обратиться к коренным причинам роста подростковой преступности, главной из которых несомненно является катастрофический упадок института семьи в Америке, особенно среди малоимущих слоев населения, задуматься о том, что привело к этому упадку и продолжает негативно влиять на судьбы детей, родителей, на состояние всего общества.

Справедливости ради нужно отметить, что за последние годы были все же предприняты шаги, чтобы реформировать старую, порочную систему вэлфера, которая не только не решала проблемы безработицы и бедности среди американского населения, но и усугубляла ее, постоянно стимулируя рост класса людей, от рождения до смерти обреченных жить в условиях безотцовщины, наркомании и преступности. «Правительство США предлагает любой девушке беспроигрышный вариант, — писал в семидесятых годах известный экономист Джордж Гилдер. — В возрасте 15 лет ей предоставляется шанс стать независимой, иметь бесплатно собственную квартиру, медобслуживание, юридическую помощь и комбинацию денежного пособия с продуктовыми талонами на сумму в несколько сот долларов в месяц. Взятые вместе, это намного превышает все, чего она могла бы ожидать от знакомых ей мужчин, и предлагается все это без каких-либо требований трудоустройства. Есть только одно условие: ей надо родить ребенка».

Одно только не учитывалось: именно эти дети чаще всего становились и становятся преступниками. Сейчас, слава Богу, этой тридцатилетней практике положен конец, но сколько еще лет будут ощущаться последствия...

Влиятельный публицист Джордж Уилл считает, что «родительский кризис» в США имеет три компонента: распространенность разводов, все увеличивающийся процент внебрачных детей и недопустимо высокий процент женщин, работающих вне дома, — даже тех, у кого есть малолетние дети. По его данным, между 1965 годом и концом восьмидесятых годов количество часов, проводимых родителями дома с детьми, упало на 43 процента. Еще одно обследование показало, что вероятность злоупотребления алкоголем и наркотиками у тех подростков, что в детстве оставались одни дома более 11 часов в неделю, в три раза выше, чем у детей, находившихся под присмотром родителей. Но вопрос о том, насколько благополучие в семье, позитивное взаимодействие детей и родителей зависят от общего направления культуры, от общего нравственного климата в стране, — этот вопрос либо вообще избегают задавать, либо искажают его суть.

«Наш народ, одержимый страстью к публичной исповеди и в полном смысле слова отвергнувший сдержанность, тем не менее сохранил много кодексов умолчания, — пишет Дж. Уилл. — Их цель — не предавать гласности неудобные факты, противоречащие идеологической моде». Характерно, например, с каким недоверием были восприняты данные недавних исследований, показывающие повышенную агрессивность у детей, чьи родители отдавали в детские сады. Об упадке семьи в основном говорят социологи и публицисты консервативного или религиозного склада, которых в Америке, особенно в академических кругах и СМИ, явное меньшинство.

Многие годы либералы рьяно и, надо сказать, весьма успешно внушали обществу свои догмы о всеобщем равенстве, о том, что взрослые и дети должны пользоваться одними и теми же правами. Не эти ли представления лежат, например, в основе законов, снизивших «возраст согласия» в половых отношениях с 16 до 14 лет? Но беда в том, что помимо эгалитаристов-либералов, из принципа считающих любые понятия об авторитете взрослых посягательством на идеалы равенства, есть немало тех, кто прямо заинтересован в том, чтобы оторвать детей от родителей, изолировать от их влияния и опеки.

Это, конечно, киноиндустрия, телевизионные компании, индустрия популярной музыки, которые делают деньги прежде всего на молодежи. Понятно, что любой бизнес заботится о расширении клиентуры. Но «развлекательный» бизнес имеет свою специфику: люди взрослеют, у них остается все меньше времени на телевизор, кино, танцульки, в зрелом возрасте они уже не столь подвержены дешевому обаянию тинейджерской культуры. Значит, расширять рынок можно лишь в сторону более раннего возраста. В привлечении несовершеннолетних потребителей конечно же заинтересована и гигантская рекламная индустрия, ориентирующаяся на рейтинги телевизионных программ. Это еще более стимулирует молодежно-подростковое направление телевидения.

Таким образом, весьма солидная доля национального бизнеса США зависит от потребления тинейджеров. И только когда факты эксплуатации подросткового рынка становятся уж совсем вопиющими, государство начинает вводить возрастные ограничения. Так, например, происходит с рекламой и продажей алкогольных напитков, табачных изделий, «жесткой» порнографии. Со своей стороны, и предприниматели не успокаиваются, стараются найти новые пути к юной клиентуре.

Военный психолог, полковник армии США Д. Гроссман отмечает много общего между психологическим воздействием массовой культуры на молодежь и тем, как нынешних армейских новобранцев готовят к будущим боевым действиям, снижая их чувствительность, атрофируя у них естественное неприятие насилия и убийства. Гроссман также указывает на то, как образы насилия на телеэкране или в кино сочетаются с привычкой получать в это время удовольствие от прохладительных напитков, воздушной кукурузы и конфет. Реклама, наполненная образами приятной «сладкой жизни», идет вперемежку с показом всевозможных жестокостей. Все это снижает уровень неприятия насилия. Известно, что в кинотеатрах во время самых страшных убийств молодежь часто

громко смеется. Не потому ли с таким равнодушием Натаниэль Бразилл рассказывал об убийстве своего учителя? И это равнодушие несовершеннолетних преступников — общая черта, которую уже давно отмечают обозреватели.

«Подобно персонажам какого-нибудь научно-фантастического триллера, внешне они выглядят совершенно как нормальные люди, — пишет Мона Чарен о таких, как Натаниэль Бразилл. — И когда слышишь, как они говорят об обыденных вещах — как, например, Натаниэль рассказывает о том, как он готовит домашнее задание по английскому языку, — это сбивает с толку. Он выглядит нормальным, но чего-то недостает. У него нет совести».

Любому стороннему наблюдателю очевидно, что общее развитие массовой культуры еще со времен сексуальной революции шестидесятых годов и по сей день неуклонно направлено против традиционной семьи и традиционной морали вообще. Если говорить особо о кино и телевидении — это недвусмысленное одобрение внебрачного и добрачного секса в качестве нормы поведения, пропаганда «независимости» и «самостоятельности» тинейджеров, показ родителей и взрослых вообще либо в качестве придурков и шутов, либо тиранов, сочувственная трактовка (опять же в качестве нормы) однополрой любви и прочее в том же духе.

В Европе принято подтрунивать над американским «пуританизмом», над тем, что в США не принято показывать «всё». На самом деле влияние массовой культуры в США куда сильнее, чем в европейских странах. Действительно, с точки зрения цензурных ограничений Америка всегда несколько отставала. Во Франции порнография была легализована давным-давно, и, как известно, именно там были впервые напечатаны англоязычные произведения литературы, которые ни в США, ни в Англии опубликовать было невозможно. Но парадоксальным образом материалы эротического характера нигде не получали той степени видимости, публичности, какую они приобрели в Америке, даже учитывая, что сами по себе, отдельно взятые, они не достигали той степени откровенности, которая была уже узаконена в Европе. То ли сказались у американцев отсутствие чувства меры, вкуса, то ли желание сделать все, что не запрещено, достоянием как можно большего числа людей — и при этом заработать. Сказалась исконно американская коммерческая жилка.

Недаром именно в Америке впервые появился «Плейбой» — попытка свести порнографию к той мере цензурной дозволенности, которая бы позволила иметь массовый тираж. Ведь то же самое происходит и в современном кино, и в рекламе, где сексуальный подтекст постепенно превращается в открытый текст. Эффект такого массового подхода куда сильнее, чем эффект ничем цензурно не ограниченной, но малотиражной европейской порнографии. И конечно, когда высказываются опасения по поводу широкого распространения «клубнички» в подростковой среде, то ответом неизменно служит демагогия по поводу Первой поправки и конституционно гарантированной свободы слова.

Идет своего рода борьба за души, и родители уже в значительной степени устранены от участия в этой борьбе. Забавно, что в этом смысле либеральные идеологи оказались странными и невольными союзниками не только крупного бизнеса, но и революционеров левого толка. Ведь именно в коммунистических странах, начиная с России, новые правители делали многое, чтобы вбить клин между родителями и детьми (вспомним Павлика Морозова), а затем использовать неопытных легковверных подростков в своих политических целях. И не случайно в Эфиопии под властью Менгисту Х. Мариамы или в Никарагуа при сандинистах предпринимались попытки снизить минимальный возраст для избирателей. Конечно же подросткам проще промывать мозги, особенно когда подорван авторитет взрослых, родителей.

И чтобы это понять, не надо прибегать к дорогостоящим научным исследованиям.

Нью-Йорк.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ КАПЛАН

*

ЗАГЛЯНЕМ ЗА СТЕНКУ

Топография современной русской фантастики

1

«(Фр) фантастика — это литературное гетто», — говорят любители жанра. «Фантастика — это глянцева дешевка», — отвечают им читатели толстых журналов. И сей диалог тянется давно, еще с советских времен. У каждой из сторон есть железобетонные аргументы.

Действительно, книжные лотки пестрят яркими обложками, уже самый вид которых у человека со вкусом вызывает тошноту. Пылающие страстью обнаженные девы, крутые богатыри, демонстрирующие груды мышц и всяческое холодное оружие, клыкастые чудовища с бластерами наперевес... То, что находится под обложкой, чаще всего являет трогательное единство формы и содержания.

Но у медали есть и другая сторона. Будь автор сколь угодно талантлив, будь в его книгах и глубина мысли, и блестящий язык, и отсвет душевного жара, все равно клеймо «фантаста» отлучит его от «большой» литературы, все равно в глаза множества людей его творчество останется в лучшем случае успешной беллетристикой, а в худшем — способом заработать на хлеб с маслом. Ярлык «фантаста» иногда удивительно смахивает на приснопамятный «пятый пункт». Это тяжело, не все выдерживают. И есть соблазн откреститься от ярлыка. Достаточно лишь избегать именоваться фантастом — и в «мейнстриме» тебя признают своим. Виктор Пелевин, Михаил Веллер как начинали свою литературную жизнь с фантастики, так и сейчас нередко ее пишут. Но ни за что в этом не признаются.

Тех же, кто не стесняется ярлыка, подстерегает уже другой, не менее опасный соблазн — жить внутри гетто, гордо повернувшись спиной к «большой» литературе. В принципе, ничего страшного, можно писать, печататься, ездить на ежегодные конвенты, размышлять, спорить, искать. И тем не менее уход во «внутреннюю Монголию» лишь закрепляет ситуацию, углубляет раскол некогда единого литературного древа. «Большая» литература, отлучившая от себя фантастику, теряет немало, фантастика, отгородившаяся от «мейнстрима» стенами цеховой гордости, теряет куда больше. Главным образом она теряет в качестве. Неизбежно понижается планка, автор начинает ориентироваться, условно говоря, не на Шекспира, а на «спрос». Отломившаяся от ствола ветка засыхает.

...Обозначим, однако, рамки разговора. Государственные границы, слава Богу, не затрагивают пространства литературы. Творчество киевлян М. и С. Дяченко, жительницы Риги Д. Трускиновской или израильянина П. Амнуэля — все это русская фантастика. Что же до временных рамок, то ограничимся последним десятилетием, то есть постсоветским периодом. Разумеется, здесь невозможно упомянуть всех более или менее значимых современных авторов, это скорее задача для энциклопедии.

Каплан Виталий Маркович — литератор, специализирующийся в области фантастики. Родился в 1966 году в Москве. Окончил математический факультет МГПИ. Как критик систематически публикуется в журнале «Если». Автор книги «Корпус» (роман и повесть), готовящейся к изданию в текущем году.

В начале 80-х советская фантастика переживала не лучшие времена. Государево око бдило как никогда, известные авторы годами не могли напечататься, серость и бездарность торжествовали, на КЛФ (клубы любителей фантастики) госбезопасность устраивала настоящую охоту. Тем сильнее была перестроечная эйфория конца 80-х — казалось, уж теперь-то вырвавшаяся из идеологических оков фантастика расцветет как никогда. И мечты эти не выглядели столь уж беспочвенными. Имеются молодые, талантливые авторы — Андрей Столяров, Вячеслав Рыбаков, Святослав Логинов, Эдуард Геворкян... Выходят книги, фантастику начали даже печатать в толстых журналах («Нева», «Знамя», «Юность»), а уж как расплодились многочисленные фэнзины — самодельные издания, размножаемые на тогда еще дефицитных ксероксах! До профессионализма им было далеко, но энергией энтузиастов с лихвой искупалась неопытность. Появились и различные творческие объединения, самым известным из которых было ВТО МПФ — Всесоюзное творческое объединение молодых писателей-фантастов, продолжал действовать возникший еще до перестройки семинар Бориса Стругацкого...

Недолго музыка играла. Вместе со свободами в страну хлынул поток зарубежной (прежде всего англо-американской) фантастики. Спрос оказался колоссальным, и ничто — ни бездарность переводчиков, ни убожество полиграфии — не могло его поколебать. В книгоиздательстве наконец-то заработали рыночные механизмы. Как в глухую брежневскую пору мечтали об этом замордованные цензурой писатели! И вот — сбылось, и очень скоро оказалось, что российские авторы неконкурентоспособны. Не важно, талантливы они были или бездарны, — мучимый застарелым сенсорным голодом читатель в первую очередь хватал иностранные имена. Тут действовали вовсе не литературные (и даже не экономические), а прежде всего психологические механизмы. Десятилетия «железного занавеса» создали по обе его стороны огромную разность давлений. И хлынуло. Это было крайне доходно — об авторском праве издатели зачастую и не слышали, переводчикам платили копейки (впрочем, многие из них, преимущественно выпускники английских спецшкол, по качеству работы большего и не заслуживали).

Российским авторам (а у многих из них бурные события начала 90-х отняли привычный заработок) приходилось нелегко. Кто-то начал копировать западные образцы, и не всегда из конъюнктурных соображений. Несмотря на то что 90 процентов издаваемой зарубежной фантастики никуда не годилось, были ведь и 10 процентов — Брэдбери, Шекли, Саймак, Гаррисон, Ле Гуин. Их книги не могли не влиять на творчество отечественных авторов, тем более начинающих. В конце концов российской фантастике за считанные годы пришлось проделать путь, занявший на Западе многие десятилетия. Неизбежно повторялись какие-то темы, идеи, приемы. Но намеренное подражание никому пользы не принесло — если оно и вело к успеху, то разве что к коммерческому.

Другие поступили хитрее. Видя, что читателя в первую очередь волнует имя на обложке, они взяли себе иностранные псевдонимы. Так, англо-американский автор Мэделайн Симонс при ближайшем рассмотрении оказался питерской писательницей Еленой Хаецкой, под именем Генри Лайона Олди скрывались харьковские фантасты Дмитрий Громов и Олег Ладыженский. Шила, конечно, в мешке не утаишь, но какое-то время это работало.

Однако все кончается, схлынул и бум зарубежной фантастики. Не то чтобы ее поток резко обмелел — по-прежнему издается множество переводных книг, но, во всяком случае, российские авторы начали конкурировать с ними на равных. Это произошло примерно к середине 90-х, и вот тут-то оказалось, что есть у нас немало талантов. Это и упомянутые Рыбаков, Столяров и Логинов, и Евгений и Любовь Лукины, и Лев Вершинин, и Андрей Лазарчук, и Михаил Успенский... Их книги читают, они начали приносить и коммер-

ческий успех, при том, что ориентированы они все же на интеллектуального читателя. Да и ветераны отечественной фантастики не сдали позиций. Кир Булычев, Владислав Крапивин, Владимир Михайлов, Ольга Ларионова — все они в минувшем десятилетии написали немало нового, вызывая такой же интерес, как и более молодые собратья по перу.

Тогда же появились и издательства, рискнувшие выпускать российскую фантастику, — «АСТ», «Северо-Запад», «Тerra», «Эксмо», «Вагриус». Рискнули — и не прогадали.

А вот с журналами дело обстоит хуже. Многочисленные фэнзины начала 90-х по большей части увяли, и хотя некоторые из них до сих пор живы (а в последние годы появились и электронные журналы, подчас довольно качественные), погоды они не делают. Сейчас практически единственным профессиональным изданием, целиком посвященным фантастике, является московский журнал «Если».

3

В течение едва ли не века к существительному «фантастика» было приклено прилагательное «научная». Разумеется, в Советском Союзе «ненаучной» фантастики и не должно было быть. Идеология, претендовавшая на статус объективного научного знания, диктовала правила игры.

Но сейчас классической «научной фантастики» почти не осталось. Классической — это значит звездолеты, космопроходцы, величайшие открытия в области естествознания... Отдельные книги подобного плана появляются, но погоды не делают. И тем не менее научная фантастика в современном понимании этого термина у нас есть, и в немалом количестве. Сюда относятся все те произведения, где фантастическое допущение (то есть главная особенность жанра) не противоречит самим основам позитивного знания. Возьмем, к примеру, блестящий роман Александра Громова «Мягкая посадка». Фантастический элемент состоит здесь в том, что начинается новое оледенение, которому человечество не в силах противостоять, и потому медленно деградирует, культура и традиционные гуманистические ценности отступают, а звериное начало выходит на первый план. Трудно судить, насколько вероятно новое глобальное оледенение с точки зрения науки, но — такое *в принципе* возможно. И потому роман Громова является «твердой» НФ. Многие талантливые авторы успешно работают в этом жанре — А. Громов, А. Лазарчук, О. Дивов, М. Тырин (хотя и не замыкаются его рамками). Возможно, правильнее был бы термин «посюсторонняя фантастика»?

На другом краю спектра находится так называемое «фэнтези». До сих пор ведутся дебаты о том, что это такое и как его определить. В самом общем случае фэнтези — это произведение, где фантастический элемент несомним с «научной картиной мира». В этом смысле и «Мастер и Маргарита» — фэнтези, и «Маленький принц» Сент-Экзюпери, сюда же попадают Гарсиа Маркес, Борхес, Кортасар... Однако наряду с этим глобальным определением существует и другое, более узкое, но и более известное читателям. Здесь к фэнтези относят произведения, где действие происходит в условно-средневековом мире и существенную роль в сюжете и в идейной составляющей играет магия. Мир чаще всего используется вымышленный (сконструированный по европейским образцам), реже (ибо в этом случае труднее развернуться по части колдовства) действие переносится в реальное земное прошлое. Важные атрибуты жанра — дворцы, принцессы, рыцари, волшебники, придворные интриги, различная нежить (гномы, эльфы, драконы и т. п.). Разумеется, существует множество причисляемых к фэнтези произведений, не укладывающихся в эту схему. Магия порой сведена к минимуму, а нежить и вовсе отсутствует (Мария Семенова, «Волкодав»), без рыцарей, драконов и королей тоже можно обойтись (Сергей Лукьяненко, «Мальчик и тьма»), средневековый фэнтезийный мир тесно взаимодействует с нашей реальностью (Андрей Лазарчук, «Ке-

саревна Отрада между славой и смертью»; Олег Дивов, «Предатель»). Характерно, что чем хуже вписывается некий текст в «рыцарско-магическую» схему, тем сильнее он в литературном плане.

К жанру фэнтези вплотную примыкает историческо-фантастический роман, который отличается от фэнтези тем, что, во-первых, в качестве поля действия берется непременно наш мир, а во-вторых, магия в нем не играет почти или совсем никакой роли. Кроме того, здесь важна точность и достоверность в описании антуража. Собственно, ничто не мешает назвать эти романы историческими. Да и пишут их, как правило, профессиональные историки — Андрей Валентинов («Дезертир», «Серый коршун», «Овернский клирик», «Небеса ликуют», цикл романов «Ория»), Лев Вершинин («Двое у подножия вечности», «Время царей»). Однако по своей художественной задаче такие произведения все же несколько отличаются от традиционных исторических романов. Здесь прошлое — не самоцель, а средство. Тут важно не изобразить ту или иную эпоху, а на историческом материале исследовать общечеловеческие проблемы — долга, власти, нравственного выбора, духовных исканий.

То же самое касается и мистического триллера (иногда еще называемого «сакральной фантастикой»). Действие, как правило, происходит в нашем мире, в наше время, но сюда вторгается нечто потустороннее и враждебное. Например, в трилогии Олега Дивова «След зомби» инфернальные существа из иного мира пытаются покорить Землю. Можно вспомнить роман Сергея Лукьяненко «Осенние визиты», где некая необъяснимая, сверхъестественная сила ставит эксперименты на обыкновенных российских гражданах, и от исхода этих экспериментов зависит, в каком направлении предстоит развиваться человечеству. Сюда же можно отнести роман Андрея Лазарчука и Михаила Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» и повесть Андрея Столярова «Послание к коринфянам», где просто-напросто на фоне ельцинской России разворачиваются описанные в Апокалипсисе события. Этот жанр, несмотря на очевидную опасность скатиться до уровня коммерческой поделки, включает в себе немалые возможности в собственно литературном плане. Трагическое одиночество современного человека, вынужденного противостоять нечеловеческой силе, проблема цели и средств, попытка выйти за пределы сложившегося восприятия реальности — все это благодатная почва для творчества.

Немалое распространение получили и так называемые «альтернативные истории». В них авторы пытаются переиграть реальный ход исторического процесса, посмотреть, а что было бы, если... Делается некое допущение, стрелки переводятся — но дальше автор обязан строго следовать логике развития событий¹. Допустим, к примеру, что декабрьское восстание 1825 года увенчалось частичным успехом. Что было бы дальше? Об этом — роман Льва Вершинина «Первый год республики». Или как развивался бы мир, победы во Второй мировой войне нацистская Германия? Взяв это за отправную точку, Андрей Лазарчук написал роман «Иное небо», позднее расширенный и изданный под названием «Все, способные держать оружие». А кто-то идет еще дальше — скажем, Николай Романецкий в романе «Убьем в себе Додолю» описал мир, где историческое развитие Руси еще тысячу лет назад пошло иным путем, в результате чего в конце XX века существуют два славянских государства — христианская Киевская Русь и языческая Новгородская. А что, если в XIII веке Русь и Золотая Орда объединятся в одно государство на основе дружбы и взаимного уважения? А если сто лет спустя к ним присоединится еще и Китай... Об этом — роман «Дело о жадном варваре», изданный под откровенно условным «китайско-голландским» псевдонимом Хольм Ван Зайчик. В жанре альтернативной истории отметились многие ведущие российские фантасты. Тут и Вячеслав Рыбаков («Гравилет „Цесаревич“», «Человек напро-

¹ Об этом см. капитальную статью Андрея Немзера «Несбывшееся. Альтернативы истории в зеркале словесности» («Новый мир», 1993, № 4). (Примеч. ред.)

тив»), и Кир Булычев (цикл «Река Хронос»), и Евгений и Любовь Лукины (повесть «Миссионеры», затем ее продолжение, романы Е. Лукина «Разбойничья злая луна» и «Слепые поводыри»).

Заметим, что если одних авторов в альтернативной истории привлекают прежде всего глобальные вопросы развития цивилизации и главным их героем является общество в целом, то для других это лишь метод исследования каких-либо психологических, нравственных, духовных проблем, и потому в их «альтернативных историях» меньше точности проработки мира, зато сильнее эмоциональный заряд.

Если вернуться к разговору о «научной фантастике», то нельзя не заметить еще одного жанра, формально из нее вытекающего. Речь идет о так называемой космической опере, где «материалистическая картина мира» не принципиальна (в космоопере вполне может быть задействована и мистика), но обязательно изображение человечества в общекосмической перспективе, то есть во взаимоотношениях с инопланетными цивилизациями. Это предполагает и разорванный в пространстве сюжет (межзвездные полеты, другие планеты), и неприменный конфликт цивилизаций. В то же время «технические детали» — все эти звездолеты и гиперпереходы — достаточно условны и не требуют особой тщательной прорисовки. Разумеется, разнообразные «чужие» служат здесь всего лишь отражением наших фобий и надежд. В галактических войнах, в возникающих и гибнущих империях, в преодолении культурных барьеров и в стремлении отстаивать свое родное видны сегодняшние проблемы: политические, национальные, экономические. Так что космоопера может предстать изящной аллегорией, средством взглянуть на повседневную нашу суету под иным углом, в ином масштабе. Говоря об авторах, работающих в этом жанре, прежде всего назовем Сергея Лукьяненко (трилогия «Лорд с планеты Земля», диалогия «Императоры иллюзий», повесть «Тени снов», диалогия «Звездная тень», романы «Геном» и «Танцы на снегу»). Можно вспомнить и Олега Дивова («Лучший экипаж Солнечной»), и Владимира Васильева («Смерть или слава»), и Льва Вершинина («Великий Сатанг», «Сельва не любит чужих», «Сельва умеет ждать»). А из старших в этом жанре плодотворно работают Кир Булычев, Владимир Михайлов, Ольга Ларионова.

Наконец, есть произведения, чью жанровую принадлежность так просто не определишь. Тут вымыслом становится не то или иное допущение, а весь текст — по сути, одна большая метафора. Это можно сказать о многих сочинениях Виктора Пелевина, Владимира Хлумова, о последнем романе Бориса Штерна «Эфиоп». Подобные вещи, будь они опубликованы без какого-либо указания на их принадлежность к фантастике, назвали бы постмодернизмом, литературным авангардом, экспериментальной прозой, на худой конец, вспомнили бы определение «магический реализм». Но (за исключением Пелевина) известный ярлык тяготеет над этими авторами, и критики не спешат выдать им «вид на жительство» в «большой» литературе.

4

Если советская фантастика являла собой воплощение общественной мечты литературными средствами, то за последние десять лет все изменилось. Теперь питательная среда для современного фантастического произведения — это клубок нынешних проблем, страхов, разочарований. Фантастика уже в силу своих жанровых особенностей чутко реагирует на людские ожидания, на витающие в «коллективном бессознательном» настроения, и это тем более справедливо для эпохи перемен, когда никто ни в чем не уверен, когда все вокруг мрачно, а вместе с тем потребность в чем-то «большом и светлом» огромная.

Нет такого автора, который не задавался бы вопросами: что происходит с нашей страной, в чем корни всего этого, к чему в итоге придем? В конце 80-х — начале 90-х, на общей демократической волне, возникло множество антитота-

литарных произведений. Такова, к примеру, повесть Вячеслава Рыбакова «Не успеть» («Нева», 1989, № 12), таково последнее произведение братьев Стругацких — «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах» («Нева», 1990, № 9). На эту тему писали Андрей Лазарчук («Мумия»), Александр Щеголев («Кто звал меня?»), Владимир Хлумов («Санаторий»). Писало и множество других, менее заметных авторов — когда искренне, когда почуяв открывшуюся конъюнктуру.

Но уже в первой половине 90-х антитоталитарная тема потихоньку сошла на нет. Не стало ни господствующей идеологии, ни массовых репрессий — и обличать их уже надоело, внимание авторов обратилось к настоящему — «массовому человеку», выброшенному из прежней системы этических координат в нынешние джунгли. Как в повестях Евгения Лукина «Амеба» и «Гений кувалды»: горькая, язвительная сатира, где фантастический элемент лишь оттеняет удивительную реальность психологии.

Постепенно наступало и разочарование в демократии. Так, в романе Льва Вершинина «Великий Сатанг» причиной гибели демократической земной цивилизации является прежде всего ее внутренняя гнилость, потребительское сознание массового человека, не способного ни на самопожертвование во имя чего-то высшего, ни даже на деятельное сострадание. Именно поэтому пассивные дикари-дархайцы, жители отсталой планеты, с легкостью захватывают власть, и в результате Земля погружается в кровавый хаос. По мысли Вершинина, одинаково омерзительны и жестокая идеологическая диктатура, и безвольное, лишившееся внутреннего смысла общество потребления. В этом же романе, кстати, автор провел любопытный эксперимент — он показал развитие уголовного феодализма на обломках цивилизации. Когда все рухнуло, именно организованная преступность уцелела и начала строить новое общество. Король называется «паханом», меч — «пером», армия — «кодлой». Рыцари-«братва» одеты не в кольчуги, а в кожанки, крепостные крестьяне именуется «лохи». И смотрится это довольно убедительно. О родстве уголовных и феодальных традиций писал еще в перестроечные годы этнограф Лев Самойлов («Путешествие в перевернутый мир» — «Нева», 1989, № 4), и роман Вершинина является отличной художественной иллюстрацией его научных взглядов.

Криминальная тема, тема всеобщей, сверху донизу, коррупции вообще вызывает интерес у российских авторов. Значительную роль она играет в романах «вейского цикла» Юлии Латыниной (см. статью Аллы Марченко «Китайский маскарад на русской исторической сцене» — «Новый мир», 2000, № 12), об этом же повесть Евгения Лукина «Там, за Ахероном».

Иногда для исследования феномена власти выбираются весьма неожиданные модели. Так, в романе Александра Громова «Менуэт святого Витта» действие происходит на планете, где потерпел катастрофу пассажирский космолет и в живых остались только дети не старше четырнадцати лет. В силу загадочного излучения местной звезды они почти не меняются физиологически, не растут — и это продолжается многие десятилетия. На примере замкнутого микросоциума автор рисует механизмы возникновения и действия авторитарной власти, стараясь не сбиться на обличительный тон. Авторитарную власть легко ругать, но что делать, если альтернатива ей — всеобщее одичание и гибель? Сюда же можно отнести и романы Льва Вершинина «Сельва не любит чужих» и «Сельва умеет ждать», где жестокость президентской власти противостоит ничуть не меньшей жестокости сепаратистов, где нет однозначно правых и однозначно виноватых.

В романах харьковского писателя Андрея Валентинова из цикла «Ория» действие происходит на территории нынешней Руси, но еще в дохристианскую эпоху. В центре повествования — междоусобная борьба князей, войны между различными славянскими племенами. Автор предельно серьезен, он не соблазняется стилизацией «под старину» и этнографическими изысками. Государственный механизм как наименьшее из зол, соотношение целей и средств,

власть, понимаемая как исконное право, и власть, понимаемая как долг и служение, — вот круг тем, которые его волнуют.

А как быть с феноменом насилия, жестокости? Вячеслав Рыбаков в романе «Гравилет „Цесаревич”» попытался сконструировать мир гораздо гуманнее нашего. При этом мир «Гравилета...» подан как истинная реальность, в то время как наша — всего лишь «кристалл», лабораторная модель, где чисто техническими средствами достигнута предельная концентрация насилия. И что же? Накопившееся в кристалле зло готово излиться в «правильный» мир, и противостоять ему почти невозможно. Теме эскалации насилия посвящена и повесть того же автора «Дерни за веревочку», где вновь не дается никакого спасительного рецепта, кроме личного стояния в правде. Этой же темы коснулся и Евгений Лукин в романе «Зона справедливости». Необъяснимым путем любое совершенное над кем-либо когда-либо *физическое* насилие получает адекватное воздаяние. Стукнул ты кого-то по носу двадцать лет назад — изволь, получи. Подобная принудительная справедливость, однако, приводит лишь к еще большему озлоблению общества, которое в итоге вообще оказывается на грани катастрофы. Упомянем и нашумевший роман Олега Дивова «Выбраковка», где общество железной рукой очищается от насильников, садистов, убийц — и в результате спустя некоторое время погружается все в ту же бездну насилия. Средствами фэнтези феномен насилия исследовали киевские авторы Марина и Сергей Дяченко в романе «Шрам». Офицер Эгерт Солль, хладнокровно убивший на дуэли беззащитного противника, наказан закланием трусости и сам становится постоянным объектом насилия, издевательств, притом сохраняя способность оценивать происходящее. В итоге лекарство подействовало, Эгерт действительно изжил в себе жестокость. В романе превосходно показаны внутренние не только психологические, но и духовные корни насилия, но вопрос о массовом лекарстве так и остается открытым (что, разумеется, естественно).

Для российской фантастики вообще характерна гуманность. Направленность к добру если и не выглядит художественно убедительной, то хотя бы декларируется. Это можно объяснить российской ментальностью: при всех наших кровавостях и жестокостях тяга к «большому и светлому» не исчезает, хотя порой принимает весьма уродливые формы. И даже если автор пытается работать в иной этической системе координат, педалируя относительность добра и зла и внеположность их человеческой природе (к примеру, Ник Перумов, «Рождение мага»), все равно ему волей-неволей приходится разделять героев на «хороших» и «плохих», а иначе у читателя не сработает эффект сопереживания — вещь для профессионала недопустимая. Можно надеяться, что человечность нашей фантастики сохранится еще довольно долго — во всяком случае, пока не изменится общественный менталитет.

Что до эксплуатации имперской идеи, то помимо романов Вершинина «Сельва не любит чужих» и «Сельва умеет ждать» можно назвать роман Эдуарда Геворкяна «Времена негодяев», дилогию Сергея Лукьяненко «Императоры иллюзий», «Жаворонка» Андрея Столярова и «Сверхдержаву» Андрея Плеханова. При этом империя не обязательно мыслится как некий глобальный аппарат подавления, скорее это средство создать единое безопасное пространство, среду для спокойного существования и развития. Само по себе это вовсе не плохо, вопрос, как всегда, упирается в используемые средства и конечные цели².

Национальные проблемы, естественно, тоже отразились в фантастике — в форме конфликтов с внеземными расами, «чужими». И если авторы попы решают коллизию в черно-белых тонах, то серьезные писатели гораздо осторожнее. С одной стороны, общечеловеческое по определению больше и глубже

² Подробнее об имперской теме в российской фантастике см.: Славникова Ольга. Я люблю тебя, империя. — «Знамя», 2000, № 12; Ройфе Александр. Из тупика, или Империя наносит ответный удар. — «Если», 2000, № 3.

национального, и потому, казалось бы, всегда можно договориться, с другой же — иногда культурные различия столь глубоки, что контакт становится бедой для обеих сторон (такова, например, ситуация в романах «вейского цикла» Ю. Латыниной, где земляне, появившись на планете Вее, сами того не заметив, разрушили самобытную местную культуру, и в итоге возникла некая химера, от которой всем стало плохо; проблемы стран «третьего мира» прочитываются здесь невооруженным глазом). О том, как имперские интересы вступают в неразрешимый конфликт с интересами малых народов, пишет и Л. Вершинин в своих романах про «Сельву». Применительно к России и Западу — к проблеме взаимопонимания культур — см. нашумевший роман Вячеслава Рыбакова «На чужом пиру», где собственно действие перемежается с содержательными (хотя и весьма спорными) историософскими рассуждениями о судьбах «православной» и «западной» цивилизаций.

Наконец, не обойдем стороной и такую заметную особенность, как романтизация деятельности спецслужб. Конечно, так легче разработать острый, динамичный сюжет. Но есть и причина поглубже, и это — столь распространенный в нашем обществе страх перед настоящим. Массовый человек совершенно беззащитен и перед властью, и перед бандитами. Отсюда подспудное желание избавиться от страха, а простейшее средство — прислониться к чему-то большому и сильному, стать его частицей и тем самым обрести «крышу». Понятно, что в жизни это не всегда удается, и тогда человек «отрывается» в чтении. Невольно отождествляя себя с «сильным» героем (а умелый автор без труда добивается такого эффекта), он тем самым изживает свои страхи, получает некую моральную компенсацию. (На самом деле, конечно, страхи остаются и, видимо, даже усиливаются, становясь синдромами коллективного бессознательного.) Ну а коли есть спрос — будет и предложение. Оставляя в стороне нравственную оценку этой тенденции, констатируем, однако, ее наличие.

5

Мистическая тема в современной российской фантастике встречается довольно часто, причем не обязательно в жанре фэнтези. Порой маги, демоны и эзотерические конструкции вызывают лишь улыбку, но когда за дело берется сильный автор, получается удачный текст, который, независимо от внутрижанровой принадлежности, оказывается философской притчей. Таковы, к примеру, многие произведения Марины и Сергея Дяченко — «Скрут», «Бастард», «Ритуал». Магические декорации необходимы для создания внутренне достоверной модели, но сама модель используется для решения совершенно «земных» художественных задач. Так, несмотря на все магические реалии, роман «Скрут» — о способности прощать, о столкновении этических приоритетов в человеческой душе, «Бастард» — о переоценке жизненных ценностей, «Ритуал» — о превратностях любви. В принципе, это же самое можно было бы сказать и пользуясь вполне обыденным материалом, но авторам оказался ближе иной метод.

Но бывает, что мистическая составляющая имеет самостоятельное значение, она отражает духовные искания автора, попытку выйти за грань... Это можно сказать о большинстве романов Г. Л. Олди (то есть харьковчан Дмитрия Громова и Олега Ладыженского). Они фактически занимаются богоискательством, перебирая различные духовные традиции. Их главная тема — столкновение с иной, высшей реальностью, внутреннее самоопределение по отношению к сверхъестественному, попытка, перейдя грань, сохранить в себе человека. Таковы романы «Одиссей, сын Лаэрта», «Я возьму сам», «Пасынки восьмой заповеди», «Герой должен быть один».

Нередко у одного и того же автора в разных произведениях мистика выступает как технический прием, то как самостоятельный предмет исследования. Например, роман С. Лукьяненко «Ночной дозор», несмотря на сюжетную канву (наличие в человеческом обществе неких сверхъестественных существ,

«Иных»), сугубо посюсторонен. Вместо Дозоров могли бы действовать спецслужбы или масонские ложи — внутренний конфликт никак не изменился бы. Автор задается вопросом: что будет, если нечеловеческим могуществом пользуются вполне заурядные личности? Имеют ли они право вмешиваться в дела человечества? Насколько этические принципы могут сдерживать низменные желания? Но в дилогии «Искатели неба» у того же автора главной выступает проблема мистическая, вернее, религиозная. Изображен мир, где Христос так и не появился, вместо него приходил некий «Искупитель», который был не Богочеловеком, а всего лишь мощным чудотворцем. Он взшел не на Голгофу, а на Римский престол, он даровал человечеству некую особую магию, а потом исчез. И вот прошло две тысячи лет... Религия, подменившая собой христианство, на первый взгляд выглядит весьма схоже. Храмы, прихожане, священники, епископы, суточный круг богослужений. Но исчезла глубина, исчезла тайна, осталась лишь морализаторская доктрина, банальные «кнут и пряник». За благочестивое поведение обещано счастье на земле, за грехи — муки ада. Что характерно, рай вообще не упоминается, сатану выкинули за ненужностью, да и Бог фактически остается за кадром — его существование постулируется, но Ему даже не молятся, людям вполне хватает «Искупителя» и Сестры (под последней понимается Мария Магдалина, вернейшая сподвижница «Искупителя» в его земном триумфе). Автор неожиданно приходит, однако, к глубоко христианским выводам: человеческая мораль не может быть объяснена сама из себя, ее корни — выше, этика вырастает из мистики. Человеческая душа не способна удовлетвориться суррогатом, она стремится взлететь над черно-белой плоскостью банальностей, она стремится к настоящему Богу — но сама, своей лишь силой, достичь этого не может. Видимо, удачной параллелью к этой прозе послужило бы стихотворение Александра Галича «Псалом».

Но такого рода произведений сравнительно немного. Можно назвать Вячеслава Рыбакова («Трудно стать богом», «Человек напротив»), Владимира Хлумова («Старая дева Мария»), Елену Хаецкую («Мракобес»), Святослава Логинова («Колодезь»), Андрея Валентинова («Овернский клирик»). Независимо от занимаемой позиции они искренне стремятся постичь Тайну, понять, как она соприкасается с человеческой душой. Банальные решения их не удовлетворяют. Тут, однако, работает известный закон: чем глубже человек верует, тем тщательнее он контролирует буйство своей фантазии, боясь опознать, исказить Высшее, что ощутил в своей душе. И потому его художественная палитра неизбежно оскудевает, а значит, заведомо сужается круг возможных читательских реакций. И наоборот, яркость красок, неожиданные ассоциации, смелые, на грани кощунства, построения одновременно и усиливают выразительность текста, и лишают его глубины. Это противоречие экзистенциальное, его невозможно преодолеть. Тут уж каждый выбирает сам.

Каково же «исходное сырье» для создания мистических конструкций? Как правило, авторы обращаются к известным мифологическим системам, отсюда черпают образы и идеи. В основном это, конечно, язычество — тут и выбор колоссальный, и проще строить сюжет. Довольно часто используется скандинавская мифология (с нее, к примеру, начинал свой творческий путь Ник Перумов), еще чаще — славянская. Существует даже внутрицеховой термин — «славянская фэнтези». Как правило, ее художественный уровень довольно низок, добиться чего-то большего, нежели развлекательность, авторам здесь не удается, а попытки обосновать тезис «Россия — родина слонов» вызывают лишь грустную улыбку. Бывают более или менее приятные исключения — скажем, роман Марии Семенович «Волкодав». Правда, у Семенович изображенный мир хоть и напоминает дохристианскую Русь, но все-таки ей не идентичен, что само по себе действует как художественный прием: хотя школьных знаний читателя и достаточно для опознания исторических реалий, все же возникает эффект новизны.

Признанные мастера фэнтези Громов и Ладыженский (Г. Л. Олди) экспериментируют с разными мифологиями. За основу могут быть взяты (и существенно преобразованы) греческие мифы («Герой должен быть один», «Одиссей, сын Лаэрта»), китайские («Мессия очищает диск»), японские («Нопэрапон»), индийские («Черный Баламут»). Гораздо реже мистические построения отталкиваются от монотеистических религий. В романе Г. Л. Олди «Я возьму сам» используется исламская (и частично индо-иранская) традиция, Елену Хаецкую привлекает средневековый католицизм (роман «Мракобес», рассказ «Добрые люди и злой пес»).

Отдельно стоит упомянуть плод творческого содружества Г. Л. Олди, М. и С. Дяченко и А. Валентинова — роман «Рубеж». Здесь в качестве сырья выбрана мистика иудаизма, а конкретнее — Каббала. Бесспорно сильный в художественном отношении, роман получился весьма неоднозначным. С известной долей правоты его можно обвинить в кощунстве, а то и в сатанизме. В самом деле, здесь вывернуты наизнанку и христианская, и ортодоксальная иудейская традиции. Бог изображен устранившимся от созданного Им мира. А мир разделен границами-рубежами на параллельные пространства, и с Его ведома им управляют ангелы, причем их жестокость, гордыня и властолюбие сродни бевосским, в результате мир оказывается на грани катастрофы, и спасение может принести лишь Денница — сын земной женщины и ангела-диссидента Каф-Малаха, сторонника безграничной свободы... Таковы декорации — чудовищные для любого сколько-нибудь серьезно верующего человека. И тем не менее этический заряд книги — вполне гуманистичен, здесь есть бунт — но бунт не против добра, любви и милосердия, не против настоящего Бога, а против бездушной системы, являющейся очередной подменой Истины. В некотором смысле этот роман можно назвать доказательством от противного. Отвергая религиозные подмены, авторы не дают положительного ответа, но хотя бы обозначают планку, ниже которой нельзя опускаться в духовных поисках.

В целом же идеи, затрагиваемые большинством авторов «мистической фантастики», нельзя назвать ни особо свежими, ни особо глубокими. Это, во-первых, идея «равновесия» — равновесия добра и зла, отождествляемого с пресловутым китайским «инь — ян». Но в дальневосточных культурах, откуда у упомянутого равновесия «растут ноги», имелось в виду нечто иное — равновесие между хаосом и порядком, причем ни хаос не приравнивался к злу, ни порядок к добру. Между тем идея о том, что добро нуждается в своем противовесе, гуляет по страницам многих книг.

Далее, общим местом стало убеждение, будто наш мир является ареной борьбы между равновеликими сверхъестественными силами, причем люди для этих сил — не более чем пешки в шахматной партии. В романе Святослава Логинова «Многорукий бог Далайна» эта идея реализована очень убедительно. Предполагается, что обе равновеликие сущности достаточно безразличны к судьбе человечества, а потому единственный достойный выход — гордое противостояние и той, и другой стороне. Такие вот модернизированные зороастризм и манихейство вкупе с явным богоборческим пафосом.

Весьма распространена также идея о происхождении богов — они сотворены людской верой, они сильны, лишь питаются ею, и исчезают, лишившись постоянной подкормки. Иначе говоря — популярная в оккультизме идея «мыслеформ». Фактически подлинной (и единственной) сверхъестественной субстанцией здесь оказывается человеческое воображение, творящее богов и демонов из ничего. В качестве примеров можно вспомнить повесть Г. Л. Олди «Ожидающий на перекрестках», их же роман «Герой должен быть один», роман Святослава Логинова «Земные пути».

Ну и, разумеется, как же без солипсизма, без идеи иллюзорности всего бытия? В той или иной форме эта конструкция свойственна многим авторам. Иногда эта же тема пересекается с темой виртуальных миров, постулируется принципиальная невозможность отличить подлинный мир от созданного чьей-

то мечтой, то есть размывается само понятие реальности (впрочем, как и понятие иллюзии).

А вот идеология «New Age», некоей грядущей эры обновления всего и вся, не слишком увлекает российских фантастов. Видимо, в силу присущего большинству авторов пессимизма. Не просматривается на горизонте сил, способных качественно преобразовать человечество. Наоборот, заметны апокалиптические мотивы, в будущем ожидается не обновление, а тот или иной вариант загнивания (А. Громов, «Мягкая посадка», «Шаг влево, шаг вправо»; Э. Геворкян, «Времена негодяев»; Л. Вершинин, «Великий Сатанг»; Кир Булычев, «Любимец», «Показания Оли Н.»; Г. Л. Олди, А. Валентинов, «Армагеддон был вчера»). Фактически единственное заметное русскоязычное произведение, в котором отчетливо звучат идеи «New Age», — роман Песаха Амнуэля «Люди Кода», написанный в Израиле. С некоторой натяжкой нью-эйджерские мотивы можно найти в творчестве Василия Звягинцева, в его многотомной эпопее «Одиссей покидает Итаку». Отметим и роман Владимира Хлумова «Прелесть», откровенно полемизирующий с идеологией «New Age»³. Воцарившийся «новый человек» (читай: антихрист) показан с горькой иронией, грядущая эра «качественного обновления» на поверку оказывается очередным тоталитарным кошмаром — который в итоге исчезает, «яко тает воск от лица огня».

Отдельного разговора заслуживает тема церкви в современной русскоязычной фантастике. Здесь преобладает убеждение, что вера и религия — вещи совершенно разные и редко совпадающие, что там, где начинается религия, кончаются духовные поиски, кончается свобода и начинается фанатизм. Стереотипы, возникшие еще в дореволюционные времена и удобренные десятилетиями государственного атеизма, ныне цветут буйным цветом. Частично сказывается и остаточный диссидентский пафос, когда воспитанные в информационном вакууме люди порой стреляли по религии, целясь при этом в коммунистическую идеологию. Религия вообще и церковь в частности служили для многих моделью тоталитарной системы. И вот тоталитаризм кончился, а мысленная связь осталась. Оттого и продолжают работать ассоциации «церковь — партия», «инквизиция — КГБ», «еретик — гуманист». Кроме того, сказался тут и облом постперестроечных надежд, когда в начале 90-х многие ринулись в церковь, желая обрести новую точку опоры и мгновенное решение всяческих духовных вопросов, а все оказалось куда сложнее — и поток отхлынул, надежда сменилась обидой. Немудрено, что все эти настроения отразились и в литературе, а в частности, и в фантастике.

В общем-то имеются произведения на любой вкус — от явного сатанизма, откровенной ненависти к христианству (С. Логинов, «Живые души») до весьма благожелательного и вдумчивого отношения к церкви (А. Валентинов, «Небеса ликуют»; Е. Хаецкая, «Мракобес»; В. Крапивин, «Лоцман», «Помоги мне в пути»). Церковная тема тоже используется и как прием, и в качестве самостоятельного предмета. В первом случае обычно выходят карикатуры, причем бьющие не столько по религии, сколько по современному обществу с его пороками (Е. Лукин, «Там, за Ахероном», «Алая аура протопарторга»). В целом же серьезного интереса к религии и церкви (да и просто знания предмета) не много.

Отдельно стоит упомянуть два романа Игоря Экономцева (впоследствии — игумена Иоанна) — «Записки провинциального священника» и «Тайна восьмого дня». Здесь проблемы церкви показаны с точки зрения убежденного христианина (хотя в неоднородной церковной среде оба романа вызвали немалые нарекания). По жанру это именно фантастика, и если уж заниматься классификацией, то ближе всего романы Экономцева к мистическому триллеру. Однако в литературном отношении тексты слабы. Иметь *что* сказать — еще не означает *уметь* сказать.

³ 1998 года, до сих пор не издавался, электронная версия находится по адресу: <http://xgray.sai.msu.ru/~lipunov/text/khlum.html>

Подводя итог «мистической линии», замечу: как правило, интересующие авторов проблемы целиком лежат в сфере этики. Потустороннее используется для исследования человеческих взаимоотношений, социальных коллизий. Мистика, напрямую не завязанная на этику (жизнь вечная, красота как отблеск Божественного разума, творчество как проявление образа Божия в человеке, ограниченность тварного бытия и переживание этой ограниченности), не получила у российских фантастов сколько-нибудь серьезной разработки. Если подобные темы порой и возникают, то лишь в качестве побочных отступлений.

6

Но российская фантастика живет не только глобальными мировоззренческими вопросами. Интересуют ее и более «земные» константы бытия: семейная жизнь, любовь, дружба, дети, поиски пресловутого смысла жизни. Собственно, все вышеупомянутое присутствует в любом сколько-нибудь заметном произведении, ведь социальные и мистические коллизии не в вакууме случаются, и если не прописать правдоподобный фон, то читатель просто-напросто не поверит. Однако бывает и с точностью до наоборот — социальное и мистическое служит фоном для, казалось бы, обыденных реалий.

Тут можно упомянуть замечательный роман о любви Вячеслава Рыбакова — «Очаг на башне», где вовсе не биоспектралистика, а именно история любви Симагина и Аси является главной линией. Фактически о том же роман Марины и Сергея Дяченко «Шрам» (и их повесть «Ритуал»). Можно вспомнить горькую, трагическую повесть Александра Щеголева «Три кита его земли», где герою последовательно приходится разочароваться в своей работе, в друзьях, в любви. А смысл жизни, который до гробовой доски остается для человека не дающей покоя загадкой? Об этом роман С. Витицкого «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». Псевдоним автора давно уже не представляет секрета, роман написан Борисом Стругацким. О тех же мучительных попытках героя понять, зачем он, собственно, живет, роман Евгения Лукина «Разбойничья злая луна». Владислав Крапивин, как и раньше, пишет о нелегких проблемах детства и отрочества, вновь и вновь подтверждая свой же тезис, что «детство — это целая вселенная». Модную ныне тему феминизма (да и вообще разрушения традиционного семейного уклада) затрагивают Далия Трускиновская (роман «Люс-а-Гард») и Александр Громов («Тысяча и один день»).

Конечно, никто из перечисленных авторов не открыл ничего принципиально нового, не прорвался в какие-то неведомые ранее измерения мысли и духа. Однако своеобразный, нестандартный взгляд на довольно заезженные вещи сам по себе ценен в литературе. А фантастический антураж, иначе говоря, смена привычных декораций, иногда весьма способствует нестандартности взгляда.

7

Скажем прямо: большая часть лежащей на прилавках фантастики является всего лишь коммерческим продуктом.

Увы, в последние годы растет «энтропия качества». Откровенно бездарных, графоманских текстов становится все меньше — господствует нечто среднее: относительно грамотный язык, неплохо закрученный сюжет, умение вышибить из читателя слезу или хотя бы поднять ему настроение. Этого достаточно с точки зрения издательства, которые ориентируются на среднестатистического читателя — не идиота и не гения, не «нового русского» и не бомжа. И этот пусайт и не всегда артикулированный социальный заказ дурно влияет на авторов. Даже на тех, кто действительно талантлив, дают обязательства и сроки. Сейчас автору, не имеющему дополнительных доходов, приходится

писать как минимум два романа в год, чтобы заработать на хлеб. А при таких темпах неизбежна халтура и, что хуже всего, «замыливается» глаз.

Однако наивно было бы сводить все к одним лишь внешним обстоятельствам. Ведь эти обстоятельства, во-первых, не специфичны для фантастики, а во-вторых, истинный талант выживает и в более трудных условиях. Фиксируясь на «издательском диктате», легко не заметить более тонкие причины.

Возможно, многим дурную услугу оказывает господствующий миф, будто любую сколь угодно сложную философскую и психологическую идею можно реализовать с помощью острого, динамичного сюжета. Более того, прекрасно отработанный сюжет, мастерски выполненные декорации могут создать впечатление удачи — и скрыть слабость мысли, ее банальность, а иногда и просто отсутствие. Но отказаться от ненужных, подчас авантюрных наворотов непросто — издатели не поймут. Возможно, именно поэтому талантливейший автор Владимир Хлумов печатается столь редко и столь незаметно для читающей публики.

Другая причина многих неудач — цеховая замкнутость фантастов, слабое знание литературы вне стен «гетто», да подчас и вообще весьма средний культурный уровень, в том числе и способных авторов. В результате кто-то «изобретает велосипед», кто-то демонстрирует свое невежество, кто-то скользит по поверхности темы, и не подозревая, какая там скрывается глубина. Что вариться в собственном соку плохо, знают все. И зная, частенько продолжают вариться.

Порой, чувствуя рыхлость своей концепции, автор пытается подкрепить ее богатствами мировой культуры — и начинаются постмодернистские игры, текст перегружен аллюзиями, скрытыми цитатами, в речь персонажей впрыскивается щедрая доза мировой философии. Но искусственными подпорками все равно не удержать того, что изначально обречено развалиться. Имитировать культуру нельзя — надо в ней жить, ею дышать, и для этого вовсе не обязательно превращать текст в кроссворд. Есть, конечно, читатели, более всего любящие разгадывать подобные кроссворды, но как быть с остальными?

Однако, несмотря на вышеперечисленные профессиональные болезни, есть в фантастике и сильные писатели, которые по мастерству и по глубине мысли могут на равных играть на поле «большой» литературы. Собственно, сами они и не разделяют единое литературное пространство на условные зоны — за них это делают издатели и критики.

К примеру, замечательный стилист, мастер тонкой иронии Евгений Лукин способен средствами языка сказать не меньше, чем сюжетными поворотами.

Сергею Лукьяненко удается удерживать оптимистический настрой даже в тяжелых, трагических сюжетах, и не в последнюю очередь — благодаря юмору, который, не являясь самодостаточным, позволяет читателю сопереживать не отчаиваясь.

Поэтический язык Владислава Крапивина бывает подчас глубже и сильнее непосредственных сюжетных перипетий, эффект сопереживания и эстетическое поле текста возникают благодаря отточенной авторской стилистике. Не случайно, что многие подражатели Крапивина, копируя его не столь уж разнообразные сюжетные схемы, так и не сумели добиться ничего толкового. Идеи и сюжеты можно дублировать, поэзию — никогда.

Отличные стилисты — Леонид Кудрявцев, Эдуард Геворкян (в романе «Темная гора» он, к примеру, почти половину текста написал слегка модифицированным гекзаметром, что создало необходимый настрой в «одиссеевых» главах). Юлия Латынина мастерски использует стилистику средневековой китайской прозы в своих фантастических романах, и это придает тексту неожиданный объем, содействует той ироничной отстраненности, которая отличает латынинские книги.

Вообще юмор в современной российской фантастике присущ любому сколько-нибудь заметному автору. Не всегда удается найти меру, кто-то порой

переигрывает — но сплошь мрачные, ужасающе серьезные тексты получаются как раз у аутсайдеров.

Постмодернистские приемы не сказать чтобы были широко распространены. Фактически целиком постмодернистские романы получились лишь у Бориса Штерна («Эфиоп») и у Владимира Хлумова («Мастер дымных колец», отчасти «Прелесть»). Удачные *элементы* постмодернизма нередко встречаются у Эдуарда Геворкяна, Льва Вершинина, Андрея Валентинова, Г. Л. Олди. То, что модный сейчас в «мейнстриме» постмодернизм в российской фантастике не сделался массовой эпидемией, — пожалуй, отрадный факт.

8

Говоря о перспективах развития жанра, заметим, что его границы постоянно размываются. Возникает все больше произведений, которые с равным успехом могут быть зачислены и в разряд фантастики, и в «мейнстрим». Фантастический элемент в них опирается на серьезную культурную традицию и служит не только отправной точкой авторской мысли, но и задает ее тональность. Тут можно упомянуть и нашумевший роман Татьяны Толстой «Кысь», и «Книгу писем» Владимира Хлумова, и прозу Пелевина, и «Ноль часов» Михаила Веллера. На противоположном краю спектра появляются тексты, более смахивающие на инструкции к ролевым или компьютерным играм. К литературе они не имеют отношения даже не в силу своей художественной беспомощности (иногда не столь уж очевидной), а прежде всего потому, что фатально вторичны — это лишь приложения к той или иной игре, предназначенные не столько читателям, сколько фанатам-«геймерам». Впрочем, вернемся все-таки к литературе. Здесь можно выделить некоторые тенденции.

Удельный вес произведений, выполненных в жанре фэнтези, все время возрастает (что само по себе является индикатором читательских пристрастий). При этом качество текстов усредняется, и этому еще способствует «сериальность», когда возникают бесчисленные сиквелы, все более и более серые. Люди устали от сложности и неоднозначности нынешней жизни, от размытости этических ориентиров. И миры фэнтези, где добро и зло чаще всего поляризованы, служат отдушиной. Люди готовы платить за пусть вымышленное, но все же убежище. А значит, начинается вал, конвейерное производство. Трудно сказать, к чему это приведет в будущем. Вряд ли, однако, процент «фэнтези» приблизится к ста.

Интерес к «твердой» НФ, где исходное фантастическое допущение (лежащее в рамках общепринятых мировоззренческих представлений) является стартовой точкой для развития и мысли, и сюжета, вновь начинает возрастать, хотя, конечно, позиций 60 — 70-х годов не вернуть никогда — та эпоха кончилась. Разве что человечество когда-нибудь вновь свяжет с научным прогрессом свои самые светлые чаяния, тогда и science fiction их отразит. Но такое предположение — само по себе из области фантастики, и скорее всего — ненаучной.

Вполне возможно ослабление интереса к социальной теме. Сказано уже было едва ли не все, что можно, а свет в конце туннеля никто до сих пор не показал. Тем не менее ищущий да обрящет, и в будущем появление в фантастике Большой Утопии («большой» еще и в смысле художественной силы) не исключено. Многие полагают, что такая утопия будет религиозной (ибо рациональное мышление пока ничем порадовать не может). Впрочем, если она и будет религиозной, то вряд ли христианской в силу нарастающих ожиданий явления антихриста и конца земной истории. Но вот окулально окрашенной эта грядущая Большая Утопия вполне может быть. Возможно, в духе «Живой этики», возможно, в духе «Розы Мира» Даниила Андреева.

...Еще одна весьма серьезная примета — постепенное отмирание малых форм: рассказов и повестей. Пишутся все больше романы, и толстые — как

минимум листов на пятнадцать. Объясняется это очень просто: издательский диктат. Считается, что покупатель неохотно берет сборники рассказов, да и повестями брезгует, ему нужен роман, такой, чтобы хватило на неделю. Трудно судить, насколько верен этот подход экономически (да вряд ли и существует объективная методика изучения читательского спроса), но факт остается фактом: авторы делают ставку на романы, это их хлеб. На малую форму у большинства уже не остается ни сил, ни времени. Проблему эту видят многие, пытаются по возможности решать — издательство «АСТ» выпустило сборники рассказов и повестей «Фантастика-2000», «Фантастика-2001» и собирается издавать такие сборники ежегодно, «Центрполиграф» начал выпускать альманах «Наша фантастика», регулярно печатает рассказы журнал «Если». Но все это капля в море. Пока не изменится издательская политика — малые формы будут влачить жалкое существование.

Очень сильно вредит российской фантастике едва ли не полное отсутствие критики. Конечно, есть люди, пытающиеся заполнить эту нишу: Евгений Харитонов, Александр Ройфе, Роман Арбитман, Сергей Переслегин, Сергей Бережной. Но, во-первых, эти критики сосредоточены почти исключительно на жанрах фантастики, а это означает отсутствие общелитературного контекста, необходимого для качественного исследования. Во-вторых, до анализа *литературных* качеств книги дело доходит далеко не всегда. Общий дух «местечковости» здесь, увы, присутствует. А критики «большой» литературы, мягко говоря, не балуют фантастику своим вниманием — стенки «гетто» все еще прочны. Статьи Ольги Славниковой, Аллы Марченко, Светланы Василенко — это лишь исключения.

Выход здесь один: стенку надо ломать с обеих сторон.



ЛАРИСА МИЛЛЕР



ЧАЕПИТИЕ АНГЕЛОВ

Памяти Бориса Рыжего.

«**К**ак я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, / Крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!» (Владимир Соколов). Желание вполне понятное, но трудно выполнимое. Выскочить из слов — задача столь же непосильная, как и воплотиться в слово. Жизнь — борьба. А жизнь поэта — еще и борьба за слово, *со* словом и *против* него. Кажется бы, достаточно и первых двух этапов. Счастливо найденное слово вполне может стать самоцелью. Тем более после изматывающей возни с ним, которую наглядно продемонстрировала Ирина Токмакова в детском стихотворении «Невпопад»:

На помощь! В большой водопад
Упал молодой леопад!
Ах нет! Молодой леопард
Свалился в большой водопад.
Что делать — опять невпопад.
Держись, дорогой леопад,
Верней, дорогой леопард!
Опять не выходит впопад.

И все же стремление освободить «леопарда», выпустить его из словесной западни на волю — неистребимо. Но возможно ли это?

Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит —
четырнацатый, нет, девятый, двадцать пятый.

Однако целый мир переменялся вдруг,
а я все тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.

Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома добреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду — прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

Свершилось! Строчки забыли, что они слова, и стали снегом, бородачом, лопатой, розовым трамваем, бегущим не по бумаге, а по воздуху. Ничего бумажного нет в этих стихах. Всё можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть.

Поэт ловил и поймал мир в свои сети. Поймал, чтоб снова отпустить на волю (не случайно «воля» и «улов» близки по звучанию). Но отпустить иным, *преобразенным* — таким, где трамвай летит по воздуху, а на кухне сидят за чаем два ангела. Не попади эта кухня в плен к поэту, не было бы и ангелов.

Таков эффект этого странного плена. Странного — потому что не вполне ясно, кто у кого в плену: поэт у мира, мир у поэта или они — друг у друга. Во всяком случае, плененный поэтом мир выходит на свободу еще более пленительным и ярким. Вопрос в том, как ему, то есть миру, удастся вырваться из плена. Вернее, как удастся поэту выпустить его. А еще конкретней — как сие удалось Борису Рыжему, автору приведенного выше стихотворения.

Возможно, помогла не слишком плотная словесная кладка, оставленные между словами щели. А может быть, легкость перехода из одного регистра в другой, из высокого в низкий. Тут тебе и киношка, и телефон, и матерок, и невесть откуда появившиеся ангелы. (Помните — «побряцаю ключами»? Уж не от рая ли?) Но и небожители заняты вполне земным делом — чаепитием. Ведь жизнь именно так и идет — на всех этажах сразу. Или «виновата» интонация — одновременно элегичная и будничная, насмешливая и романтическая.

Говоря об интонации, нельзя не вспомнить Чичибабина с его особой чичибабинской (другого эпитета не подберу) интонацией, благодаря которой его лучшие стихи никогда не будут просто словами.

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное, как жердь.

.....

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

Скорей всего останутся именно те стихи, которые забыли, что они — стихи. «Усталость», побывав в словесном плену поэта, вышла из него не только чичибабинской, но всечеловеческой, вековой. Это уже не слова. Это вселенский вздох.

Трудно в точности определить, почему одни стихи — пусть виртуозные, блестящие — остаются словами, а другие — хоть и не столь совершенные — не помнят, что они слова. У одного и того же поэта можно найти и то, и другое.

Кто ранит нас? Кто наливной ранет
надкусит в августе, под солнцем темно-алым?
Как будто выговор, — нет, заговор, — о нет,
там тот же корень, но с иным началом.
Там те же семечки, и — только не криви
душой, молитву в страхе повторяя.
Есть бывший сад. Есть дерево любви.
Архангел есть перед дверями рая
с распахнутыми крыльями, с мечом —
стальным, горящим, обоюдоострым.
Есть мир, где возвращенье ни при чем,
где свет и тьма подобно сводным сестрам...

(Бахыт Кенжеев)

Слова, слова, слова, которые плохи лишь тем, что слишком хороши, слишком благозвучны и нарочито аллитерированы, слишком тесно пригнаны друг к другу — ни щелочки, ни просвета. Они как гладкая стена, где не за что зацепиться. А ведь тот же поэт сказал: «Сквозь внезапную трещину в разговоре — / вспышка света...» Нет здесь этой трещины. А в других его стихах — есть: «...это личность по имени „я” / в теплых, вязких пластах бытия / с чемоданом стоит у вокзала / и лепечет, что времени мало, / нет билета — а поезд вот-вот / тронется и уйдет, и уйдет...»

Как это ни парадоксально, но слова, оставшиеся словами, теряют дар речи. Онемевшие слова — проклятие поэта. И нет никаких инструкций для желающих избежать подобной немоты. Есть только счастливые примеры, на которых все равно ничему не научишься:

Гляжу на грубые ремесла,
Но знаю твердо: мы в раю...
Простой рыбак бросает весла
И ржавый якорь на скамью.

Потом с товарищем толкает
Ладью тяжелую с песков
И против солнца уплывает
Далёко на вечерний лов.

.....
Тогда встает в дали далекой
Розовоперое крыло.
Ты скажешь: ангел там высокий
Ступил на воды тяжело.

И неспешными стопами
Другие подошли к нему,
Шатая плавными крылами
Морскую дымчатую тьму.

Клубятся облака густые,
Дозором ангелы встают, —
И кто поверит, что простые
Там сети и ладьи плывут?

(Вл. Ходасевич)

Удачный лов. Удачный потому, что все пойманное выпущено на волю через огромные отверстия в сетях (одна строка со множеством зияющих гласных чего стоит: «Шатая плавными крылами»).

В который раз — ангел, в который раз — рай. Но поди пойми, почему у одного ангела крылья живые, а у другого — бумажные. Почему в одном случае, когда мне говорят: «Но знаю твердо: мы в раю», — верю на слово, а в другом...

И МОЙ ПУШКИН

О Пушкине — или никак, или с юмором. Никак — потому что о нем все сказано. С юмором — потому что Пушкин — «веселое имя». С Пушкиным у меня отношения очень давние и очень личные (как, впрочем, у всех). Начались они со сказок, которые мне с выражением читала бабушка. Ее культурно-просветительская деятельность увенчалась успехом. Когда она решила научить меня, малолетку, плавать и, обхватив поперек живота, затащила в море, я принялась выкрикивать единственные ругательства, которые знала: «Дурачина ты, простофиля!» Бабушка могла быть довольна. Все раннее детство я общалась с окружающим миром с помощью Пушкина. «Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло», — бросила я в лицо обидевшей меня подружке. Однажды Пушкин сильно меня подвел. Случилось это в первом или во втором классе. Мы написали диктант, за который я получила четыре. Что это за „окиян” такой? — спросила меня учительница, раздавая тетради с диктантом. — Где ты взяла такое написание?» — «У Пушкина, — ответила я. — „...И пусти-ли в Окиян — так велел-де царь Салтан”». Я была уверена, что она устыдится и поставит мне пять, но этого не случилось.

Теперь о связи поколений. Знакомство моих детей с Пушкиным, как и мое, началось со сказок. Младший сын чуть ли не каждый день просил почитать ему «Сказку о дохлой царевне». Но, услышав однажды «Полтаву», потерял покой, требовал, чтобы ему читали поэму снова и снова и в конце концов выучил огромные куски наизусть, доказательством чему служит сохранившаяся с тех времен кассета, на которой он, трехлетний и картавящий на «р», с упоением декламирует: «...Выходит Петр. Его глаза / Сияют. Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен, / Он весь, как Божия гроза».

И еще о связи поколений. До войны мой отец Миша Миллер работал в отделе писем «Литературной газеты». Он получал уйму графоманской продук-

ции, на которую принято было как-то реагировать. Отцу требовались помощники. Одним из них стал Даниил Семенович Данин — в ту пору студент, остро нуждающийся в заработке (отец его был репрессирован). Каждый раз, когда Данин приходил за очередной порцией посланий и приносил отрецензированные стихи, Миша Миллер спрашивал его: «Ну как, не обнаружился ли новый Пушкин?» — «Пока нет», — отвечал Данин. Но однажды в ответ на традиционно-шутливый вопрос он ответил веселым «обнаружился!». Слово самому Даниилу Данину (из письма Данина ко мне, май 1983 года):

«Летом 38-го в редакцию стали приходиться юмористически безграмотные и столь же патетические стихи с припиленными к тетрадным листкам фотографиями автора. Он подписывался „Я. Пушкин“. Такие же стихи с теми же фотопортретами он присылал в „Знамя“ и „Комсомольскую правду“, где они попадали порою тоже ко мне (поскольку я и там занимался ремеслом „литконсультанта“ в силу тех же обстоятельств). С маленьких снимков глядело лицо бритоголового дебила, на розыгрыши неспособного. Стихов Пушкина я всерьез не разбираю, а только прохаживался по орфографии и нелепой рифмовке. Все звучало вполне безобидно, но, конечно, обидно. И вот стали приходиться от обиженного не жалобы, а угрозы разоблачить меня как засевшего там-то и там-то врага народа. В ту пору это звучало совсем не смешно. В конце концов Миша решил послать многоадресному жалобщику официальное уведомление, что консультант такой-то от работы с начинающими отстранен. Пришло ликующее письмо от Я. Пушкина — кажется, последнее... Бедняга признался, что он, наделенный судьбою фамилией Пушкин, стал придумывать стихи год назад, в 37-м, в честь гибели своего однофамильца, дабы появился на свет наш советский Пушкин! Миша спрашивал меня, не чувствую ли я себя Дантесом... В общем, история анекдотическая и незабвенная. Но дежурная фраза Миши — „не обнаружился ли новый Пушкин?“ — приобрела не очень веселый смысл».

В нашем во всех отношениях уникальном отечестве даже «веселое имя Пушкин» способно приобрести невеселый смысл.

Несколько выводов и пожеланий.

Желательно после всех этих лет — юбилейных и не юбилейных, застойных и перестроечных, реакционных и прогрессивных — сохранить такую же свежесть восприятия, какая была у моего трехлетнего ребенка, самозабвенно читающего наизусть «Полтаву» или «Гусара», которого он тоже очень любил. И да не помешают этому высокие технологии и надвигающаяся компьютеризация всей страны!

Стоит всегда помнить, что многие нынешние причитания стары как мир. И во времена Пушкина сетовали на потерю интереса к поэзии. Вот и сам Пушкин в заметке 1830 года о Баратынском писал: «Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни».

Хорошо бы держать в уме, что и в пушкинскую эпоху раздавались стоны по поводу меркантильного века, застоя в поэзии, отсутствия ярких имен и произведений. И это внушает надежду на то, что не все потеряно, и если не новый Пушкин (да и нужен ли новый Пушкин?), то нечто новое и значительное способно существовать и в наше меркантильное, или, как принято нынче говорить, прагматичное время. Да и так ли уж он плох, этот век, если и сегодня можно «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; / По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивяся божественным природою красотам, / И пред созданными искусств и вдохновенья / Трепеща радостно в восторгах умиленья! — Вот счастье! Вот права...». Вопрос лишь в том, хотим ли мы воспользоваться ими.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ



ТО, ВО ИМЯ ЧЕГО

Когда-то давно один начинающий автор обсуждался в Москве, в некоем литературном собрании. Компания подобралась колючая. После чтения посыпались вопросы, часто жесткие. Он, как мог, отбивался. Но был удар, который послал его в нокаут. Этот неотразимый вопрос гласил:

— Во имя чего вы пишете?

В ту пору новичок затруднился бы с ответом и на куда более легкое: «Как вы пишете?» — или: «О чем?» А это «во имя чего?» оказалось просто сокрушительным!

Конечно, честолюбие — вождь юности. Вместе с тем ответить: «Для славы» — было бы и смешно, и неполно. Смешно, потому что вся его тогдашняя «слава» растворялась в кругу нескольких друзей. А не полно, потому что он предчувствовал в своем тяготении к слову нечто иное, нежели только желание стать знаменитым.

Еще нелепей прозвучал бы ответ: «Ради денег». Долгое время он, нигде не печатавшийся, вообще не имел представления о том, сколько платят писателям.

Так во имя чего же, на самом деле?!

Неизвестно.

«Рефереры» с загипсованной рукой на перевязи молча отсчитал свои десять счетов.

Нокаутированный не поднялся.

С тех пор он даже в мыслях избегал вопроса, так его подкосившего. Назвал подобную постановку «некорректной» и больше к ней не возвращался. «Я пишу во имя ни-че-го! — сказал он себе. — Просто пишу — и все, не задавая лишних вопросами».

Однако проблема оставалась...

Ныне, по прошествии лет, ему кажутся уже доступными разумению поиски тех оснований, на которых безотчетно строился его литературный мир, отношение к творчеству, может быть, не только его собственные поиски обоснованных ответов на «вопрос-нокаут». Теперь появилась возможность суммировать накопленный опыт и развернуто высказаться по теме: *во имя чего писатель берется за перо?*

Простое решение сводится к следующему: запись позволяет уяснить себе то, что вне пера и бумаги остается непонятным.

Рефлексия — естественная для человека реакция на жизнь: хочется разобраться в своих мыслях, ощущениях, оценках. Внутренне сосредоточиться. А как? Надо перевести их «из воздуха» в более осязаемый мир слов на бумаге (или экране). *Записать, чтобы уяснить.*

Кроме элементарного осознания дисциплина письменной речи помогает проникнуть в суть предмета: «довести до ума» первоначальную догадку; отыскать неизвестное в известном; создать гармонический строй в смысловой путанице, звуковом и ритмическом хаосе; осветлить стилистику; снова — в воображении — пережить то, что однажды взволновало тебя наяву, но пережить не смятенно, повинувшись нахлынувшей душевной волне, а подготовленно,

Смирнов Алексей Евгеньевич — поэт, эссеист. Родился в 1946 году. Окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Как литератор начал публиковаться в 1972 году. Автор девяти книг, в том числе — трех для детей. Постоянный автор «Нового мира».

плодотворно, артистично, открывая нечто недоступное без художественного постижения; нечто необычайное; не лежащее на поверхности здравого смысла; проявляющее себя ассоциативно, косвенно, возникающее из подтекста. То есть: *уяснить, чтобы открыть.*

Безбрежная бездна понятий и ощущений подобна морской пучине. Погружающемуся в нее она дарит объем. И тогда эмпирик, плескавшийся на двухмерной зыби расхожих истин, с удивлением, страхом, восторгом обнаруживает вокруг другой мир, словно впервые попадает на морское дно и замирает, пораженный красотой того, что ему предстало. Он испытывает наслаждение, обозревая подводное царство. Ему суждено пережить счастье глубинного созерцания. *Открыть, чтобы насладиться красотой.*

Природа поэзии такова, что и светлое и темное, и праздничное и будничное она способна переводить в совершенно иную категорию — в категорию прекрасного. Кажется, что творчески включенное сознание, словно «волшебный фонарь», преобразует питающую его энергию жизни в духовное свечение. Душа человеческая, замороченная мирскими страстями, сохраняет в себе неизбывную тягу к прекрасному и готова ради этого проходить не только через очищение радостью, но и сквозь просветление страданием; просветление, которое несет трагическое искусство. Так гармония форм — эстетическое начало — сходится с началом душетворящим, этическим; красота созерцаемая — с красотой незримой, создавая качество, известное нам под именем: прекрасное. *Насладиться красотой, чтобы с ней испытать чувство прекрасного.*

Помимо этих обоснований существует и другого рода причина, заставляющая братья за перо. Она вызвана желанием материализовать время, остановить его, повернуть вспять. Это — мотив памяти. Трудно смириться с тем, что любимые нами люди уйдут навсегда, что трава забвения запутает их земные тропы. Померкнут лица, рассеются голоса, сотрутся следы; обветшают дорогие им вещи, рассыплется утварь; разрушатся дома, в которых они жили; изменятся сами пейзажи, окружавшие их когда-то... Все это будет происходить исподволь, почти незаметно. Сперва утратятся детали былого, а с ними резкость памяти. Останется общий вид. Потом — расплывчатая приблизительность вида. Но исказится и она. Поменяется масштаб. Все уменьшится. Исчезнет искаженное... Протест против такого опустошения, невыносимость его возвращают нас в прошлое. Удерживать время можно по-разному. В том числе в слове. Значит, *записать, чтобы сохранить.* При этом историку важно сохранить объективно, художнику важно *сохранить по-своему.* Исследователь чтит беспристрастность в обращении к прошлому, тогда как нелюбимая искусство складывается из суммы личных предпочтений. Наука зиждется на объективностях, искусство состоит из правд. Моя правда там, где мои испытания, мой опыт. Пускай найдется кто-то иной со своим опытом, который скажет: «Все это совсем не то, во имя чего». Или: «То, да не то». Но его правда не будет моей. Сохранить по-своему означает пропустить через собственный опыт, через свое сердце.

Воскрешая былое, художник вольно или невольно задумывается о драме человеческого бытия, состоящей в том, что относительная бесконечность жизни в целом безучастна к предельности каждой индивидуальной судьбы. Как продолжить свое земное пребывание; раздвинуть траурную рамку отпущенного тебе срока; войти в число тех, кого помнят? Это глубоко персональный мотив. Постепенно крепнет вера, что правда жизни, сохраненная тобой по-своему, сбережет и тебя самого как частицу былого. Речь идет не о «бессмертии» хотя бы и в границах той культурной эпохи, которой ты принадлежишь. Речь о продлении — пусть совсем ненадолго — твоего духовного присутствия в ней. *Сохранить по-своему, чтобы продлить себя.*

Но это не все.

Творчество есть узаконенная культурой легальная возможность выплеснуть накопившуюся энергию духа — дать волю воображению, мысли, страсти. Миг такого выплеска всегда неожидан, всегда непреднамерен. Его нельзя вызвать усилием воли, симитировать, организовать. Рожденная и плененная тобой мысль, заточенное чувство могут томиться в тебе многие годы, пока не потре-

буют высвобождения. И ничто тогда не преградит им дороги. Они все равно вырвутся наружу, распрошуются с тобой, но и ты освободишься от них, потому что невысказанность мучительна. *Записать, чтобы освободиться.* Облегчить чувство вины перед ушедшими и живущими, принести им свое раскаянье, исповедаться без посредников, одному, напрямую — в слове. Именно так: *записать, чтобы исповедаться.*

Принадлежа своему времени, человек переживает перипетии не только собственной, но и общей судьбы. Он не в состоянии вполне благоденствовать среди окружающих его несчастий; радоваться личным удачам, не обращая внимания на горести вокруг. Врожденная тяга к общественному равновесию, именуемая справедливостью, в стране разлаженной, неустроенной неизбежно побуждает художника на гражданский отклик. Вступаясь за униженных, он стремится восстановить нарушенное равновесие. Он встает на сторону гонимых, чтобы вернуть сбитый баланс человеческих прав. Здесь причина вечного противостояния поэта и власти, если, по чувству поэта, власть несправедлива. В этом случае гражданственность не столько слагательница державных гимнов, сколько свидетельница народного неблагополучия. Гармоничное общество вовремя устраняет причины, которые востребовали бы искусство социального протеста. Государство дисгармоничное пытается устранить не причины, а диагностирующего их художника, для которого *записать означает помочь более человечному устроению жизни.*

Когда таких сил он в себе не находит, писательство служит ему индивидуальной опорой, защитой от внешних невзгод, дает не иллюзию свободы, подхлестнутую алкоголем или высоким положением в обществе, а подлинную внутреннюю свободу, независимую от оказий допингов и службы, обстоятельств места и времени.

Разброд мыслей, душевные тревоги, ощущение своей беспомощности перед натиском стороннего мира; присущая поэту печаль, идущая от невыразимого очарования природы, оттого, что ни одно самое глубокое сознание, ни одна самая восприимчивая душа, никакой гений никогда не смогут выявить во всей полноте прекрасное в ней, ровно так же, как никто не властен воплотить Божественную Комедию жизни во всем ее ничтожестве и блеске, — вся эта невидимая работа рассеяния лишь предшествует фокусировке творческого луча в одну точку, когда что-то зацепит тебя по-настоящему, пробьется сквозь хаос разрозненных впечатлений и вспыхнет в тебе... Миг этот непередаваем. Душа разгорается. И вот — ты как будто объят изнутри мощным и ровным пламенем. Словно тугая, гудящая тяга наполняет тебя своей упругой и жаркой силою. И все тогда идет в дело, все на пользу: неприкаянные мысли, не находившие выражения чувства, обрывки воспоминаний, куски фраз, никому, казалось, не нужные слова... — все сгорается, все сгорает в этом разыгравшемся полуме, излучая тепло и свет. К тебе возвращаются точность, воля, уверенность, защищенность, покой. Ты обретаешь себя. А тем, кто не способен на это, ты можешь подать знак, разжечь для них свой огонь. Разве этого мало? Разве это не то, во имя чего?... *Пишу, чтобы обрести себя.*

Подать знак... В той вселенной, что названа миром духа, всякое творение — сигнал, идущий от сердца к сердцу. Одни не улавливают его; другие отторгают; третьи принимают машинально, почти безразлично... Но есть надежда в равнодушном, чуждом тебе множестве отыскать читателя, друга, единомышленника, собеседника — близкую душу... — внимательную звезду... — еще одну... — еще... и соединить свое лучение с ее светом. Среди людской разобщенности, в мешанине рвущихся связей, теряющихся нитей, пропадающих следов, забываемого родства разве такое сопряжение разлученного не служит «тем, во имя чего»?.. *Пишу, чтобы найти родную душу.* И тогда деление на литературные жанры становится номинальным, превращается в условность, ведь по большому счету все есть один-единственный жанр — эпистолярный. Мы пишем письма, адресаты которых нам неизвестны, но они узнают нас и по нам находят друг друга.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

МЕЖДУ ОРУЭЛЛОМ И ДИККЕНСОМ

Елена Ржевская. Ворошенный жар. Избранное. Повести. Рассказы. Записки. СПб., «ИНАПРЕСС», 2001, 437 стр.

Елена Ржевская. Вечерний разговор. Избранное. Повести. Рассказы. Записки. СПб., «ИНАПРЕСС», 2001, 339 стр.

«Если бы люди вели себя достойно, и мир был бы достойным», — не такая это банальность, как могло показаться поначалу.

Джордж Оруэлл, «Чарльз Диккенс».

Двухтомник Елены Ржевской вторгается необходимым диссонансом в современную литературную разноголосицу. Как бы ни была она (эта разноголосица) разноголоса, но даже неопытный слух различит один и тот же регистр. Все голоса сбиваются на фальцет бесстыжей откровенности. Все — от мала до велика — стараются рассказать о себе не то что всё, а даже как бы и больше, чем всё. В нынешней России не осталось никого, кого могла бы шокировать бесстыжая откровенность. В нынешней России некого эпатировать. Все слои населения — от «новых русских» до «старых интеллигентов» — по разным, правда, причинам, но... безразличны к любым формам эпатажа. Вроде бы никто и не просит сообщать «интимное и постыдное» — ан нет. Цап за лацкан и — послушайте! На этом звуковом фоне — «Заголимся! Заголимся!» — не диво услышать: «Бобок! Бобок! Бобок!» — зато вот тексты Елены Ржевской удивляют благородной сдержанностью.

Для современного литератора важно вывалить все (ну, и еще кое-что добавить). Для Ржевской важно не сказать лишнее. По нынешним временам *это* раздражает и шокирует больше, чем самая бесстыжая распахнутость. Сразу вспомнят — цензуру, самоцензуру и «внутреннего редактора».

В двухтомнике опубликована старая советская проза Ржевской вместе с ее относительно новыми вещами. Советская не только по времени описания, но... по мироощущению... что ли?.. по самой своей эстетике — советская. Хотя можно себе представить, какое противодействие вызывали те или иные пассажи, сюжетные ходы, описания и характеристики писательницы в идеологизированной, идеологической среде. Взять один только сюжет «Февраля — кривых дорог» (1975), сюжет, обросший деталями быта и потому незаметный (уж больно быт прифронтовой деревни — странен, страшен, такой «уют беды» проглядывает, что не до сюжета). А стоит присмотреться — вопреки заверениям Ржевской, что «сюжет — это предвзятость». Итак, младший командир догадывается, где можно нанести удар по противнику, докладывает комиссару. Комиссар вываливает на младшего командира целый ушат демагогии; к советам не прислушивается: в результате — окружение, «котел», из которого комиссара забирают командовать на другой участок фронта (присылают самолет), а выводит из окружения горстку людей тот самый младший командир, причем ценой своей гибели. Если учесть, что в окружении гибнет любимая женщина комиссара, которая однажды спасла ему жизнь, то сюжет делается особенно... предвзятым.

А всего одна сцена из повести «От дома до фронта» (1964) — когда в Генштабе майор («...скромное, симпатичное лицо. Белесый чубчик свисает по лбу, маленький пришлепнутый нос сосредоточенно морщится») отправляет в ВДВ (воздушно-десантные войска) ребят, не умеющих ни прыгать с парашютом, ни ходить на лыжах, — и запинается только тогда, когда одна из будущих десантниц задает вопрос: «Я хотела спросить, брать ли одеяло? И дадут ли нам рюкзак?» Вот тут майор с белесым чубчиком все ж таки присматривается к вопрошающей и из списка ее вычеркивает. Но все это подано непедалированно, скромно. С пугающим знанием субординации — так было надо. Ничего не поделаешь — иначе бы войну не выиграли.

Один из парадоксов нашего духовного развития в том и состоит: то, что было выходом из идеологии, ныне кажется плотью от плоти старого, прежнего; ныне кажется свидетельством защиты, а не обвинения. Самой верной дочкой короля Лира оказывается Корделия, та, с которой он (мягко говоря) больше всего ругался. Советское общество умирает на руках советских либералов. Настоящие антисоветчики смакуют Лени Рифеншталь с «Кубанскими казаками» и перечитывают «Тлю» с «Кавалером Золотой Звезды».

(С этим самым «Кавалером...» у меня случилась презабавнейшая история. Я как-то беседовал с очень умным и очень образованным, талантливым молодым человеком. Молодой человек, между прочим, à rgoros, заметил: «Бабаевский! Бабаевский! А вы почитайте, очень кучеряво пишет...» Я промямлил, что, мол, пытался и что-де верно — кучеряво, именно такое определение, но, скажем, Трифонов... (признаться, в этот момент я чувствовал себя полным идиотом). Молодой человек посмотрел на меня с недоуменным презрением: «Трифонов? Да что я, псих — советскую литературу читать?» Молодой человек был абсолютно, на все сто процентов прав. В этот момент я и сформулировал для себя то, что пытаюсь изложить сейчас. То, что было выходом из бесчеловечья, представляется ныне едва ли не оправданием... Между прочим, перед вами сейчас пример бесстыжей откровенности современного литератора. Кому какое дело, о чем я спорил с Кириллом Кобриним... И предмет спора такой животрепещущий — творчество Бабаевского.)

Елена Ржевская споры по куда более существенным (и личным, и общественным) поводам описывает «окольно, побочно», не давая воли ни откровенности, ни воображению. «И тут посреди комнаты двое схватились в ожесточенном споре, вызвав живое внимание собравшихся. Один поминутно откидывал косою клин черных прямых, индейских волос, спадавший на потемневшее лицо, другой опирался ладонью о пряжку военного ремня, сдерживаясь. Я сидела в стороне на кровати, воспаленно следила за ними, едва вникала в смысл слов, не слышала доводов. Они спорили, кто нужнее в предстоящих стране испытаниях: лейтенант или поэт. Был „вызов, брошенный всем стихиям“, как сказал Лист, но то был жертвенный вызов поэта: „Так стою, невысокий, / посредине огромной арены, / как платок от волненья, / смяв подступившую жуть...“ В канун моего дня рождения он внезапно пришел, читал свои стихи, ранящие горечью. „Кто меня полюбит, горевого, / Я тому туманы подарю“. Ни тогда, ни после, а лишь сейчас, когда пишу это, вдруг открылось: то наваждение — тот небывалый туман — был его обещанным подарком. Началом моей судьбы» («Знаки препинания»). В этом отрывке дано, кстати говоря, объяснение сдержанности, прикровенности Ржевской: она женщина, она не вникает в «вербальные доводы», в «смысл слов» — она следит за тем, что поверх слов, что невозможно выразить словами, но что следует пытаться этими самыми словами выразить.

Девиз прозы Ржевской стоит обозначить так: «Главное словами не скажешь, но на то нам и даны слова, чтобы с их помощью очертить неназываемое». В одном из своих рассказов («Последняя роль») Елена Ржевская с недоумением пишет, что по ее повести «Февраль — кривые дороги» Георгий Геловани собирался писать либретто балета. Георгий Геловани был прав. Он верно почувствовал «бессловесность», «пластичность», «немую кинематографичность» или «балетность» прозы Елены Ржевской. У Ржевской есть рассказ, в котором она вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но объясняет «нехитрую эстетику свою»: «Черная собака на белом снегу». Просто описана собака, которая горюет по своему умершему хозяину. Потом эта собака будет истово и добросовестно сторожить дом снова, потом — утолит голод (целые сутки ничего не ела), но пока — горюет. И горе ее так же естественно, так же природно, как и исполнение службы, как и утоление голода. Эту естественность, эту природность невозможно высказать словами. Это горе глубже слов; в этом горе собака достигает чего-то человеческого, слишком человеческого. Не боясь показаться смешной, Ржевская словно бы говорит: вот и я — «черная собака на белом снегу»: все понимаю, но выразить это пониманием словами — невозможно, как невозможно высказать словами горе.

Сдержанность Ржевской еще и от ее доверия к читателю, доверия, переходящего в доверительность. Она потому не растолковывает каких-то вещей, что точно

знает: она обращается к тем, для кого эти вещи — важны, а не просто — известны. Во всей повести «Знаки препинания» ни разу не назван по имени один из главных ее героев — Павел Коган. А зачем? Тот, кто знает строчки поэта: «Миусский рынок пел и плакал, / свистел, хрипел и верещал. / И солнце проходило лаком / по всем обыденным вещам», — тот и самого поэта узнает. А кто не знает, тому, наверное, совсем необязательно сообщать имя-фамилию того, по ком горюет главная героиня повести: «Оставшиеся годы войны до Берлина, днем и в сновидениях, и всего непреодолинее, острее в первом же пустячном хмелю „с наркомовской нормы” или с деревенского самогона я с отчаянием видела всегда одно и то же: его лицо индейца, обращенное в небо, талая вода затекает в застывшие открытые глаза... Но, господа, зачем я пишу все это?»

В этом и заключается обаяние прозы Ржевской: в том, что ее одергивание самое себя, ее неразрешение себе быть откровенной, распахнутой до конца — совершенно искренни. Она — естественна в своей сдержанности, как современные литераторы — неискренни и фальшивы в своей распахнутости. В том и убедительность, что ее прорывы исповедальности — редки. Так им и положено быть редкими. Дело не только в том, что Елена Ржевская вышла из того общества, в котором правилом было: «...умный не болтает, а беседует. С глазу на глаз. С глазу на глаз». Дело еще и в том, что Ржевская прекрасно понимает, насколько такое правило искажает нормальную жизнь, с одной стороны, и насколько это чудовищное, противоестественное (оруэлловское) искажение высветляет, высвечивает все нечеловеческое и человеческое в человеке. Художественный мир Ржевской расположен где-то между Диккенсом и Оруэллом, между «1984» и «Оливером Твистом».

Одна из эстетических задач Ржевской (не знаю, сформулированных или только почувствованных) — показать, почему советский мир не превратился в мир «1984» года. Диккенс — вот удивительный ответ. Вот сцена объяснения в любви из повести «Знаки препинания», в которой соединены диккенсовский (человеческий) и оруэлловский (нечеловеческий) миры. «Б. Н., как и все, с уважением относился к ней и шел ее провожать от нас в обратный путь — за Триумфальные ворота к трамвайной остановке — и, склонившись к ней, бережно подсаживал ее на подножку вагона. Но однажды, проводив ее, он вернулся весь взъерошенный, злой. С чего?.. Может, она по пути к трамвайной остановке призналась ему в любви — и он опешил и занемог от такого ее безрассудства? Но разве узнаешь? Это теперь, вернувшись после тюрьмы, лагеря, „вечной ссылки”, он как-то сказал мне: „Покройница, твоя тетка Эсфирь Ильинична, когда как-то раз я провожал ее, стояла на трамвайной остановке, вдруг говорит мне: „В наших кругах (это среди них, психиатров) полагают, что *он* болен”. Я так рассвирепел, едва дождался трамвая и вне себя впахнул ее в вагон”. Он с силой оттолкнул ее от себя вместе с этой ужасной, недопустимой, возмутительной мыслью о генсеке. Да, выходит, она в самом деле объяснилась ему в своем чувстве, только он не заметил. На языке нашей жизни что стоило невинное „я полюбила вас” в сравнении с этим страшным, трепетным признанием, вверявшим ему ее жизнь». Мир, в котором признание в любви читается как: нами правит сумасшедший, — не привык к прямой речи; но в речи окольной, побочной порой проглядывает большая близость к истине, чем в бестрепетном назывании всего и вся по именам и названиям. Сдержанность, скромность, чувство ответственности у Ржевской тем удивительнее и уважительнее, что она изо всех сил пытается их преодолеть. То есть для нее серьезная проблема — быть несдержанной, то, что теперь не то что не проблема, а даже — как бы и наоборот.

В поздних своих разрозненных «Летучих мыслях» Ржевская пишет: «Дай разговеться таланту, если он есть. Не стопори его сдержанностью, скромностью, чувством ответственности etc. Ведь и несдержанность тоже ценный ингредиент творчества». Это завет для себя, в течение десяти лет хранившей одну из тайн века — Гитлер покончил жизнь самоубийством. Для нас, современных литераторов, выбалтывающих семейные секреты, завет должен быть иным: «Дай попоститься таланту, если он у тебя есть. Стопори его сдержанностью, скромностью, чувством ответственности etc. Ведь и сдержанность тоже ценный ингредиент творчества». В тех же «Летучих мыслях» Ржевская (замечая? не замечая?) дает свое эстетическое

кредо — от противного: «Почему, думаю, так мне невоготу курортный пляж, набитый голыми людьми. Тайна, или даже таинство плоти, грубо, вульгарно нарушено. Нет своей неповторимости каждого, в особенности женского тела, сваленного в общую голую массу. Сорваны разом покровы, словно и таить нечего — угловатости тела, цветения, всех зарубок, окольцевания годами, ласками, родами. Отмирания, наконец. Отнято больше чем интимное — тайна». Сначала я улыбнулся милой старомодности; потом подумал, что в этом отрывке викторианство советского человека явлено с поразительной, о себе не знающей силой; и только потом понял, что мне напомнил этот отрывок... даже не то что напомнил, но помог понять! Я вдруг понял одну из смысловесущих тайн хичкоковского «Головокружения». Разве истина — в безжалостном сдирании всех и всяческих покровов? Истина — в одевании, в укладке волос, в гриме, если хотите.

В «Знаках препинания» Ржевская пишет о Павле Когане: «В опубликованных воспоминаниях сказано, что у него было лицо индейца, — *единственно несомненное, что за все это время написано о нем* (курсив мой. — Н. Е.)». Почему это «единственно несомненное»? Потому что во внешнем признаке, побочном, неважном, поймано что-то такое, чего словами не скажешь. Поэтому на прямой вопрос в лоб: «Что есть истина?» — как правило, отвечают молчанием. Истина то, что ты видишь перед собой, как же возможно *это* пересказать словами? Только очертить пределы истины — это возможно.

«Когда дана была команда остановиться на привал — это было однажды зимой во второй год войны — и я успела еще сказать: „Ну и повезло же!“ — переступив порог уцелевшей, чистой, истопленной избы и сбросив полушубок, как принесли письмо, написанное чернильным карандашом: писал его отец... Я бросилась на улицу. Взвыв, бежала по снегу, не чувствуя холода, в одной гимнастерке. Потом, спустя время, я дежурила ночью у телефона, когда на командный пункт вернулся с передовой полковник, человек не злой, не молодой, мешковатый, получивший не так давно известие о том, что его сын, учившийся в военной летной школе, разбился. Глянул на меня тут в ночном одиночестве у телефона — а слезы на фронте в диковинку, — сказал: „Ты же сама говорила: разошлась с ним... — И добавил, вздохнув: — Бывает так“. Бывает: рассталась, разлюбила, а он для меня вечен, по крайней мере в пределах вечности собственной жизни». Как можно словами описать сложность их отношений? Как можно словами описать сложность его самого — поэта, похожего на индейца? Для Елены Ржевской это — невозможно. Она смиренно это сознает и смиренно в этом сознается.

Война окончилась в сорок пятом, а написать о ней так, как она хотела и должна была, Ржевская смогла спустя много лет. И дело не в том, что она не могла найти нужные слова: судя по рассказам «Зятьки» и «„Маленькая история“ одного латыша», слова и интонации нашлись почти сразу. Дело, разумеется, и во внелитературных причинах. Не место их разбирать. Надобно сказать только, что такое «запаздывание» тоже ведь причаает к сдержанности и к отчаянной попытке эту сдержанность преодолеть. В очерке о своей встрече с маршалом Жуковым 2 ноября 1965 года Ржевская дает понять силу «внелитературных причин» в литературе. Жуков рассказывает о своих мемуарах: «Я вот дал прочитать две главы одному редактору... Он сказал: „Это бесценно. Но печатать невозможно. Кто ж разрешит“. Говорил он об этом, отчасти гордясь написанным и чувствуя себя просторно в работе, — еще не приступили к редактированию, еще не изведал затруднений при прохождении рукописи и той знакомой литераторам ситуации: *кто ж разрешит*».

В финале этой главки Ржевская тихо, без нажима, так, как это она умеет, общается: «Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги. Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии». Сказано между делом, на обочине главного повествования; сказано так, что и не заметишь поначалу скрытой заносчивости, скромной горделивости: в чем-то очень важном я — литератор — крепче буду великого полководца.

Особенность прозы Ржевской в том, что невозможно определить, кто у нее в центре повествования, а кто — на обочине. У нее все герои — эпизодические и все

герои — главные. Рискну опарадоксальность окончательно: чем эпизодичнее герой у Елены Ржевской, чем он — исчезновеннее, тем он — главнее. Так, в «Ворошенном жаре» исчезнувший, с переломанной злой судьбой Курганов, начальник лагерной полиции, в ржевском концлагере пытающийся облегчить участь военнопленных, рвущийся к своим — пусть под пулю, под наказание, но... к своим, конечно, — главный герой. В нем, в его судьбе — главная тема «Ворошеного жара»: грех забвения мучеников, не героев; невозможность определить в нечеловеческих условиях тотальной войны, где героизм, а где мученичество.

Так, в «Далеком гуле», повести о горечи победительства, о растерянности воевавших в наступающем на них мире, главный герой — бельгиец Райнланд, через фронт возвращающийся в Быдгощ (Бромберг) к любимой женщине и вновь отброшенный от нее в нечеловеческой государственной мощью, отброшенный от любви и счастья наступающим послевоенным устройством, разделением мира. Все будущие расставания героев повести сконцентрированы в этой трагической нелепой истории. «Вернулся Альфред Райнланд. Бежал, отстав от колонны бельгийцев, рискуя быть пристреленным в спину конвоиром. Не знаю, как он выглядел в момент их с Марианной встречи у тюрьмы — человек, пробравшийся назад, в город сквозь заслоны сражающихся фронтов. Со мной же молча знакомился выбритый, с черной полоской усов, подтянутый, широкоплечий, коренастый человек в очках, с высоким лбом, без шапки, темноволосый, с сумрачным, твердым взглядом сквозь очки». Потом этого же мужчину героиня повести увидит во дворе пункта репатриации. «Райнланда я застала на том же месте в глубине двора, будто он очертил себе круг у шеста с бельгийским флажком. Одинокий человек. Он молча взял записку, быстро пробежал ее, развернув и, отведя в сторону полу распахнутого пальто, спрятал записку во внутренний карман пиджака. Торопливо, словно боялся не успеть, старательно выводил подрагивающей в напряжении рукой очень крупно латинские буквы, будто писал ребенку. Исписанный листок он вырвал из записной книжки и, сложив вчетверо этот маленький квадратик, протянул мне и молча следил, надежно ли я прячу его в нагрудный карман гимнастерки. Он вообще молчал. Вопило его лицо. От боли, ярости, бессилия. Но вопило ли? Это мне сейчас так кажется. Оно каменело. И оттого еще страшнее было открыто посмотреть в его лицо, встретить прямой твердый взгляд сквозь очки».

Исчезновение героя для Ржевской — знак его отмеченности. *He* исчезает Гитлер, его труп обнаруживают советские разведчики, его зубы идентифицирует личный стоматолог («Берлин, май 1945»). Исчезает деревенская дурочка, переправляющаяся через линию фронта, чтобы навестить своего сына в детдоме, оставшемся у немцев, и дать сигнал разведке («Дусин денек»); исчезает жена начальника транспортного отдела в оккупированном Ржеве, сначала пришедшая в прифронтовую деревню на советской стороне к своим детям, а потом отправленная обратно в Ржев с тем, чтобы склонить своего мужа к сотрудничеству с разведкой («Ворошенный жар»). По сути дела, исчезает и главный герой «Знаков препинания» — поэт, «бросивший вызов всем стихиям»: «Его отец, в патетике несчастья поехавший при первой возможности разыскивать могилу, наивно мог считать, что сын был тотчас предан земле... Но меня, уже кое-что повидавшую на войне, — хоть я не знала о сопке Сахарная Голова, что ничто живое не могло подползти к ней живым, — преследовало: он лежит, не прикрытый землей, дождь падает на его лицо».

Про поколение Елены Ржевской сказано: поколение победителей фашизма. Я бы добавил: и «очеловечивателей» отечественного коммунизма. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», — так сформулировал задачу поколения Слуцких. «Я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м», — так писал Самойлов. Гуманизм, «очеловечивание» доставшегося в наследство быта и бытия были тем более парадоксальны, что вышли из войны. Обычно из войны выходит — озверение, ожесточение, ненависть. Здесь все получилось наоборот: война доказала ценность просто жизни, просто быта; важность не идеологии, но человечности. Ход от «Броненосца „Потемкин”» к неореализму — вот ход поколения Елены Ржевской.

Когда я говорю «поколение», я не закрываю глаза на то, что разные люди были и бывают в поколениях, и в том, ифлийском, поколении тоже были разные

люди. Давид Самойлов по прошествии многих лет писал: «Умники того времени гордятся тем, что уже тогда всё понимали. А они не понимали одного, и самого главного: что назначение нашего поколения — воевать и умирать за нашу действительность, что иного исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни... Мы тоже ощущали приближение войны и внутренне снаряжались для нее, потому и сейчас продолжается наш спор с всеведущими змиями довоенных времен, сейчас, когда как бы и нету предмета для спора и надо бы признать их правоту».

То, что Давид Самойлов обозначает словами, Елена Ржевская дает в сцеплении эпизодов, внесловесно, пластично. «В тот вечер они говорили о жизни, о романтике поколения, о предстоящей войне, так близко уже ощущаемой... Двое [из них] погибли. Третий бесследно исчез. Оставшиеся в живых Наровчатова, Крамова и присоединившийся к ним Самойлов сходились... в том же кафе на Арбате... Тот третий, о судьбе которого нам так ничего и не известно, занимал воображение [Наровчатова]. Вспоминали, как однажды он явился в институтский комитет комсомола, чтобы положить свой членский билет. Его спросили, почему он это делает. Он ответил, что не видит смысла оставаться в организации, где не с кем стало поговорить о Достоевском» («Старинная удача»).

Перед читателем — осколок, обломок тех споров с «премудрыми змиями довоенных времен», о которых писал Самойлов. Причем видно изящество жеста, литературного жеста: «для дураков» — «не с кем стало поговорить о Достоевском»; «для умников» — цитата: «Билет для участия в строительстве земного рая — кладу на стол. Пропуск в рай почтительнейше возвращаю».

С высоты прожитых лет Ржевская и вопроса не ставит о правоте или неправоте «премудрых змиев». Она готова согласиться с тем, что воевать за нашу действительность и сесть против этой действительности в тюрьму — вещи равнозначные. Она просто продолжает «говорить о Достоевском».

«В 1978 году я оказалась вместе с Наровчатовым в туристской поездке по Испании... В Толедо — памятник фалангистам, стойко державшимся вместе с женой в крепости Альказар, осажденной республиканцами. Коменданту было предложено: в обмен на жизнь его сына, захваченного в плен, отдать ключи от крепости. Он отказался. Ранним утром, еще до начала туристского дня, я пришла к этому памятнику и застала тут Наровчатова. „Я знал, что ты придешь“, — дружелюбно сказал он». Ну разумеется, гибель ребенка в основе вселенского счастья — та самая «достоевская» тема, из-за которой почтительнейше возвращают билет в рай.

Но Ржевская не вспоминает о Достоевском. Вслух не вспоминает. «Достоевское» остается в неназванном, в исчезнувшем. «Достоевское» высветляется в столкновении трех эпизодов — этих двух и еще одного. «В ознакомительной поездке по Мадриду, когда мы в автобусе подъехали к старинному университету, объезжали его городок и я всматривалась в следы героических арьергардных боев республиканцев, Наровчатова, всю дорогу молчавший, взволнованно крикнул на весь автобус: „Лена! Ты должна помнить! Бои в Университетском городке!“ И в автобусе сверкнула искра нашей юности. (Бог мой, как беднееешь, как горяеешь, когда уходят люди, с которыми можно вот так перекинуться!)»

Все три эпизода помещены рядом: героизм и жертвенность фалангистов, жестокость и героизм республиканцев, предвоенная встреча молодых людей и «достоевский» жест одного из них («я только билет свой почтительнейше возвращаю») — все вместе эти темы образуют странное противоречивое единство — спора с премудрыми змиями довоенных времен — согласия с ними — попытки для себя нынешней найти место в этом споре и определить место в этом споре для себя тогдашней.

Есть что-то очень важное в том, что этот «монтаж эпизодов» оказался в очерке, посвященном Сергею Наровчатову, — очерке сентиментальном, ремаркианском, очень печальном. По сути дела, очерк посвящен вращению в тыловой быт фронтовика. Вращению всегда мучительному, но особенно мучительному после Великой Отечественной войны. Потому что война была — великая. И отечественная. И тыловые крысы были соответственно — великие. И — отечественные.

О, для изображения тыловых крыс у Ржевской изумительно богатая палитра — от ненависти без жалости до жалости без ненависти. В самых разных своих рассказах и повестях она применяет эту палитру. «Вертухай за мной пришел — вызывают меня: „Вы присягу принимали? А куда вы шинель дели? А куда винтовку дели? А согласно присяге — до последней капли крови...” И пойдет зубрить... Загрибок вон какой у него. А сам-то ты был хоть раз там, на передовой? Да ведь не скажешь. Оружие при нем» («Жив браток?»). Это — без жалости. А вот — если с жалостью: «Он вдруг буркнул: „А я жениться решил”. ...Отвел плечо и локтем указал: „Вон на ней”. ...Я потрепала его по шершавым волосам — отращивает, а на гражданке — сбривал по-солдатски. „Ну с чего ей идти за тебя? Сам подумай”. Он втянул голову в плечи, самолюбиво надулся... „Ей что, жить не хочется?” — „Всем хочется”. Но его не интересовали все. Ника же, по его мнению, перекочевала из общежития в армию, потому что деться было некуда. А теперь, став женой преподавателя Военного института, она тоже сможет зацепиться за кумысосанаторий. „Ты чего на меня так глядишь? — заерзал Самостин. — Не нравлюсь? Так, да? — И хмыкнул: — Ты скажи, не стесняйся”. — „Да нет, чего там. В военной форме ты представительный мужчина”. Он бочком пошел из комнаты, не глядя в Никину сторону... Я вывела Самостина во двор. Морозно, звезд нет... „Так я завтра зайду”. — „Заходи, конечно”. ...На морозе ни о чем толком не договоришься. И вообще, после войны разберемся» («От дома до фронта»). Ну что же — разобралась.

Хочу быть правильно понятым: вовсе не те, кто остался в тылу, — «тыловые крысы». Одна из самых пронзительных и трогательных сцен во всей книге — встреча машинистки штаба и ее жениха, работающего на заводе, из рассказа «Лирическое путешествие»: «Генералы, прослышавшие о предстоящей встрече Вали с женихом, несли в ее чемодан из своего командировочного пайка консервы, сало и шоколад... Алексей пришел прямо с завода. В сенях он застенчиво сунул Вале сверток в газете и с улыбкой, лучисто поглядывая на Валю, снимая галоши, пальто. Под пальто у него оказался все тот же неправильно застегивающийся перелицованный пиджак. Валя кокетливо прижимала сверток к груди: что-то в нем? Алексей потер ладони и сказал, довольный: „Ничего, ничего. Бери. Вот скопил буханку. А на завтра у меня еще двести грамм есть”. Валя развернула газету и вспыхнула от смущения до корней волос. „Зачем это? Да не нужно!” Алексей пробормотал что-то застенчиво и великодушно. Бог мой, как он прост до смешного, как жалок со своей буханкой черного хлеба... Она смутно помнила, как потом за столом он молча отхлебывал чай, ни к чему не притрагиваясь. Ломтики копченой колбасы, шпроты и сало, шоколад в вазочках и хлебница с белым хлебом будто отсвечивали каким-то чужим блеском, и он изгнал непринужденность, превратил в нестерпимую неловкость то, что в других обстоятельствах могло бы показаться трогательным или просто обернуться в шутку... Валя уедет, а Алексей постарается забыть о ней, потому что человеку ничто так не помогает переступить через свое чувство, как унижение» («Лирическое путешествие»).

Правда, я недаром помянул Диккенса в названии статьи? Именно Диккенс с его сентиментальностью, без Достоевских философствований чаще всего вспоминается в прозе Ржевской. Диккенсовский культ семьи, традиции, уюта (даже если это — уют беды) внятен Ржевской. Быт — вот что держит человека. Это Ржевская утверждает со всей запальчивостью благоприобретенной антиромантической натуры, преодолевшей соблазны героического романтизма. Где есть быт, где есть семья, дом, пусть нелепая, сложно, мучительно живущая, но... семья — там человек не потерян. Семейственность для Ржевской — основа неброского героизма. Для Ржевской потому так отвратительны Геббельс и его жена, что они убивают своих детей, взрывают семью во имя идеологии. Семья для Ржевской — ячейка не государства, но человечности.

Поэтому главная героиня в прозе Ржевской всегда — женщина. Именно — героиня. Мужик, мужчина в прозе Ржевской может героически погибнуть, но спасти мужика от героической или негероической гибели, героически выжить — способна женщина. Женщины тянут на себе всю тяжесть жизни и выживания. Быт держится женщиной, а это для Ржевской важнее, чем бытие. «Главой семьи была его жена, моя прабабушка, почти легендарная в городе, — Хвалиса, Хволос. Не-

обыкновенной энергии, да и дерзости по тем временам невиданной. Когда тихий, неразговорчивый муж удалялся в синагогу, она натягивала брюки и вместе с подрядчиком и кровельщиком лазила под стропилами и на крыше возводимого дома. И когда однажды ее муж, встав поутру, как обычно, собрался в синагогу и подошел к окну взглянуть, что за погода на дворе, он заметил новый двухэтажный дом по соседству. „Смотри-ка, чей-то новый дом у нас появился?“ — „Это — твой дом“, — отвечала Хвалиса («Белая бабушка»).

Такой культ дома, семьи, традиции позволил бы мне назвать прозу Ржевской консервативной прозой, если бы я не опасался сбиться на сделавшиеся пошлостью рассуждения о том, что-де только после сокрушительной революции и становится возможен естественный традиционный консерватизм; не оголтелая реакционность, но исполненный достоинства и уважения к личности — консерватизм. Насколько сама Ржевская понимает консервативную природу своего творчества — это для меня загадка, как и многое в ее творчестве, но, во всяком случае, недаром в «Далеком гуле» с таким искренним восхищением описан Черчилль. Пузатый, буржуистый Черчилль, Черчилль, нависающий над лондонской баррикадой и твердо выговаривающий в дни страшного дюнкеркского разгрома: «Если и через сто лет нас спросят, какое время было самое прекрасное, мы скажем: это время. Самое прекрасное». Здесь не только уважение к союзнику, тогда, в 1940-м, оказавшемуся один на один с врагом, здесь... инстинкт настоящего консерватора, способного включить в реестр сохраняемого (того, что, собственно говоря, консервируется) многое, в том числе и революцию. Черчилль на баррикаде — ей-ей, этот оксюморон стоит запомнить.

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



АВАНГАРДИЗМ ТРАДИЦИОННОСТИ

Юрий Колкер. Ветилуя. Стихи, написанные в Англии. СПб., «Геликон плюс», 2000, 103 стр.

Несмотря на то что на обложке новой книжки Юрия Колкера «Ветилуя» изображен ангел Томмазо да Модены, мне, когда я ее читал, мерещился другой ренессансный художник, правда более позднего времени, — Карло Кривелли. Именно он со своими изысканными, простодушно-меланхолическими Мадоннами, «уплощенными» золотым романско-готическим фоном, решительно предпочел остаться традиционалистом и архаиком в эпоху бурного возрожденческого упоения новшествами линейной перспективы. Именно его образы сохранили тонкую, грустную поэтическую прелесть прошлого в момент все большей бытовизации живописи, впадения ее в натуралистичность (наперегонки с реальностью), что, как мы знаем теперь, закончилось на исходе чинквеченто конвульсиями маньеризма. Впрочем, весьма плодотворными конвульсиями, если вспомнить Эль Греко и общий поворот барочного искусства к спиритуализму, или, говоря по-русски, к духовности. Карло Кривелли от нее никогда и не отказывался вопреки всем «авангардным» поветриям Ренессанса.

Я раздумывал над этим историческим примером потому, что «Ветилуя» Колкера принципиально, полемически антиавангардна, традиционна по своей поэтике и как бы даже браврирует зависимостью от таких корифеев русского стиха, как Вяземский¹, Мандельштам² и Ходасевич (особенно Ходасевич — ведь он был своего

¹ У Колкера есть почти прямые цитаты из Вяземского. Можно сравнить «Хандру с проблесками» последнего и строчки: «Эта жизнь, считай, прошла, / Счастье, что другой не будет...» («Многолюдная река...»).

² Некоторые стихи кажутся просто написанными под копирку. Читая симпатичное стихотворение «Истина, какой она мне чудится...», сразу вспоминаешь мандельштамовское: «Я молю, как жалости и милости...» Отсюда же, как представляется, и родство Колкера с таким поэтом «мандельштамовского корня», как Александр Кушнер.

рода архаиком, чем приводил в немалое замешательство даже такого умного критика, как Юрий Тынянов).

Антиавангардность и одновременно маргинальность своей позиции Колкер прекрасно осознает, отчего и дал книге говорящее название — «Ветилуя» и снабдил ее красноречивым вступлением, смиренным и притязательным одновременно: «Однако случается и так, что несметное в своих силах язычество, охватившее внезапным ужасом, откатывается от стен крепости назад, в свою Ниневию».

Трагичность и героичность сознания, с моей точки зрения, как воздух необходимые настоящей поэзии, здесь налицо. Заметна даже пафосность, вовсе не всегда выглядящая смешной и нелепой (о чем со времен Гомера накопилось достаточно свидетельств).

Мне только кажется, что позиция одиночки и чуть ли не Рыцаря Печального Образа, сражающегося с ветряными мельницами Авангарда, уже несколько устарела. Как ни смешно, но в атмосфере приговских кикиморных завываний, однообразных иронических выкрутас, в атмосфере безответственного, натужного и самоцельного метафоростроительства, в атмосфере воспроизводства третьей (десятой!) свежести опытов футуристов, заумников, чинарей-обэриутов, адептов вакуумной и тактильно-визуальной поэзии всех мастей, — так вот, в такой атмосфере просто, точно найденное поэтическое слово, соответствующее масштабу человеческого опыта и, наконец, элементарно осмысленное, выглядит необыкновенно новым, свежим и даже, в этой своей обновленной свежести, как бы «авангардным».

Поступательное движение искусства невозможно теперь без смены эстетических критериев XX века, одним из которых была пресловутая формальная новизна. В демонстративных заявлениях постмодерна, что в искусстве все уже сделано и ничего нового быть не может, на самом деле происходит лишь канонизация этого принципа. Именно на основе авангардистского понимания развития искусства как непрерывной цепи новшеств, вводимых очередным гением, строится модель конца истории, модель умершей культуры, все составные части которой теперь лишь материал для иронической и одновременно трагической игры художника, потерявшего представление о ценности и смысле совершаемого им творческого акта. Между тем новизна заключается не в изобретении чего-то принципиально никогда не бывшего (в духовной области подобная операция крайне сомнительна), а в здесь-и-сейчас возобновляемом понимании того, что было всегда и что требует от тебя и твоего времени соответствующей подлинности и адекватного языка выражения. Борис Эйхенбаум писал: «Искусство живет на основе сплетения и противопоставления своих традиций, развивая и видоизменяя их по принципам контраста, пародирования, смещения, сдвига». Контрастом к современному «ниневиюскому язычеству» постмодернизма и служит ориентированная на ясность высказывания, на смыслоемкость и ответственность каждой фразы, на традиционный рифмованный силлабо-тонический стих «правоверная» поэзия Юрия Колкера.

Отказываясь от критерия формальной новизны в оценке художественного произведения, требуется тем не менее найти какую-то иную точку опоры. И здесь сложность. Сложность, осознанная, например, экзистенциальной философией и заключающаяся в невыводимости, неформулируемости конечного принципа.

Вообще-то это ставит нас в странную ситуацию: критерий оценки, безусловно, есть, но пребывает он, так сказать, в «текущем» состоянии, ощущается каждый раз заново, окрашивается определенной интуицией «переживателя» эстетического акта. В то же время этот критерий связан с исторически определенным моментом, он соответствует той точке, которой достигло искусство в своем развитии, в нем сублимируется конфликт между «новым вином» и «старыми мехами», известный еще по евангельской притче.

Мне представляется, что поэзии Колкера более всего соответствует принцип Некрасова, высказанный последним в знаменитых строках:

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоём труде заблещут сами
Их животворные лучи.

Взгляни: в осколки твердый камень
 Убогий труженик дробит,
 А из-под молота летит
 И брызжет сам собою пламень!

Вот об этом-то как бы брызжащем «самим собою» пламени может идти речь при чтении книги Юрия Колкера.

Огненные искры, понятно, вылетают из-под молота «убогого труженика» в том случае, когда он прилагает особые усилия, сильно бьет. Когда он пытается сокрушить скалу невозможности, непонимания. Когда он потрясен и оскорблен глухотой мира и наполняет его возмущенным грохотом. Искры летят, когда нельзя примириться с собой и в том числе со своей надрывной, непосильной работой «каменотеса» (на которого, конечно, никто не обращает внимания), нельзя примириться, но нельзя и остановиться. Существует некая немотивированная потребность героического противостояния бессмысленности жизни, между прочим, только и вносящая в эту жизнь смысл.

Здесь все держится на противоречии. И в книге Колкера мы все время с подобными противоречиями сталкиваемся. С прямо-таки маниакальной настойчивостью автор возвращается к теме родины, с которой душа не в силах, как ни бьется, связать «ни вздоха, ни слова» («Все влажно в стране островной, все подвижно, все живо...»). Он житель Геликона или по крайней мере приближенного к нему Хартфордшира, но постоянно прислушивается к новостям, доносящимся из нелюбимых «пенатов» («Ничего не случилось»). Он заявляет, что, «поостыв», готов любить «человека, страну и Бога» только «взаимной любовью» («Молодость склонна к эпосу — значит, к утрате...»), но пишет книгу, всю пропитанную самой настоящей *горячей* тоской по этой взаимной любви.

Антиномичны, противоречивы даже построения отдельных фраз, в которых сталкиваются несочетаемые понятия:

Мы *счастливы*³ прожили в этом краю
 Остаток *погубленной* жизни...

(«Умрем — и английскую станем землей...»)

О растворенной *намертво* в крови
Пожизненной отвергнутой любви...

(«Душе и долгу подчиняя тело...»)

Великолепен контраст между обидой, даже злостью на истраченные впустую силы, годы и тем неожиданным всеохватным духом примирения, понимания, который пронизывает многие стихотворения:

Жизнь мельчает — и, знаешь ли, это
 Хорошо...

.....
 Полно, любимая... Станем ли сетовать,
 Плакать, что жизнь такова?..⁴

Именно этот принцип противоречия, не дающий замкнуть традиционные высказывания о любви, жизни, смерти в схему, является своеобразным противовесом дидактичности стихов Колкера, придает их пафосности (вплоть до нарочитого использования архаизмов) убедительность. На таком фоне прямое слово делается как бы неожиданным. Замечательно, что при всей простоте и даже отчасти банальности констатаций они привлекают своей подлинностью. Ну, сколько раз уже мы слышали признания в усталости от жизни, в разочарованности. Но вот еще одно, при всей своей традиционности не кажущееся натужным или заемным:

³ Везде курсив мой. — А. М.

⁴ А начинается это стихотворение строками: «Чувством глубоким и словом возвышенным / Мира не ошеломишь...» Опять контраст.

Смерть станет родительским кровом,
Где путника ждут за столом,
Утешат приветливым словом,
Согреют сердечным теплом.

Войдет он в просторные сени,
В покой, где светильник горит,
Уткнется родимой в колени,
Заплачет от счастья навзрыд...

Жизнь станет бедой подростковой
В навек уязвленной душе,
Пустынею солончаковой, —
И, в сущности, стала уже.

Здесь в финале стихотворения особенно смысловым делается незаметное служебное слово «в сущности». Именно оно, задавая речевую интонацию, выявляет неочевидность высказывания. Человек не формулирует какую-то новую истину, а с изумлением обнаруживает, что то, что привык считать банальностью и абстракцией, оказывается, непосредственно относится к нему самому.

Всегда ли стихи Колкера так точны в своей прямой простоте? Нет, к сожалению, не всегда. Например, в стихотворении «Висит хвостатая звезда...», напоминающем своим ритмом считалочку Винни-Пуха, автор никак не может найти должную меру ироничности и серьезности. В итоге на поверхность прорывается обыкновенное раздражение, которое не в состоянии замаскировать даже библейские отсылки («На Земле безвидной...»).

Вообще надо сказать, что, несмотря на свою антиавангардность, Колкер не чужд экспериментаторства. Он очень смело сталкивает в стихах самые различные лексические пласты. Иногда удачно, как в стихотворении «Волну и фотон возлюбил Господь...», где традиционные поэтические «рай», «ангел» и «мечта» соседствуют с «фокальной точкой». Иногда нет. И тогда получаются какие-то монстрообразные словосочетания в духе вульгарного романтизма или эгофутуризма: «Эльдорадо ласк», «евнух идеала». Или вот строки: «И энтропия явится во фраке / Вселенский Вавилон осуществлять». «Энтропия во фраке» невольно пародирует «облако в штанах» вряд ли чтимого Колкером Маяковского.

Интересно, что неявная эта связь только подтверждает новизну поэтики нашего автора, не просто осуществляющего механический возврат к ушедшим уже традициям, а пытающегося скрестить последние с опытом того же самого модернизма (по принципу притяжения-отталкивания). Успешное продвижение в этом направлении, впрочем, затруднено у Колкера некоторой риторичностью. Мы слышим по большей части голос проповедника, а не собеседника. Потому и обильны в этих стихах слова книжные, устарелые, общепоэтические. Условные понятия часто вытесняют жизненную конкретику. В итоге восприятию читателя иногда не прорваться сквозь заросли абстракций:

Скажу и я: средь горестей простых
Родной очаг оберегал я честно,
Кем был? Бог весть. Доподлинно известно,
Что я не почести любил, а стих.

Это как бы из репертуара «Быть знаменитым некрасиво». *Родной очаг, горести простые, почести* — все это слишком общо и потому неточно. Здесь теряется присутствующая многим стихам поэта антиномичность, высказывание делается досадно односторонним.

Издержки, по-видимому, неизбежные, поскольку занятая Колкером позиция охранителя и защитника последней крепости духовности, последнего прибежища высокой поэзии — Ветилуи обрекает его на позу, исполненную патетики. И на риск вызвать издевательские насмешки. Ведь что сейчас может быть смешнее и уязвимее позиции человека, верящего в Истину и ищущего смыслов.

Тотальная ироничность постмодернизма, всецелостная преданность игре, не предполагающей никакой объективности за границами текста, замешена на этом мальчишеском страхе показаться смешным. Подобного комплекса не избежал даже

Бродский, постоянно рефлектирующий и прикрывающийся в своих стихах нарочитой интеллигентской грубостью или полунасмешливыми оборотами, настойчиво «снижающими» тему. Кстати, он таким образом пытается еще компенсировать откровенную романтичность своей лирики. Этого рода компенсации Колкеру не нужны, он — не романтик. Но важнее другое: автор «Ветилуи» имеет мужество «подставиться», он не боится выглядеть смешным и уязвимым.

Но, видит Бог, мы погибнем (уж во всяком случае, эстетически погибнем), если окажемся неспособными на подобное мужество.

Алексей МАШЕВСКИЙ.

С.-Петербург.



КООРДИНАТЫ ДУХА, ИЛИ ДИКОПИСЬ В РИТМЕ СВИНГА

Елена Шварц. Дикопись последнего времени. Новая книга стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 2001, 86 стр.

После чтения этого автора остается впечатление, что изобразить и назвать Елена Шварц может все — мало кому удавалось добиться такой виртуозности. Приходит на память реплика из какой-то интернетной литературной дискуссии — о том, что Шварц «пересекает все пределы и попадает куда хочет как рыба, только чуть шевельнувшись». Тут я полностью соглашаюсь. Пересекает и попадает. Откуда и куда — другой вопрос.

...При чтении стихов Елены Шварц мне вспоминались джазовые изменяющиеся темпы и гармонии, диссонирующие, но уместные. Ритмика Шварц похожа на свинг, качели, стиль с изменяющимся темпом. Словесный джаз? Может быть. Шварц перескакивает, «пересаживается» с одного размера на другой, с двусложных метров на трехсложные... Желания, говоря словами Пастернака, «читателя на сапочках прокатить» не возникало у нее никогда — больше на американские горки похоже...

Ритм «качался» и в ранних стихах Шварц. Полиметрия, сочетание разных ритмических рисунков на протяжении одного стихотворения — ее фирменный знак, и в этом она всегда остается верна себе.

Шварц, как всегда, разрушает и традиционную канву версификации, и стереотипы поэтического восприятия. В ход идут не только упомянутые перебои ритмов («разодранный размер»), но также инверсии («...Ночи ждут, / Едва ли зная — что простые / Своих монахи сновидений», «В пропасть / Воспомнила, падая»), смешенные ударения («снадббье земное», «огорожённое плывет дыхание», «крутит водоворот...») и другая «практическая стилистика». И все это как нельзя лучше сочетается со смысловой стихийностью изложения.

Новая книга Елены Шварц населена мрачными и странными образами. Вот, к примеру, стихотворение «Гостиница Мондэхель». «Если прочесть это слово по-немецки (с французской связкой), выйдет „ясная луна“, — подсказывает автор, — если же первую часть слова — по-французски, а вторую — по-английски, то: „мир — ад“». «*Вместе ясный свет и темный страх*». Мифическая гостиница Мондэхель, место, реальное не более чем дом Ашероу, становится символом мироустройства.

Первый раздел книги открывает очень сильное, на мой взгляд, стихотворение «Корона. (Столпник, стоящий на голове)». Кстати, мотивы царствования — то есть избранничества — звучали в поэзии Елены Шварц и раньше. Так же, как столпник имеет под собой столп, с которого ему не сойти, царь, даже поверженный, оставшийся один, до конца обречен нести над головой свою «древнюю зубчатую корону»: от энергии клана никуда не уйдешь. А если смотреть с неба на землю — то корона и будет столпом.

По сравнению с предыдущими книгами Шварц в новой острее сказались темы неприкаянности («Стансы о неполноценности мира»), одиночества («Всякий человек — ковчег», «Человек граничит с морем, / Он — чужая всем страна»), безысход-

ности («Душу ему я давно проиграла»), духовного брожения, чувства фатальной несправедливой справедливости. Автор задается вопросом о смысле-бессмысленности жизни:

К чему мне эта флейта,
Зачем мне это лето
Упало и дрожит?

(«Духовой праздник»)

Эта книга — как черный ящик ночного сознания. Она изобилует причудливыми, иногда даже кошмарными образами смерти, распада, разброда, потопа... Она отмечена визионерским заглядыванием в бездну. Жизнь «дикописуется». Очень часто автор проводит образные ряды по грани отвращения:

Звезды, звезды — это только гвозди,
Вбитые из вечности в глазницы,
Четырехугольные тупые,
Купленные в скобяной столице.

Черное облако, рожденное от мрака, поглощает и героиню, и автора, и читателей. Но Шварц никогда не пользуется защитным приспособлением для оптического-поэтического обмана под названием розовое стекло. Ее оптика — иная. Призрачная, мрачная и прозрачная. Оптика ночного видения. Она увеличивает отвратительное, болезненное и жуткое: Шварц то и дело изгоняет из себя этих «бесов». И они оказываются на бумаге. И предлагаются читателю. Читатель обычно доволен: бесы — возбуждающее угощение.

В «Дикописи последнего времени» неоднократно повторяется тема превращения страдания в жемчуг (талант или духовный рост?). Страдание, по сути, является катализатором для получения «пилюли бессмертия»:

Слезы льются по горлу
И превращаются в брюхе
В мелкий горбатый жемчуг.

Или:

Сколько слез! Сколько жемчуга!
Надо глотать их!

В сумеречный мир поэзии Елены Шварц вкрапляются разве что одно-два умиротворяюще-пейзажных стихотворения: вечер, звезды, коровы возвращаются в стойло — и не более. Где-то, конечно, есть мир «лазурной яркости», но он далеко и не для всех.

С новой книгой в поэзии Шварц появился страх смерти. Раньше ее образ даже очаровывал:

Смерть — зимний лес, весь в серебре и неге.
.....
Как в землю ту вошла — пропели зорю,
И началась весна от моря и до моря.

(«Хочу разглядеть — смерть — якорь, море, лицо, лес?...», 1988)

Или же уверенно декларировалось:

Когда несешь большую страсть
В самом себе, как уголь в ладонях,
Тогда не страшно умирать.

(«Идешь и песенку свистишь...», 1978)

А теперь смерть становится страшной. Причина этого страха — в осознании неотвратимости и непоправимости: сколько бы автор ни уговаривал себя, что так и

должно («жизнь все время свой хвост грызет»), почему-то в воздухе пахнет паникой. Появляется страх не успеть, не вместить всего («Левым глазом читать, а правый / скашивать вправо»).

О любви и личных романтических переживаниях у Шварц, как всегда, ни слова, ни полслова. Нельзя сказать, что эрос в ее поэзии вообще отсутствует, но женского начала, явного, подчеркнутого, проакцентированного, — нет. В старых произведениях проявления эроса если и наблюдались, то только со стороны, с расстояния. Причем, как правило, эрос накладывался на исторические сюжеты: «Бестелесное сладострастие» (1971), «В отставке. (Мамонов и Екатерина)» (1979). Тема дистанцировалась не только от личности автора, но и от текущего времени. Поэзия Елены Шварц вообще всегда была вне личностного эротизма. В новом сборнике правило нарушается один-единственный раз, да и то нарушение больше похоже на проговору: «Помню — счастлив однажды был мною один человек...» — но тут же: «Целовал в замерзшие губы рабочую лошадь, что стояла, под грудю ящиков горбась». Елена Шварц убивает даже самые малые ростки эротизма.

Но если не об эросе, не о творчестве (редко) — то о чем тогда она пишет? О Боге и о себе. Эта тема очень часто ставится ребром — несовершенства земного и небесного, Божеского и человеческого. Мир несовершенен настойчиво, коварно:

Весь мир неправильный —
Здесь время течет разное,
В душе иначе, чем на небе,
В уме инако, смерть заразна,
И яд незримо злеет в хлебе.

Потому так и привлекательно погружение в блаженное безумие, которому предшествует «потоп» сознания:

Пока ты уходила,
В твой дом стучала, била
Подземная вода.
Она размыла ум и сон,
И в эту пустоту
Тебе вселиться нету сил —
А токмо что Христу.

(«Ксения Петербургская»)

Или:

Дрогнет ум, потоп начнется,
Хлынет темная вода.

(«Антропологическое страноведение»)

Все это тревожит, все это можно назвать, но не понять до конца, не вместить — «мое сердце меньше боли». Чаша терпения-смирения переполняется, вскипает, боль переплескивает за края. Человек вспоминает о Боге.

Бог присутствует чуть ли не в половине стихотворений Елены Шварц. Она продолжает начатую ею раньше тему мистического слияния, взаимопроникновения Бога и человека («он теперь весь внутри», «он драгоценный луч / Или иголка — человек же стог»). Но отношения у автора с Ним явно не канонические. Обращения к Богу и раньше не всегда были исполнены ортодоксальной почти-тельности:

Я знаю, Господи, я много виновата,
Но Ты... Но Ты... —

(«Музей атеизма», 1981)

но Шварц брала и иной тон: «Я не унижу спящего во мне / огромного сияющего Бога» (1978). Были традиционно-«благостные» стихи: «Отземный дождь» (1985), «Крещение во сне» (1991), «Троеручица в Никольском соборе» (1996)... Религиозная тема никогда не оставляла ее равнодушной.

Теперь в «неканонических» интонациях Шварц чаще слышна непосредственность («Никого, кроме Тебя, / Больше нету у меня») — то есть, по сути, искренность, — но есть и другое. Бог, живший в человеческом сердце и путеводно светивший, теперь уменьшается до размеров иголки, затерявшейся в стогу сена, или же превращается в сумасшедшего (ибо «тварь обезумела» и «мира лопнула голова»):

Бог не умер, а только сошел с ума,
Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма.

(«Трактат о безумии божьем»)

Это — безответные вопросы («нераздельность любви и страха») и метания («я отвернулась от него — не мучь»).

Стараюсь я забыть
Все, что забыть не в силах,
И мысль моя, с дождем
Сойдясь, рождает крест.

Такое своеобразное рождение креста кажется не случайным. Вертикаль дождя соединяется с горизонталью мысли. Мысль, сознание — не восхождение, а течение духа. Но ведь есть и другой путь — вертикальный. По этому поводу хочется привести слова Евгении Герцык: «Человек восходит спиралью, всегда имея высшим над собою противоположное тому, на что сейчас ступил...»

Вертикаль, восходящее в творчестве Шварц часто выведено через образ свечи или огня — стихии, стремящейся вверх, — но уверенности, что именно этот путь — избранный, истинный, нет: ее огонь — далеко не всегда горение души-«саламандры».

Он либо *недосягаемое*, как в стихотворении-мотто «Поминальная свеча»:

Я так люблю огонь,
Что я его целую
.....
Трепещет огонек,
Но только тьма во мне, —

либо бремя, как в «Короне». В стихотворении «Зажигая свечу» слышен уже отказ от «вертикальных» усилий:

То, что не вымолвит в сумерках мозг,
Выплачет тусклый тающий воск.
.....
Скажет он лучше, вышепчет сам,
В луковке света мечась к небесам.

Эта модель «не я, а кто-то за меня» подводит к теме фатализма, подчиненности человека течению судьбы («Огнем потаенным сиять...», «Ковчег», «Смятение облаков...»).

..И унесло с лица земли.
Кружась, смеясь, летела я
В пустыню дикобытия.

Отрицание судьбы, заявленное в ранних произведениях — «Нет для меня любви и смерти / И встреч неожиданных роковых» («Я родилась с ладонью гладкой...», 1981), — теперь все чаще и чаще сменяется мотивами непротивления року. Человек как будто лишается самостояния — не он идет, а *его влечет*. И не потому ли «горизонтальным» стихиям — небу, облаку, воде, морю — так вольготно в ее стихах?..



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА: РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ ИЛИ ГИПЕРТЕКСТ?

- И. В. Кондаков. «Где ангелы реют». (Русская литература XX века как единый текст). — «Вопросы литературы», 2000, № 5.
- И. Н. Сухих. Книги XX века: русский канон. Эссе. М., «Независимая газета», 2001, 352 стр.
- А. Гольдштейн. Лучшее лучших. Еще одна попытка систематизации достижений русской прозы уходящего столетия. — «Ex libris-НГ», 1999, 14, 21 октября.

Все сложнее говорить о русских писателях минувшего века: «все исписано сикось и накось, поперек и по краю листа»; и, наоборот, все проще, ибо многое из высказанного ранее уже полузабыто.

Доктор философских наук И. В. Кондаков (чьим культурологическим работам несть числа) явил в виде пространной статьи некий концептуальный вариант итога прошедшего столетия отечественной литературы. Автор предлагает взглянуть на век XX из «космических далей» века XXI, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что год на дворе пока 2001-й. Кондакову как посланцу будущего кажется, что даже сейчас только «кое-кто из нас смутно помнит разницу между „советским” и „антисоветским”, но уже отличия между „красным” и „белым” не помнит практически никто, разве понаслышке от дедушек и бабушек». По мнению автора, процесс этот усугубится в веке XXI настолько, что мы точно не будем и не захотим знать, чем «различались между собой литература серебряного века, литература советская и литература Русского Зарубежья», нам будет решительно наплевать, кто руководил когда-то писателями: Фадеев или Платонов, мы будем думать, что Брежнев (как «автор» небезызвестной трилогии), Сахаров и Солженицын о чем-то спорили «за круглым или квадратным столом». По-иному станет выглядеть и наша литература: она образует единое поле, где стихи «красного» Маяковского и «белого» Мандельштама, равно как проза «бело-красного» А. Толстого и «красно-серого» Павленко, окажутся в общем строю, ибо речь в них идет об одной и той же стране, об одних и тех же людях, стройках и «паровозных гудках».

Безусловно, только взглянув одновременно с несовместимых друг с другом точек зрения, можно составить объективное мнение об эпохе. Здесь Кондаков прав. Однако главный смысл работы не в этом. Все тексты русских авторов XX века — это один гипертекст, — вот основная идея Кондакова, в чем не оставляют сомнений подзаголовок статьи и ее головокружительная концовка: «Мы воочию увидим, как Бунин и Маяковский, Горький и Солженицын, Мандельштам и Г. Иванов, Булгаков и А. Толстой, Платонов и Фадеев, Шолохов и Бабель (список не завершен), взявшись за руки, подобно героям фильма Ф. Феллини „8 с половиной”, ведут свой вечный и бесконечный хоровод...»

Тезис о существовании некоего специфического единства, заключенного в хронологические рамки, видимо, в какой-то степени находит подтверждение в так называемых «хит-парадах», составленных путем социологических опросов: «Лучшие авторы XX века», «Книги века» и т. п. В учебниках, справочниках, словарях также свободно сосуществуют самые разнообразие фигуры писателей, однако это не дает повода для «хоровода».

Место произведения в мировой культуре формируется веками. Меняется, порой и кардинально, отношение к памятникам: что только не сбрасывалось с «парохода современности». С окончанием эпохи социализма нарушились стройные концепции развития литературы, танцующие от еще не забытой ленинской статьи (быть может, кто-нибудь вспомнит ее название). «Свято место» стало пусто. Появился естественный соблазн разрушить всё (старые представления о литературе) до основания. К счастью, пока не удалось. Пример взвешенного подхода к нашему наследию сравнительно недавно преподнес коллектив авторов школьного учебника русской литературы XX века под редакцией В. Агеносова¹, гибкая концепция кото-

¹ «Русская литература XX века. 11 класс». М., «Дрофа», 1997.

рого подразумевала безусловный пересмотр стереотипов советской эпохи и вместе с тем бережное отношение к ее лучшим образцам. Все основные пласты русской литературы XX века органично входят в структуру книги, хотя это вовсе не означает, что нам «все едино». Соседство Набокова и Фадеева, Горького и Солженицына не раздражает, ибо они просто *сосуществуют* под одной обложкой.

Видимо, с «космической» точки зрения *все*, написанное человечеством, — это один гипертекст, включая каждый «счет из прачечной»; но для меня, человека, живущего в веке XXI (и, как мне кажется, представляющего разницу между «белым» и «красным»), по-прежнему существуют *разные тексты*. Потому важно для меня и то, кто руководил писательским союзом, и многое другое. (Между прочим, даже для Федора Годунова-Чердынцева, автора реферата о Чернышевском, и самого Набокова также была существенна разница между революционными демократами и их оппонентами, хотя смотрели они на литературу века XIX из «аэропланной дали».)

Что касается обобщений опыта века XX, мне кажется куда более продуктивным, например, подход лауреата Антибукера-97 и Малого Букера-97 Александра Гольдштейна, именующего совокупность литературных памятников «пестрым свитком». Мудрый Гольдштейн, предлагая свой вариант двадцатки лучших русских романов века, не стал определять критериев отбора, намекнув на некое «свечение тайны», исходящее от самих произведений и их авторов: хочу так, и дело с концом.

Свободен в своем выборе и Александр Солженицын, неторопливо, кирпичик за кирпичиком собирающий «Литературную коллекцию»; кладку, заметим, равно образуют «красный» Малышкин и «белый» Шмелев.

Своеобразное ассорти из шедевров прошедшего столетия составил и Игорь Сухих — профессор кафедры истории русской литературы Петербургского университета и обозреватель «Звезды», откуда есть пошел «Русский канон»: в журнале печатались главы из будущей книги. Автор — человек разносторонний. Он выступает с докладом «„Наше все“: от трона к термину» на пушкинской конференции и в то же время пишет статьи типа «Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту», о «любви к водке и закуске в прозе»². Другими словами, он не из тех, кто осторожничают, — а вместе с тем его двадцатка (в книге «Русский канон» представлена первая половина перечня — десять произведений) вряд ли способна кого-либо шокировать.

Сопоставим для наглядности два перечня.

И. Сухих

Антон Чехов, «Вишневый сад»;
Максим Горький, «Мать»;
Андрей Белый, «Петербург»;
Евгений Замятин, «Мы»;
Михаил Зощенко, «Сентиментальные повести»;
Александр Фадеев, «Разгром»;
Исаак Бабель, «Конармия»;
Андрей Платонов, «Чевенгур»;
Владимир Набоков, «Дар»;
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»;
Михаил Шолохов, «Тихий Дон»;
Иван Бунин, «Темные аллеи»;

Александр Твардовский, «Василий Теркин»;

Борис Пастернак, «Доктор Живаго»;
Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»;

Варлам Шаламов, «Колымские рассказы»;
Василий Шукшин, «Характеры»;
Юрий Трифонов, «Старик»;
Валентин Распутин, «Прощание с Матерой»;
Андрей Битов, «Пушкинский дом».

А. Гольдштейн

Федор Сологуб, «Мелкий бес»;
Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина»;
Андрей Белый, «Петербург»;
Юрий Олеша, «Зависть»;
Михаил Зощенко, все написанное;
Николай Островский, «Как закалялась сталь»;
Исаак Бабель, «Конармия»;
Андрей Платонов, «Котлован»;
Илья Зданевич, «Восхищение»;
Юрий Тынянов, «Смерть Вазир-Мухтара»;
Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»;
Виктор Шкловский, «Сентиментальное путешествие»;
Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»;
Борис Пастернак, «Доктор Живаго»;
Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»;
Варлам Шаламов, «Колымские рассказы»;
Даниил Андреев, «Роза Мира»;
Всеволод Иванов, «У»;
Эдуард Лимонов, «Это я — Эдичка»;
Юрий Мамлеев, «Шатуны».

² «Первое сентября», 2001, 4 апреля.

Как мы видим, совпадают только пять книг — «Петербург» (кстати, не обойденный вниманием и Солженицына), «Конармия», «Доктор Живаго», «Архипелаг ГУЛАГ» и «Колымские рассказы». «Чевенгуру» Гольдштейн предпочел «Котлован», признавшись, что «долго колебался, не выбрать ли „Чевенгур“». Роману «Мать» — «Жизнь Клима Самгина». Наконец, Гольдштейн не выделил какое-либо произведение Зощенко, предпочтя формулу «все написанное»... Наверное, в будущем сядет еще кто-то и составит свою двадцатку, и будет ему очень сложно нафантазировать что-нибудь, не повторяющее выбора ни Сухих, ни Гольдштейна. Получится у него, скажем, такой алфавитный список:

М. Агеев, «Роман с кокаином»;
 Леонид Андреев, «Жизнь человека»;
 Виктор Астафьев, «Прокляты и убиты»;
 Анна Ахматова, «Реквием»;
 Гайто Газданов, «Вечер у Клэр»;
 Василий Гроссман, «Жизнь и судьба»;
 Леонид Добычин, «Город Эн»;
 Юрий Домбровский, «Хранитель древностей»;
 Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема»;
 Юрий Казаков, все написанное;
 Юрий Коваль, «Суер-Вьер»;
 Александр Куприн, часть написанного;
 Михаил Осоргин, «Сивцев Вражек»;
 Константин Паустовский, часть написанного;
 Пантелеймон Романов, «Русь»;
 Константин Симонов, «Живые и мертвые»;
 Иван Солоневич, «Россия в концлагере»;
 Алексей Толстой, «Хождение по мукам»;
 Борис Ширяев, «Неугасимая лампада»;
 Иван Шмелев, «Лето Господне».

Согласитесь, этот перечень способен вызвать куда больше упреков в неполноте, тенденциозности и проч. Список Сухих удивления не вызывает. Все это преимущественно книги, которые сложнее не упомянуть. Гольдштейн более оригинален, но он прежде всего выступает не в качестве исследователя, а в качестве создателя своего текста. Список Гольдштейна отнюдь не случаен, хотя основой ему послужила «разнузданность личного вкуса». «Нет ничего объективнее субъективного выбора, сказал бы пишущий эти строки, пожелай он обогатить их простым парадоксом», — замечает в предисловии к двадцати коротким эссе автор. И хотя прихотливые «аннотации» автора «Расставания с Нарциссом» никак нельзя считать «краткой характеристикой произведений», видны причины, по которым он включает каждую вещь в перечень «лучшего лучших».

«Как закалялась сталь» Николая Островского — как повествование из небытия, «воспринимаемого прижизненно-райским состоянием»; «Розу Мира» Даниила Андреева — как образец визионерства и провидчества; «Зависть» Юрия Олеши — как прозу, разыгранную на «неметафорических квадратах боли и жалости»; «Россию, кровью умытую» Артема Веселого — как крупнейшее экспрессионистское полотно; «Восхищение» Ильи Зданевича — как свободную от покаяния аллегорию восхождения и гибели будетлянства; лимонковский «Это я — Эдичка» — как «вопл от свободы», усталость русской литературы от фальшивых приличий; «Шатуны» Юрия Мамлеева — как «пророчество об интеллигенции, захлебнувшейся в сектантском народе». Нет никаких сомнений, что книги, собранные автором, абсолютно *разные*, при том, что советское и антисоветское, «белое» и «красное» соединено в едином тексте — тексте Гольдштейна.

В отличие от Гольдштейна, Сухих пытается подвести свой перечень под некую концепцию, которая заявляет о себе во введении. Что есть наша литература: свидетельство, пророчество, провокация?.. Составляющие этой странной триады подчас обнаруживаются на дальнейших страницах «Русского канона», однако вопрос сей оказывается скорее риторическим, а книга — удачно скомпонованной и увлекательной. Едва ли не каждый читатель поймается на эту закинутую то тут, то там блесну (заметим, эта рыболовная снасть — как раз и есть провокация), роль которой играют и названия глав: «Струна звенит в тумане» («Вишневы сад»), «Между

Марксом и Богоматерью» («Мать»), «Прыжок над историей» («Петербург») и т. п. В начале глав автор последовательно насаживает на крючок червячков: пророческое предсказание гипнозиста (Зошенко), бешенство командарма Буденного (Бабель) и т. д., — столь соблазнительные приманки всякий раз охотно заглатывал и я. Вот и преподаватели вузов, выхватывая книгу из моих рук, жадно зачитывались ею, приговаривая: «Как бы мне это пригодилось для лекций (семинаров)!»

В «Русском каноне» свободно обращающийся с разнородным материалом и не менее свободно выражающий собственную точку зрения автор смело берет на себя функцию критического интерпретатора произведений, которые, не теряя многолетнего хрестоматийного глянца, начинают подсвечиваться люминесцентными лампами. Добавим к этому информированность исследователя — использование дневниковых записей, высказываний современников, многочисленных трудов литературоведов и критиков, а также тщательную работу с самими текстами. Двигаясь в противоположном направлении от традиций написания литературоведческих и критических работ (но не достигая при этом границы, за которой располагается собственно художественный текст, подобный гольдштейновскому), Сухих пытается раствориться в речи каждого писателя, как это особенно заметно в случае с Андреем Платоновым. Выигрышной оказывается и форма деления материала на достаточно обособленные монографические главы: писатели не ведут хоровод под одной обложкой, а всяк по-своему выплясывает.

Осязаемо тонок разговор о «Вишневом саде». Мир чеховских героев, прочитанный многократно и школьно интерпретированный, продолжает притягивать нас, как и в начале столетия. Для Сухих, автора книги «Проблемы поэтики А. П. Чехова» (Л., 1987), не существенно, что герои пьесы не поднялись на высоту, которой требует от них предстоящее испытание (главная мысль советских литературоведов), для автора важно, что Чехов угадывает новую форму человеческого существования (потерянный дом). Пьеса Чехова оказывается пророческой, так же как и роман «Петербург» Андрея Белого, признаваемый пророчеством апокалипсическим. Петербуржец Сухих в отличие от петербуржца Бродского числит москвича Андрея Белого своим: «„Петербург“ — внутреннее пространство, топография сознания Белого, от скрытых биографических фобий до символистских прозрений и парений», — и все-таки для автора «Русского канона», человека XXI века, «Петербург» — это прежде всего страшное провидение, «прыжок над историей», а потом уже «блестательное изображение всеобщего смятения» (характеристика Л. Долгополова)³.

Хорош рассказ о «маленьких лишних людях» в «Сентиментальных повестях» Михаила Зошенко. По мнению Сухих, который, как и В. Шаламов, считает одним из главных достоинств писателя то, что он не свидетель, а судья времени, писатель поставил эксперимент на себе: «Он стал настоящим „социалистическим реалистом“ — не по социальному заказу, а по собственному выбору, — изображающим прекрасный новый мир в его послереволюционном развитии (только не мифологизированном, а подлинном)».

Глава о знаменитой антиутопии «Мы» запоминается анализом двух взаимоисключающих черт «литературного Мефистофеля» Замятина — скептицизма и романтизма. В разговоре о «Разгроме» Сухих, опираясь на текст романа, отвергает плоский взгляд на свое детище самого Фадеева — при соответствующей оптике роман читается как русский вариант литературы «потерянного поколения».

В «Русском каноне» Сухих, автор послесловия и комментариев к «Мастеру и Маргарите» (М., 1999), возвращается к книге в очередной раз, излагая свою версию — «Евангелие от Михаила». Но, признаться, расшифровки булгаковского романа за последнее время порядком поднадоели. (Не пошла у меня и глава о романе «Мать» — «еже с ужом», хотя включение его в двадцатку в наши дни заслуживает уважения.) Другое дело — читать о «Даре», исхоженном вдоль и поперек преимущественно на русском Западе. Здесь Сухих проявляет завидную «свежесть дыхания».

³ Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, стр. 340.

В общем, столько всего про эти произведения понаписано, но везде автор сумел сказать что-то свое. А быть может, иной раз и не свое (все исписано сикось и накось!), но через себя пропущенное. Не случайно Сухих привлекает этика культурного стоицизма, к счастью сохранившаяся в веке XX: «Есть автор, возникающая откуда-то изнутри культурная задача, трудности ее воплощения, толстовская „энергия заблуждения”, надежда на провиденциального собеседника...»

Ну а писатели были у нас, повторяю, очень *разные*. Не поток, а, извините, конфетти: белые, красные, серые... Впрочем, Сухих и Гольдштейн последних своим вниманием обошли.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.



РИЛЬКЕ ИЗ МАГАДАНА

Перевод и переводчики. Научный альманах. Выпуск 1. «Р. М. Рильке». Магадан, Северный международный университет; «Кордис», 2000, 115 стр.

Северный международный университет в городе Магадане приступил к изданию серии научных альманахов «Перевод и переводчики». Открывает серию сборник, посвященный Райнеру Марии Рильке. И это не случайно: Магадан сделался в последние годы одним из всемирных центров рильковедения. В России основным — безусловно. Так считаю не только я — так считает Евгений Витковский, и ему можно верить. Не Москва, не Питер — Магадан! Воистину *ex oriente lux*. Чудны дела Твоя, Господи! Студенты защищают дипломы, посвященные Рильке, аспиранты — диссертации, издаются учебные пособия и научные сборники, проводятся научные конференции. Более пятидесяти научных работ о Рильке написаны в магаданском университете. Можно говорить о магаданской школе рильковедения. Так что сборник, посвященный поэту, — очередная веха в большом магаданском проекте «Райнер Мария Рильке».

Несколько лет назад в рамках этого проекта была издана «Пантера»¹, содержащая 20 переводов знаменитого стихотворения с соответствующим научным аппаратом. В новом сборнике публикуются подборки переводов еще двух шедевров поэта: «Мне очи потуши...» («Lösch mir die Augen aus...», 1897) — 13 переводов и «Осенний день» («Herbsttag», 1902) — 25 переводов, предваренных оригиналом. Исключительно интересное чтение. И с точки зрения постижения Рильке, и с точки зрения технологии и психологии перевода.

Переводы «Осеннего дня» даны вне интерпретирующей среды, «Мне очи потуши...» — в аналитическом контексте статьи главного редактора альманаха Романа Чайковского. Это странное и трагическое стихотворение было помещено поэтом в «Часослов» — сборник молитв, религиозных медитаций и диалогов с Богом.

Первый переводчик на русский — как ни удивительно, Семен Людвигович Франк, в переводчиках, как известно, не числящийся. Ему надо было процитировать стихотворение в статье², перевода не было — вот он и сделал его сам, «чтобы хоть в слабой мере дать русскому читателю ощутить непосредственное воздействие поэзии Рильке»: нерифмованный ритмизованный текст — нечто среднее между высококачественным подстрочником и собственно переводом. Тем не менее, на мой вкус, Франк, в соответствии с его инструментальным отношением к этому переводу ставивший себе минималистские цели, все равно преуспел уж никак не менее бравшихся за этот труд после него.

Мне очи потуши — Тебя я увижу,
Мне уши замкни — Тебя я услышу,

¹ Чайковский Р. Р., Лысенкова Е. Л. «Пантера» Р. М. Рильке в русских переводах. Магадан, МАОБТИ, 1996.

² Франк С. Мистика Райнера Марии Рильке. — «Путь». Орган русской религиозной мысли [Париж], 1928, № 12 — 13. Ссылка из обширного справочного аппарата, приводимого Чайковским.

«Разве не верно, что в конечном счете смыслы — это вопрос интерпретации? И разве не подразумевает интерпретация всегда решения? Разве нет ситуаций, которые допускают различные интерпретации, так что человек должен делать выбор?»

Это лагерные размышления Франкла. Лагерной теме полностью посвящена одна из статей альманаха — того же Романа Чайковского — «Рильке за колючей проволокой». О переводческой работе в неволе замученного в советских застенках украинского поэта Василя Стуса (1938 — 1985). Погиб в карцере. До свободы было рукой подать. «Они сошлись, — пишет Чайковский, — лагерная неволя, почти не поддающаяся переводу поэзия Рильке и несломленный дух поэта и переводчика». Даже и не читая статью, можно заранее предположить, что Стус переводил «Пантеру». Что и переводить-то в тюрьме, как не «Пантеру». Действительно, переводил. Назвал «Барс» — сохранил мужской род оригинала, на немецком ведь «Der Panther»:

Йому несила втому подолати
од миготіння нескінчинних ґрат.
Неначе світ — це ґрати, ґрати, ґрати,
помножені в очах увостократ...

Украинский Рильке — совсем иной звук. Стус переводил Рильке — писал о себе. И о себе. Работал в подземном руднике. Запрещали иметь словарь. В карцере, куда попадал с ужасающей регулярностью, не давали писать. Так Рильке не переводил никто. Он перевел «Орфея, Эвридику и Гермеса» — неудавшийся выход из подземного царства — история с глубоко личной проекцией. Переводил «Сонеты к Орфею», перевел полностью «Дуинские элегии». До нас они не дошли. То ли уничтожены «литературоведами» в погонах, то ли пылятся до сих пор в архивах КГБ.

Два года назад я писал в «Новом мире» (1999, № 4) о вышедшей в Магадане в том же издательстве книжке Чайковского «Случайные строки». И там была «Пантера», но в переводе самого Чайковского. Мальчишкой пришлось ему смотреть в зарешеченное окно вагонзакла. Сколько же переводчиков «Пантеры» на русский были узниками! И в той книжке тоже был зек и тоже украинский поэт — Роман Ольгович, брошенный КГБ за решетку. Сюжет, ритмически повторяющийся.

Влияние Рильке в России — особая тема. Самому поэту и в голову бы прийти не могло, что образ зверя в парижском зоопарке, беспрестанно ходящего вдоль прутьев, — не только пластический образ, к которому Рильке так стремился в Ding-Gedicht, не только метафизический образ, но и образ грубой физической неволи — ненамеренно озвученное им обещание младенческого тогда XX века, выполненное в России с неимоверной щедростью.

Я процитирую Альфреда Солянова — одного из переводчиков Рильке, отвечающих на страницах альманаха на разработанную в магаданском университете анкету. Он говорит о Рильке в контексте страны и времени: «Я был переполнен удивлением, что так можно видеть мир — жизнь, любовь, смерть... Мое поколение... впитывало в себя со скоростью губки все, что хоть как-то дышало жизнью на нашей мертвой и выжженной земле, где нас лишили права общаться... с книгами, которые мы хотели читать».

Естественным образом завершает альманах статья Елены Лысенковой «Материалы к библиографии переводов из Р. М. Рильке». Эта структурированная библиография включает 71 позицию. В общем, не так уж много, учитывая интерес к Рильке в России и соответствующий этому интересу объем публикаций. Однако подборка Лысенковой — всего лишь уточнение уже существующих достаточно полных библиографий.

Над сводным корпусом работа продолжается, но и он обречен тут же устареть — лишь компьютерная база данных с постоянным ведением может решить эту проблему. Я держу в руках пятый выпуск берлинского русско-немецкого журнала «Студия», вышедший в прошлом году. Не попавшая еще в лысенковскую картотеку публикация Рильке. Три перевода Владимира Авербуха из «Новых стихотворений»: «Песня любви», «Масличный сад», «Леопард» (как и Василь Стус, Авербух сохраняет мужской род «Des Panters»). Все три стихотворения многожды переводились, но версии Авербуха выдерживают самое взыскательное сравнение.

Авербуховский перевод «Осеннего дня» вошел в антологию магаданского сборника. Неизданным переводам Авербуха «Книги образов» и «Сонетов к Орфею» посвящена статья Романа Чайковского «Доказательства переводчика» — вообще первая статья о переводах Рильке профессора математики из Силезии, которыми тот занимается уже двадцать лет, до последнего времени и не помышляя о публикации. Оценивая работу Авербуха в меру комплиментарно, в меру критически, Чайковский представляет его сообществу любящих Рильке. С удовольствием приведу вместе с Чайковским примеры удач мало кому известного автора.

«Нельзя не порадоваться... — пишет Чайковский, — когда, прочитав у Рильке:

Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht.
Sie sprechen nicht die Sprache nur des Jahres.
Aus Dunkel steigt ein buntes Offenbares
und hat vielleicht den Glanz der Eifersucht, —

находишь в переводе:

С нами на ты цветы, лист клена, плод.
И молвят не об этом только лете.
Из тьмы встает, пестрея, плоть столетий
и явный отблеск ревности несет.

Или когда вместо знаменитого: „Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert...“ — читаешь такую удачную строку: „О, восхитясь, восхоти превращения: о пламя...“»

Кто пытался переводить — оценит. Обратите внимание на звуковую игру в первой строке у поэта и у переводчика: «Um mit Blume» — «на ты цветы». Очень характерно для Рильке. И для авербуховских переводов тоже характерно.

Тираж сборника, о материалах которого я выборочно написал, производит впечатление: 100 (сто!) экземпляров. Культура в России отнюдь не погибает, как полагают некоторые. Но она приобретает демонстративно штучный характер.

Михаил ГОРЕЛИК.



ОБНАРУЖЕННЫЙ ЗАГОВОР

Иго ь Волгин. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. М., «Либерия», 2000, 704 стр.

Так называемое «дело Петрашевского» известно в нашей истории прежде всего благодаря участию в кружке Петрашевского Федора Достоевского, тогдашней молодой звезды на небосклоне русской литературы. А между тем — как точно замечает И. Волгин в преамбуле к своему труду — «здесь, по сути, начинается история русской интеллигенции... Здесь — одна из завязок нашей национальной судьбы. В этом отношении дело 1849 года еще не закрыто».

И действительно: дело это под исследовательским пером Волгина оказывается такой же пронзительной новостью, как, например, дела репрессированных коммунистами литераторов, когда Лубянка их приоткрыла. В классической цепочке «декабристы — Герцен — народовольцы» выпадало важное «социалистическое» звено: петрашевцы. Правда, прямо скажем, ничего конкретного они не успели сделать: не вышли на площадь, не издавали революционный журнал, не шли в народ, не звали «Русь к топору!», не начинали террора. Но как-никак по делу Петрашевского были приговорены к казни и каторге десятки людей. Неужели на пустом месте? — случалось недоумевать до книги Волгина. Теперь многое встает на свои места. Дело было действительно, если можно так выразиться, «превентивным», социалистическому нарыву — в силу разных, тщательно разобранных Волгиным причин — не дали состояться: вскрыли при созревании. Не просто было тогда вести следствие и судить, в общем, не по делам, а намерениям. Но не проще и совре-

менному исследователю реконструировать не по делам, а намерениям то, что и тайным обществом в точном смысле этого слова не назовешь.

Волгину удалось максимально сфокусировать казалось бы уже навсегда размытое. В этом деле, пишет Волгин, «пересекаются роковые пути человека и государства, причем каждый оказывается по-своему прав». И впрямь автор воздает «всем сестрам по серьгам». Ведь и после сталинщины история у нас писалась как? Были «пламенные революционеры», борцы «за нашу и вашу свободу», и — «охранка», гонительница и утеснительница свободолюбцев. Интеллигент читал и ловил диссидентский кайф, отождествляя себя с первыми, а КГБ — со второй. Как простодушно сказано в аннотации к вышедшей уже в 1995 году книге: «Исторические параллели между III Отделением и МГБ... позволяют извлечь немало уроков, столь необходимых в наши времена»¹. Исследование Волгина практически свободно от такой... «вульгарной социологии». С историей лучше не воевать, а стараться понять ее изнутри. Не надо сусальности и лубка, но не нужны и осовременивающие ее злые карикатуры.

Петрашевцы были «русские мальчишки», пылко уверовавшие в религию прогресса и идейно воспринимавшие российскую реальность как мешавшую их делу рутину. Волгин приводит фрагмент воспоминаний петрашевца Ахшарумова, которому в пору сидения в Петропавловской одиночке было двадцать с небольшим лет. «Иногда удавалось послать через окно несколько слов. Свидания эти, хотя и минутные, меня очень оживляли. Между близкими друзьями были двое моих дядей; одного из них — Михаила Семеновича Бижеича — мы, то есть я и братья мои, очень любили и уважали... Когда он поравнялся с моим окном и смотрел пристальным взглядом на мое исхудалое, бледное лицо с длинными волосами, я, полагая ему громкое приветствие, почти закричал и окончил его словами: „А Фурье все-таки прав!“ Он, испугавшись, ответил мне: „Молчи, молчи!“ — и скрылся за амбразурой окна». Ну чем не «А все-таки она вертится!» Галилея? Молодые люди, в общем не бедные, привыкшие к элементарному комфорту, к хорошему кофею по утрам, оказались вдруг в сырых петропавловских одиночках. Как писал в своем прошении от 23 июня 1849 года М. Петрашевский: «Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) — есть собственность общественная, достояние народное... Что, если вместо талантливых людей — оклеветанных — по окончании следствия будет несколько человек помешанных?» Невзгоды переносились тяжело, как бы теперь сказали, «крыша ехала» — «а Фурье все-таки прав!». По свидетельству Достоевского, петрашевцы вышли на Семеновский плац, на казнь, оставшись при своих убеждениях.

Петрашевский, очевидно, чувствовал себя особенно неудобно, потому что «вдруг» и сам подставился, и других подставил. Ведь посиделки его кружка могли бы продолжаться еще долго (Михаил Васильевич, оказывается, даже не подозревал о радикальности некоторых его членов — Достоевского, Спешнева и других, — втайне от лидера обзаводившихся уже подпольною типографией), если бы сам Петрашевский не литографировал в количестве более двухсот экземпляров и не стал публично раздавать свою реформаторскую антикрепостническую записку «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений», чем и обратил на себя внимание. Внедрить агента и «раскрыть заговор» — на это много времени не понадобилось.

История с приобретением, точнее, исчезновением с квартиры Н. А. Спешнева типографского станка, распутанная — по возможности — Волгиным, поистине фантастична. При обыске не собранного еще гутенберговского снаряда жандармы не заметили — так были сосредоточены на изъятии крамольных бумаг. На допросах выяснилось, что станок куплен и существует. Дубельт тотчас посылает своего полковника Станкевича за этой страшной уликой. И что же? Матушка Спешнева сообщает, что еще за месяц до визита Станкевича комната ее сына была распечатана «Действительным Статским Советником Липранди с Корпуса Жандармов Подполковником Брянчаниновым и все найденное подозрительным взято им с со-

¹ Давыдов Юрий. Синие тюльпаны. М., 1995.

бою». Волгин умеет передать читателю свое исследовательское изумление: «Это — невероятно». Действительно, еще до показаний петрашевцев о типографии вдруг проводится вторичный обыск у Спешнева и типография изымается. Значит, подсутился кто-то, кто оставался на воле и при этом знал о ее наличии. Да не просто подсутился, а за спиной Дубельта и следствия имел силы задействовать Липранди и Брянчанинова, верней, бери еще выше — тех, кто мог властно отдать им такой приказ. (Дубельт потом от Следственной комиссии этот факт скрыл вообще — не нашли типографию, и все тут.) Очевидно, Михаил Леонтьевич догадался, что Липранди ни за что не пошел бы сам на такой риск, не имея на то распоряжения — через голову Дубельта — самого графа Орлова, второго после государя человека над Дубельтом. И, очевидно, также, додумывает Волгин, всему этому «предшествовала сложная многоходовая интрига». Исследователь выдвигает несколько оригинальных гипотез. Не будем раскрывать их, чтобы не снижать интерес к книге Волгина ее потенциальных читателей. «Конечно, — подытоживает автор, — успех этой акции выглядит едва ли не чудом. Из политического процесса выпало самое „криминальное“ звено. В едином, и казалось бы, неделимом бюрократическом пространстве возникла некая „черная дыра“, которая сделала видимое невидимым, а бывшее — небывшим. „Чудовищно, как броненосец в доке“, дремавшее государство было предано своими же „личардами верными“: точнее, его просто *обошли*».

У Волгина зоркий глаз даже на мелочевку, он не «импрессионист», а... расследователь, скрупулезно умеющий, в этом ему не откажешь, сличить даты, поймать и ухватить даже мелкие противоречия. И остроумно припомнить что-то, прямо к делу не относящееся. Так, вспомнил он, что предков петрашевца С. Ф. Дурова, выходцев из Прибалтики, «высоко» оценил Иван Грозный: «И развлечь сумеют, и тайну сохраняют». И — сразу видишь этого кровавого параноика-блудодоя, столь ценного нынче нашими новоявленными «государственниками».

Партикулярных в основном петрашевцев судил Военно-полевой суд. (Военных было среди них мало, например, штабс-капитан П. А. Кузьмин, дядя будущего замечательного поэта М. Кузьмина, взятый в постели прямо с дамой и с нею же привезенный переусердствовавшими жандармами в участок.) Очевидно, гражданский суд не обладал полномочиями для столь сурового приговора.

...А что же сам Достоевский «на фоне эпохи» — в книге Игоря Волгина? Пылкий, «алчущий и жаждущий правды» поклонник Виссариона Белинского? Белинского, который, как известно, со слезами умиления ходил смотреть на начало строительства железной дороги меж Северной Пальмирой и Третьим Римом, которого даже возмущала мысль, что она может использоваться для грубых товарных перевозок, а не чего-нибудь деликатного? Непостижимый, но хотя, безусловно, всем памятный факт: Достоевского приговорили к расстрелу за чтение вслух письма Белинского к Гоголю — и только. Правда, приватно было им сказано и несколько радикальных фраз — но и все! Хочу заметить, что, на мой взгляд, монографии Волгина все-таки не хватает отдельного обобщающего очерка-этюда о петрашевце Достоевском: его образ раздроблен по всему повествованию книги. И все же он есть, и его нельзя не полюбить — со всеми его крайностями, а порой и нелепостями.

В позднем Достоевском не отделить монархиста-утописта от христианского демократа. Оригинальный, особый сплав, хотя с разными вариациями присущий, правда, и некоторым другим видным славянофилам. Русская консервативная мысль мучительно и, прямо скажем, не всегда эффективно искала себя на путях формирования национальной творческой идеологии — в пику захлестывающей все и вся идеологии освободительной. Достоевский времен «Дневника писателя» и Пушкинской речи — виднейший представитель ее. Тем интереснее история заправки его миропонимания, из какого «социалистического» гнезда оно — через Сибирь — вылетело. В тигле русского гения вступили в мировоззренческую реакцию и принесли своеобразный плод основные тенденции и течения XIX столетия, порою разнонаправленные...

Все-таки поразительно, насколько по-разному видят порой современники одну и ту же реальность. Л. В. Дубельт записывает в дневник: «Наше правление стоит на самой середине между кровавым деспотизмом восточных государств и

буйным безначалием западных народов. Оно самое отеческое, патриархальное, и потому Россия велика и спокойна... возьмите общую физиогномию государства: довольство, мир, тишина, трудолюбие. В России кто несчастлив? только тунеядец и тот, кто своеволен». Русский крестьянин — «в избе, и на столе каравай». Ну ладно Дубельт, «жандарм и охранитель». Но и его будущий «подопечный», юный радикал Пушкин, в 1819 году рисует схожую — хотя бы зрительно — картину: «На влажных берегах бродящие стада, / Овины дымные и мельницы крилаты; / Везде следы довольства и труда...» У Дубельта в его дневнике есть и такой пассаж: «Человек истинно просвещенный знает, что он должен прежде всего исполнять свои обязанности... Вся история и вся нравственность целого мира состоят только в следующих двух словах: права и обязанности! В истинном их значении и познании заключается вся премудрость и все благополучие человеческой жизни, — а в превратном все бедствия. Человек, который твердо уверен, что права его проистекают от исполнения его обязанностей, никогда не будет вредным членом общества, и чем он просвещеннее, тем полезнее для своих собратий. Тот же, который требует только прав, а об обязанностях и знать не хочет, тот доказывает, что истинного просвещения у него и в помине нет, хотя бы он и говорил на всех диалектах земного шара...» Кто это пишет? Николай Гоголь, Семен Франк, Александр Солженицын? Генерал Дубельт...

Дубельт и «исполнял свои обязанности» добросовестно: служил, как умел, неограниченной монархии, самодержавию, в котором видел единственно спасительный для России путь. «Малейшее изменение, — считал он, — сделает в Престолещели и подкопает его; тогда и без журналов, и не умея их даже читать, русский народ через полвека провалится... в пропасть»². (И ведь и впрямь, ежели начать отсчет с 1861 года — года крестьянского освобождения, и прибавить к нему вышеупомянутые полвека, то окажется, что Дубельт со своей «пропастью» ошибся-то всего на шесть лет.)

Однако многие видели свои гражданские обязанности совершенно в другом. Отчасти потому, что другую видели окружающую реальность. И вовсе не одни демократы и социалисты, а, к примеру, и А. Хомяков: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймлена», — писал он о России, подобно другим славянофилам, не менее, чем Белинский, Петрашевский и проч., желавший скорейшей отмены крепостного режима.

...Казнь петрашевцев не может и по сей день не вызывать острого возмущения (хотя она и оказалась не смертной, а в некотором роде «гражданской») — даже и со скидкой на эпоху, не знавшую правового сознания. Но и эта пытка обросла мифами и легендами. Волгин приводит действительно вопиющую цитату из труда питерского историка Л. Б. Нарусовой (1996): петрашевцев «вывели на плац, они увидели виселицы... мелкая барабанная дробь, шатающаяся табуретка под ногами». Приговоренные к расстрелу петрашевцы под пером супруги тогдашнего градоначальника Санкт-Петербурга А. Собчака превратились в... висельников. «Шатающаяся табуретка, — замечает Волгин, — выглядит здесь особенно натурально».

Правда, в стилевом отношении в труде Волгина не все гладко. «Государство блюло чистоту жанра» (отказав сексоту в наживе). Петрашевцы «имели удовольствие наблюдать похороны» великого князя Михаила Павловича. А. А. Клейнмихель, «благодаря усердию Некрасова застрявший в памяти бесчисленного множества школьных поколений», — при чем здесь «усердие»?

Оглядываясь на свою «петрашевскую» молодость, Достоевский много позже миролюбиво заметил: «Государство только защищалось, осудив нас». «Положим, что так», — пробует согласиться Волгин. Но замечает: «Мера необходимой обороны была, однако, сильно превышена».

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

² «Российский архив». VI. М., 1995, стр. 133 — 136.

КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

Небольшое предуведомление владельца полки. К сожалению, до сегодняшнего дня перемещение в пространстве сказывается на качестве и количестве русских книг, которые можно купить в магазине. Ваш покорный слуга сменил на некоторое время местопребывание — с провинциального русского на не менее провинциальное центральноевропейское, и в результате лишился любимейшей библиофильской забавы — пойти в книжную лавочку и разориться там на несколько изданий на родном языке. Друзья и сочинители балуют автора этих строк: пересылка книги часто обходится дороже ее покупки. При этом, понятное дело, ощущается недостаток плохих книг: никто из знакомых не желает разориться на пересылку заведомого брака. Поэтому в нижеследующем обзоре отсутствует традиционное деление на плюсы и минусы. Сплошной плюс. Не потому, что владелец «Книжной полки» внезапно подобрел, а потому что... см. выше.

+10

Хорхе Луис Борхес. Страсть к Буэнос-Айресу. Произведения 1921 — 1941 годов. Составление, предисловие и примечания Б. Дубина. СПб., «Амфора», 2000, 599 стр.

В последний раз я был так же удивлен (ошеломлен, восхищен), когда прочел первый том Сирина в «симпозиумском» издании. Юный Набоков предстал там сочинителем религиозных стихов и прозы под Ремизова. Расстояние, пройденное им даже до гениального начального диалога «Машеньки» (помните: «Лев Глево... Лев Глебович?»), просто устрашает — ничего общего с продукцией пятилетней давности. Но то Набоков. Эволюцию Борхеса проследить, казалось, было невозможно — немисливо представить себе слепца молодым, тем более — зрячим. И вот — свершилось. «Каким молчанием отвечал тогда Буэнос-Айрес! Из исполинской глыбы в два миллиона, казалось бы, живых душ не ударяла милосердная струйка даже одной неподдельной строфы, а шесть бед чьей-то затерявшейся гитары были куда ближе к настоящей поэзии, чем выдумки стольких двойников Рубена Дарио или Луиса Карлоса Лопеса, наводнявшие прессу» («За пределами метафор», 1925). Таким утомительно многословным был разве что наш литератор Вельтман.

Значит, и у Борхеса была эволюция, значит, и он был когда-то молод и молот чепуху. Значение нынешнего первого тома не только в этом. Теперь можно ответить на вопрос, когда начался *настоящий Борхес*. По-моему, он начался с эссеистической книги «Земля моей надежды», выпущенной, когда автору было двадцать семь лет. Примерно тогда же вышла и «Машенька», что любопытно, учитывая, что Борхес с Набоковым одногодки.

В книге есть несколько текстов, русскому читателю либо вовсе до сегодняшнего дня неизвестных, либо разбросанных по случайным публикациям. Борхесовские рецензии — шедевры жанра, отчасти опровергающие самого этого жанра каноны. Среди них — не только общеизвестная «Логическая машина Раймонда Луллия», но и почти не замеченная — на книгу Драуэра «Сабии Ирака и Ирана», которая начинается фразой алмазной твердости и красоты: «За исключением буддизма (который не столько религия или теология, сколько способ обрести спасение), все религии тщетно стараются примирить явное и порой невыносимое несовершенство мира и тезис, или гипотезу, о всемогущем и всеблагом Боге».

Среди моих личных открытий этого тома — «Отрывок о Джойсе», наполовину состоящий из конспекта его же — Борхеса — рассказа «Фунес, чудо памяти» и еще наполовину — из неискренних восторгов по поводу разнообразия стилей «Улисса». В последнем абзаце я насчитал пять слов с «не».

Джеймс Джойс. Уэйк Финнеганов: опыт отрывочного переложения российской азбукой. Переложение Анри Волохонского. Тверь, «KOLONNA Publications», 2000, 126 стр.

Борхесовский «Отрывок о Джойсе» говорит о «Finnegan's Wake» с преувеличенной пышностью: «Они для меня столь же невообразимы, как четвертое измере-

ние Хинтона или никейская Троица». Впрочем, не употреблять избыточные сравнения по поводу этой бесконечно избыточной книги — невозможно. Вряд ли автор этих строк доживет до полного русского перевода безумного и расчетливого творения почти слепого ирландца; тем больше чести написать несколько строк по поводу «опытов отрывочного переложения» его «русской азбукой».

Полноводное начало этого переложения Анри Волохонского завораживает: «Бег реки мимо Евы с Адамом, от белой излучины до изгиба залива просторным пространством возвратных течений приносит нас вспять к замку Хаут и его окрестностям». Несколько похоже на замаскированные прозой гекзаметры Андрея Белого. Или: словно широким жестом обводит автор (переводчик) задрапированной плащом рукой свои владения. Что же, посмотрим. Пейзаж дикий, непонятный.

Главная причина непереводимости «Finnegan's Wake» на русский — не в языковых причудливостях Джойса, а в совершенно чуждом для отечественного читателя культурно-историческом опыте. «Кончилась война. Уимум уимум! Была ли то Юнити Мур или Эстелла Свифт или Барина Фей или Кварта Кведами? Тоумас, поставь марку оом на дядюшку! Пигеи, холд оп мед ваши ноги. Кто, но кто же (второй раз спрашиваю) был тогда бичем для постыдных частей народного Лукали-зада, о чем не стоит спрашивать, как через столетия по возникновению Хомо Калите Эректус что за цена у Пибодиевой монеты, или, излагая прямо, откуда взялся херрингтонов белый галстук...» — и так далее и тому подобное в том же волшебнo-бессмысленном для русского сознания духе. Кто боится Вирджинию Вулф, блин? Девственную Волчицу кто боится, спрашиваю я? Куда летит филемела-птица, почему на невольничьем рынке продают мастерицу, зачем у Кошечки облезли ресницы, летит кобылица, летит кобылица. И мнет ковыль.

Анри Волохонский сочинил прелестную абракадабру, веселую и беззаботную, как во времена до натужных стилизаторских романов, сочиненных издательствами «Захаров» и «Ad marginem».

Что же до 628-страничной чепуховины (в издании «Flamingo», серия «Modern Classic», pocketbook), сочиненной бес-, а не преподобным богохульником, кельтофобом и язвником, то тут нужен, быть может, подстрочный перевод (с бесчисленным количеством вариантов) в духе набоковского издания «Онегина» на аглицком. Да у кого есть столько таланта и свободного времени?

Национализм. Полемика 1909 — 1917. Сборник статей. Составление и примечания М. А. Колерова. М., «Дом интеллектуальной книги», 2000, 240 стр.

Чтение этой поучительной книги наводит на одно неожиданное (для автора этих строк) открытие. Начало прошлого века было эпохой расцвета не только разного рода национализмов и национальных возрождений народов угнетенных, подавленных (вроде ирландского, обсмеянного Джойсом, или чешского, редуцированного Гашеком к брюху и заднице), но и наций, так сказать, формообразующих, точнее — империообразующих.

Вот и «русское возрождение» с «русским национализмом» стали важнейшим историческим фактором того времени. Тут сошлись две обычно несовместные крайности — политика властей и настроения части русской интеллигенции; с одной стороны, русификаторство последних двух императоров, с другой — неославянофильство многих делателей серебряного века и умеренный национализм умеренной оппозиции царизму. Ничего неожиданного — начавшийся переход на индустриальную стадию не мог не привести как к осознанию так называемой «национальной идентичности», так и вообще к росту национализма. Индустриальная эпоха превратила Европу династий и империй в Европу национальных государств — об этом можно прочитать у Эрнеста Геллнера, большого специалиста по этим темам.

Но есть одна маленькая деталь. Россия была «империей», а значит, воплощением духа универсализма, несовместимого с любым проявлением национализма. В Римской империи не было «римской нации», были «римские граждане». В Российской империи были немецкие и польские университеты, армянин — министр

внутренних дел, грузин — герой Отечественной войны, два серба-фельдмаршала и бесконечное количество немецких чиновников. Русифицируя Российскую империю, Александр III, а затем и Николай II подменяли идеологическую основу государства — универсалистскую на национальную. И таким образом ее разрушали: они, а не зловредные революционеры из акунинских компьютерных игр. Из всех авторов книги только Струве что-то понимал в «национальном вопросе»; именно он развел его юридический аспект об обязательном равноправии всех наций империи с психологическим аспектом — о праве каждой нации быть более равнодушной к своему соседу, чем к себе.

Что еще поражает в этой книге — удивительная серьезность тогдашней русской публицистики. До Максима Соколова осталось еще восемьдесят лет. Счастливые времена.

Владимир Малахов. «Скромное обаяние расизма» и другие статьи. М., Модест Колеров и «Дом интеллектуальной книги», 2001, 176 стр.

Эта книга отчасти опровергает утверждения, сделанные мной по поводу предыдущей. Владимир Малахов критикует само понятие «национальной идентичности», а особенно — сведение экономических, социальных и политических проблем к так называемым «национально-культурным». Борьба с засилием «культуроцентризма» кажется сейчас и отважной, и действительно необходимой, так что можно и пострадать. На самом деле, когда любое мельчайшее почесывание тела человеческой цивилизации объясняется ни больше ни меньше как разницей между христианской и мусульманской культурой или между гомофобной и гомофильной (последний термин сам придумал, хотя, быть может, и существует?), начинаешь с тоской вспоминать более затейливых редуccionистов — Вольтера, Руссо, Маркса, Честертона. От мира, превратившегося в калейдоскоп цивилизаций, делящихся на культуры, делящихся, в свою очередь, на субкультуры, начинает подташнивать. Так вот, и Гитлера в этих терминах можно описать как представителя закатывающейся христианской цивилизации Запада, немецкой мешанской культуры, австрийской субкультуры формообразующей нации многонациональной империи, субкультуры художников-маргиналов и субкультуры вегетарианцев. В то время как он просто ублюдок.

В этом смысле Владимир Малахов — сторонник универсалистских подходов к национальным и этническим проблемам. Он анализирует достижения и промахи мультикультурализма, подмечая идеологические его нелепости, но не впадая по этому поводу в типичную российскую развеселость разговора о нацменьшинствах («Слышь, Вась, как они черно...х зовут! Афроамериканцы!»). Мультикультурализм должен быть политикой защиты юридического равноправия представителей всех народов внутри многонационального государства, но не инструментом утверждения преимуществ представителей нацменьшинств. В этом смысле, считает автор, мультикультурный опыт Австралии гораздо продуктивнее оного в США или Канаде.

Проблемы, поставленные Малаховым, — вовсе не результат отвлеченного умствования. Сейчас в России национальная проблема — самая важная. С одной стороны, лицо Другого для нынешнего русского — это лицо азербайджанского торговца, таджикского наркокурьера, чеченского боевика. Уголовные хари соплеменников русский человек замечать сейчас не склонен. Ползучий расизм — так бы я охарактеризовал нынешнее положение вещей в стране. С другой стороны, разговоры (и справедливые) об уважении культуры народов, составляющих меньшинство, незаметно превратились в конкретные действия бюрократии автономных республик и областей по национальному обособлению и даже вытеснению иных, чужих элементов. Этому способствует совершенно тупая и агрессивная государственная пропаганда, представляющая Россию в виде благолепного православного братства, восходящего на стадию упоительной соборности. Остальных — мусульман, буддистов, неверующих — не существует. Точнее, они не наши.

Оттого-то следить приключения западного мультикультурализма, его мутацию от леволиберальной идеи к сугубо консервативной, увлекательно и полезно. Книга

Владимира Малахова внятнм языком просвещает русского читателя. И действительно, главное, чего сейчас не хватает России, — Просвещения. Критикой его мы займемся после.

Кейс Верхейл. Вилла Бермонд. Перевод И. М. Михайловой. Вступительная статья А. А. Пурина. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда”», 2000, 256 стр.

Скажу торжественно: это последний европейский роман. То есть романов в Европе пишут и по сей день бесчисленное количество, однако что-то в их молекулярном составе бесповоротно отличается от «Волшебной горы» Томаса Манна, эпопеи Пруста, «Марша Радецкого» Рота, «Человека без свойств» Музиля (и особенно от его же «Смятения воспитанника Терлесса», хотя, строго говоря, это не роман), от навсегда незаконченных повествований Кафки, от «Анны Карениной», наконец. Я, была бы моя воля, рецензию на «Виллу Бермонд» превратил в список европейских романов, который книга Верхейла завершает. И потом бы поставил точку.

Основной предпосылкой европейского романа (и «Виллы Бермонд») было доверие. Доверие автора к читателю: тот не бросит повествование на полпути из-за спешки, нежелания вдумываться и вчитываться, равнодушия к чужому опыту. Из этого доверия выростала авторская манера — рассказывать, не беспокоясь о том, чтобы раз в энное количество страниц развлечь читателя дуэлькой или постелькой, дабы тот не сбежал или не уснул. Еще одна важная разновидность доверия — доверие автора к окружающему миру; точнее, к факту его существования. Если мир (в любом из возможных вариантов) существует, значит, о нем можно рассказать, вспомнить, пометать. Значит, у автора и читателя есть некий совместный опыт; хотя бы опыт просто совместного пребывания в пределах оной жизни. Собственно, эти две нехитрые разновидности доверия как раз и были основой европейской культуры, европейского мироощущения девятнадцатого века, чуть было не написав — «прошлого». Увы. Позапрошлого.

Девятнадцатый век, обогащенный модернизмом первой трети двадцатого, — вот какие эстетические линии стягиваются к «Вилле Бермонд», вот какие дороги!¹

¹ Прежде всего железные. Волшебные железные дороги второй половины девятнадцатого и первой — двадцатого, породившие бесчисленную литературу: от стихов Блока и Анненского до воспоминаний Набокова. Я уже не говорю о Чехове и Бунине с их привокзальными буфетами, где герои непременно перехватывают залетную стопочку, недовольно зажевывая ее не шибко свежей осетриной (Булгаков, прочь!), а то и по-простецки пьют пиво. А «Сестра моя — жизнь» с хрестоматийным (и от этого не менее грандиозным) железнодорожным расписанием? А обрывок прозы Кафки о железнодорожном обходчике, затерявшемся почему-то в русских снегах? Европейская литература того времени прошита железными дорогами, будто хипповые джинсы. Реквиемом стал фильм «Европа», снятый датчанином фон Триером, и, пожалуй, еще одна картина — «Стрелочник» голландца Йоса Стеллинга.

Отец повествователя в «Вилле Бермонд» — железнодорожный служащий. Если верить автору, он похож на Тютчева с портрета в голландской энциклопедии. Отец рисует сыну буквы русского алфавита не где-нибудь, а в поезде. Другой герой «Виллы Бермонд», точнее, герой другой линии романа — великий князь Николай Александрович — едет в Ниццу, навстречу своей смерти, именно по железной дороге: «Потом я вижу его уже среди железнодорожных декораций заключительной сцены: в железнодорожном купе. Поезд оставил Гаагу далеко позади и несется на всех парах к Утрехту. Все еще завернувшись в дорожный плащ, юноша следит глазами за волнообразным движением телеграфных проводов, словно на море вздымающихся у каждого темного столба вверх, а потом опускающихся вниз: раз-и-два-и-три-и... (медленно-медленно)». В 1953 году автор с отцом, матерью и братом приезжают в Ниццу, естественно, поездом. Там они фотографируются у ворот Виллы Бермонд, на которой почти за сто лет до этого умер великий князь. Дочь Тютчева, Анна, находится в свите императрицы, только что потерявшей сына, и живет в Ницце. Сам Тютчев, только что потерявший возлюбленную, живет там же. Все сходится к Вилле Бермонд: смерть, любовь, стихи, русский язык, семейные воспоминания, железные дороги. Автор отождествляет себя с юным наследником русского престола, угасшим в южном городе, отца — то с несчастным героем гоголевской «Шинели», то с не менее несчастным Тютчевым. Плотность чувств и воспоминаний вокруг Виллы Бермонд можно сравнить только с плотностью европейского культурного слоя. Собственно, она и есть Европа, только так и обретшая единство — посредством странно родственных чувств разных, никогда не встречавшихся людей.

туда ведут. Но и объект романного описания-исследования (а классический европейский роман — это всегда и исследование) — девятнадцатый век и первая половина двадцатого, по крайней мере в той блаженной части Европы, где между 1915 и 1925 годами разница невелика. Перефразируя Броделя, долгая бель эпок Европы. Объект описания полностью соответствует языку описания.

В конце книги, в главе «Две дамы среди цветов»², дочери русского поэта Тютчева собирают букеты в саду какого-то дома в Ницце. Разговаривают. Уходят. Забывают букеты на скамье. Разговор будто из сновидения. В начале того самого девятнадцатого столетия Колридж написал следующее: «Если человек был во сне в Раю и получил в доказательство своего пребывания там цветок, а проснувшись, сжимает этот цветок в руке — что тогда?» Я, читатель, дочитав эту книгу, обнаружил себя сжимающим букет цветов, оставленный дочерьми Тютчева в саду города Ницца 29 апреля 1865 года.

К началу отзыва. Кейс Верхейл — замечательный голландский прозаик и филолог. Славист. Автор четырех книг прозы и множества работ о русской литературе. «Вилла Бермонд» — первая часть романной трилогии о... условно говоря, о Тютчеве. В романе три сюжетные линии, сходящиеся, как я уже говорил, на Вилле Бермонд в Ницце. Книга блестяще переведена Ириной Михайловой.

В ожидании варваров. Мировая поэзия в переводах Иосифа Бродского. Вступительная статья Я. А. Гордина, составление А. А. Пурина. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2001, 288 стр.

Окраинный европеец, ницшевский часовой на оставленной всеми позиции, Бродский сделал все, чтобы не сдать свой пост. Его классицистичная поза («я заражен нормальным классицизмом» — нет, не «нормальным», а «классицизмом отчаяния») — поза статуи, стойчески ожидающей нашествия варваров. В ожидании этих самых варваров Бродский сочинил три тома стихов (из которых наберется один — потрясающих), том первоклассной эссеистики и еще один — переводов. Именно его представило нам издательство журнала «Звезда».

В общем-то все это мы уже читали; точнее — почти все. Прочсть еще раз собрание переводов Бродского полезно, особенно полезно сейчас, когда варвары уже пришли. Становится ясно, что же мы потеряли.

Никаких новых открытий эта книга не дарит. В переводах Донна и Кавафиса Бродский звучит настолько полным регистром, что нелегко вспомнить подобное звучание в его собственных стихах. Покойный нобелевский лауреат обиделся бы (хотя кто знает?), но здесь он — на уровне пастернаковского переложения «Стансов Августе». Перевод донновского «Шторма» мне почему-то мерещится исключительно в исполнении старого Джона Гилгуда, тем же голосом, каким он читает у Гринуэя Данте и Шекспира. Тонко переданы сведенборговские фантазии об аде Милоша. Вообще, перед нами книга, которую можно читать всю жизнь.

Недостатки издания, вызывающие, на первый взгляд, недоумение, есть продолжение достоинств. Я понимаю желание составителя книги сделать ее академически-шепетильно, но, ей-Богу, появление в ней переводов «Yellow submarine» или «Лили Марлен» снижает пафос. Варваров не ожидают, мурлыча под нос:

Есть Подлодка желтая у нас,
желтая у нас,
желтая у нас!

² Между прочим, «Виллу Бермонд» я бы назвал последней европейской «картиной». Точность описания деталей, головокружительного мира мелочей выдает школу «малых голландцев». Отец рассказчика похож на персонажа живописи Магритта. «Две дамы среди цветов» — название будто из Клода Моне. Сейчас таких картин не рисуют. Сейчас их вообще не рисуют. Сейчас «инсталлируют» пословицы и анекдоты, а потом по-щенячьи лают и визгивают.

Иосиф Бродский. Второй век после нашей эры. Драматургия. Вступительная статья и составление Я. А. Гордина, вступительная статья И. Ковалевой. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2001, 240 стр.

Хочу извиниться перед читателем за ошибку, допущенную в предыдущей заметке. Помимо трех томов стихов, тома эссеистики и тома стихотворных переводов у Бродского набрался еще том драматургии — как своей, так и переводной. И он выпущен тем же издательством.

Я не любитель драматургии Бродского. Впрочем, для меня читать пьесы вообще довольно неинтересно; с некоторыми и вполне хрестоматийными исключениями — Шекспир, Островский, Чехов. В «Мраморе» Бродского многое раздражает — и устаревший приклатенно-интеллигентский жаргон, на котором разговаривают сокамерники, и надуманность самой идеи, достаточной для стихотворения, но не для длинного сценического действия, и совершенно беспредметная ирония. Довольно забавно читать ироническую антиутопию про одну империю, живя в эпоху, помеченную звездно-полосатыми стягами другой.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в переводе Бродского прекрасны, чего нельзя сказать о другой пьесе — о переложении «Говоря о веревке» Брендана Бизна. Та же наивная старомодная фея советских шестидесятых. Язык стареет. Увы. Хотя, нет, поэтический — живет вне времени.

Но самое любопытное в этой книге другое. В ней три пьесы, действия двух из них происходят в тюрьме. Две из трех заканчиваются казнью. Практически все действующие лица — мужчины. Бесконечные разговоры о бабах. Все это заставляет задуматься о том, что за тип сознания имел нобелевский лауреат.

Владимир Климычев. Пятнадцать человек на сундук мертвеца. (Криминальные стихи). Нижний Новгород, Издательство «Вика», 2000, 16 стр.

Нижегородский автор придумал вполне остроумный ход. Он взял пятнадцать статей из уголовных хроник местных газет и превратил их в стихи довольно нехитрым образом: выстроив каждый текст стихотворным столбиком. Получились верлибры — не хуже, не лучше прочих (за небольшим исключением). Верлибры о бытовухе.

В каждом из пятнадцати стихотворений содержится жутковатый, как сама провинциальная жизнь, сюжет. Убийство по пьянке, самоубийство, убийство за гроши... Все просто. Ничего особенного. Язык сочинений Климычева, изобилующий ходовыми штампами копеечных газетенок, безусловно, придется по вкусу истинному любителю отечественной словесности. Давненько этот полуграмотный мир ведомственных и районных изданий не выползал из своих перемазанных свинцовой краской подвалов...

Трудно сказать, что стоит за этим изданием. Ирония? Концепт? Начала новой эстетики? Наивность? Лень? Читателя можно поздравить с истинно загадочной книгой.

И еще. Количество мертвецов в сочинении Климычева на три больше заявленного в названии.

Илья Масодов. Мрак твоих глаз. Трилогия. Тверь, «KOLONNA Publications», 2001, 336 стр.

Впрочем, при продолжительной и мастерской возгонке из советской бытовухи можно получить кристально чистый эстетический продукт с недурными галлюциногенными свойствами. «Последний советский писатель» (как он представлен в редакционной аннотации) Илья Масодов³ сочинил трилогию, описывающую кро-

³ Некоторые из критиков усомнились в физическом существовании автора. Один из обозревателей, кажется, деконструировал фамилию «Масодов» на «Мамлеев» и «де Сад». Мамлеевщины довольно в сочинении таинственного последнего советского писателя. Но не только. Я бы включил в его родословную и Сорокина («Ма-млеев», «Со-рокин»), да и Достоевского тоже включил («Д-остоевский») — все-таки следователь Олег Петрович — правнук знаменитого Порфирия Петровича. И еще варианты — шутки ради: шах Масудов, Масхадов, Садомазохадов...

вавые похождения девочек-пионерок, которые на деле оказываются вампирами. Эта проза написана добротным, местами даже изысканным языком советской литературы паустовско-трифоновой линии — с лирической ноткой. Иногда автор впадает в патетику, и советская вещественность вдруг растворяется в гностического замеса мистике: «Выбросив скомканные чулки в банку из-под краски, Соня упирает локти в колени, а щеки в ладони и думает о перерастании настоящего в прошлое и о таинственном желании Бога, обозначенном в приснившейся ей вечной книге буквой Ъ. Она представляет себе Бога в его древесной форме, которая кажется ей особенно страшной и тревожной. Геометрически Бог не имеет главного направления, потому что растет из ниоткуда в никуда».

Трилогию Масодова можно прочесть как тонкую стилизацию, эдакий пионерский триллер. Можно — как действительно последнюю советскую книгу для детей и юношества, про подвиги и настоящую пионерскую дружбу (вроде той, что связывает Юлю и Марию в «Тепле твоих рук»). Я предложил бы третий вариант. Перед нами своего рода гностическое Троекнижие, черное Евангелие неизвестной (пока!) миру секты. Я бы обратил внимание немногочисленного читателя этой книги на сцену в самом начале первого романа трилогии. Девочка Соня забредает на стройку: «Лавина пронзительных криков раздается в ответ, лица искажаются болью, которую не измерить живым, куски кирпича и острые мастерки, отравленные строительным раствором, летят сверху в Соню, взрывы песка окружают ее. Соня убирает волосы с виска, и в это место сразу попадает четверть кирпича, разломанного руками четырнадцатого Христа — Христа строителей и углекопов». И через два абзаца: «Строители зарывают Соню с левой стороны здания, если стать спиной к главному выходу, под дном ямы, открытой для постановки следующей бетонной сваи для фундамента будущей пристройки». Надеюсь, вы узнали историю, лежащую в основании масонского мифа: об убийстве мастера Хирама на строительстве храма.

М. В. Зеленев. Аппарат ЦК РКП(б) — ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы. Монография. Нижний Новгород, 2000, 540 стр.

В совке бывали кошмары и другого, вполне реалистического свойства. Одному из них посвящена обстоятельнейшая и высококвалифицированная монография Михаила Зеленева. Реализовать эстетическую по сути своей утопию всеобщего равенства были призваны миллионы людей, в том числе — десятки, если не сотни тысяч серых цензурных крыс, поставленных выгрызть вольнодумные страницы из вполне лояльных большевикам книг. Эта деятельность породила нешуточную переписку и документацию; автор этой книги стал одним из Колумбов, обнаруживших и начавших детально изучать новый континент — континент подлости, страха и бездарности советской цензуры. Чтение книги Зеленева увлекательно и изматывающе, этот материал, быть может, требует не столько своего историка, сколько своего Кафку.

Хотя не самодостаточно ли это сочинение и в эстетическом смысле? Кто сочинил нижеследующее — Хармс, Алешковский, Сорокин, Бартов: «В начале апреля 1921 года на Петроградскую землю высадился целый десант московских начальников: Ольминский, Невский, Лепешинский. Они приняли решение реорганизовать местную работу: во главе Историко-революционного архива был поставлен Быстрянский (с заменой его на следующий день Васильевским), а сам архив посчитали нужным присоединить к Истпарту (в надежде, что ЦК утвердит это решение?)». Что это за ангелы истпартовской смерти, рифмующиеся окончаниями: Ольминский, Невский, Лепешинский? И что за черт такой этот Васильевский, стремительно подсевший за один день Быстрянского? Кажется, здесь описан ритуал, смысл которого нам уже недоступен. И слава Богу.

Одно настораживает. Книга Зеленева издана под шапкой «Волго-Вятской академии государственной службы». Не лепешинских ли с быстрянскими кует эта кузница чиновничьих кадров?

Прага.

КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА

ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕВОЧКИ

Фильм Сергея Бодрова «Сестры» понравился мне куда больше обоих «Братьев»: в нем нет прохладного эстетизма «Брата-1» и эпатажного «нового патриотизма», который на корню погубил «Брата-2». Главное преимущество этой картины в том, что ее положительным героям трудно убить человека. Хорошая девочка плачет от счастья, поняв, что стрелять по движущейся мишени на поражение ей на этот раз не придется. И это очень хорошо и правильно, как любил заканчивать свои рассказы Михаил Михайлович Зошенко.

В принципе же «Сестры» — грамотный, совершенный в своем роде римейк замечательного фильма Эйсымонта «Жила-была девочка» 1944 года. Вместо прелестной героини маленькой Наташи Защипиной (помните, как эта девочка пела из «Сильвы»?) — не менее прелестная десятилетняя Дина, поющая «Батяню-комбата». Старшая спасает младшую, в конце концов выручают добрые взрослые, — в общем, схема блокадного кино с поразительной легкостью проецируется на сегодняшнюю реальность.

Детство — вообще почти всегда блокада, будь оно и самым сытым: ребенок окружен, он в осаде глухих и равнодушных взрослых, а если это ребенок скольконибудь одаренный — то и в кольце враждебных сверстников, которые по безжалостности вполне сопоставимы с какими-нибудь истинными арийцами. Отсюда и непрерывные детские игры в гестапо. Сериал «Семнадцать мгновений весны», по точному замечанию Пелевина, стал культовым фильмом прежде всего потому, что каждый советский человек — и в семье, и на службе — чувствовал себя разведчиком в тотальной враждебной среде (ср. у Галича: «И живем мы в этом мире послами не имеющей названия державы» — но с послем себя может ассоциировать посланник Божий, поэт или режиссер, а для рядового гражданина больше подходит роль разведчика). У призывников, только попавших в часть (помню по себе, у нас часто случались разговоры на эту тему), был универсальный прием: представлять себя инопланетянином, заброшенным в эту среду для сбора информации; знаю, что многим это помогало. На современную реальность, в которой герой воюет один против всех, не в силах ощутить за своей спиной никакой силы, никакой спасительной идеи и даже планеты, которая его сюда забросила, лучше всего проецируются старые картины, где герой либо партизанит (пробираясь к полумифическим своим, которые могут его и не принять), либо борется с обстоятельствами, которые явно сильнее его: блокада, холод, голод. Получается, как теперь говорят, вполне себе экзистенциальная драма.

Ежели судить строго, то ведь и почти все молодое кино шестидесятых годов было в некотором смысле римейком, более человеческой и формально усовершенствованной версией кинематографа тридцатых. Только идеология, торчавшая отовсюду, была слегка смещена на второй план да торжественная брутальность уступила место «проникновенному лиризму» (зачастую столь пошлому, что приходилось иногда жалеть о брутальности). Недавно НТВ показало картину 1939 года «Доктор Калужный», славную разве что сценарием Юрия Германа да одной из многих киноролей Аркадия Райкина; герой, естественно, уезжает из Ленинграда, где его ждет перспективная работа и старорежимная возлюбленная, в родную глубинку. В глубинке этой он немедленно реконструирует полуразвалившуюся больницу, стремительно располагает к себе селян, выращивает медбрата из крестьянского мальчика, возвращает зрение старику учителю — словом, проделывает все то, что с несколько меньшей резкостью и большей интеллигентностью проделывали двадцать лет спустя герои аксеновско-сахаровских «Коллег». Только в «Коллегах» присутствовал еле обозначенный конфликт народа и интеллигенции, который, впрочем, тут же гасился положительностью практически всех персонажей, — а у Германа доктор и сам сделан бывшим крестьянином, уроженцем тех мест, чрезвычайно жестким и грубым малым; ну да это разница не принципиальная. И тут и там порыв героя в глубинку заменяет ему прорыв в глубину, к себе,

географическое перемещение выступает заменой движения душевного. Советский герой потому так часто и срывается с места, что больше ему делать было нечего, вот он и ездил куда попало — то в Сибирь, то на целину; бродяжничество — вечная черта потерявших себя людей, словно отчаявшихся найти себя в себе и ищущих теперь на бескрайних просторах Отечества.

Думается, проблемы детей 1944 года тоже вполне совпадают с проблемами детей нашего времени. Идет война — не знаю, насколько народная; делать вид, что этой войны нет, теперь уже бессмысленно. Это война каждого против всех, битва человека с миром за собственное выживание. Трагедия оставленности, заброшенности, которую переживает у Бодрова старшая сестра, накладывается на трагедию нашей общей богооставленности, о которой так или иначе задумывается любой житель России, видя всю тщетность своих усилий. Страна, потерявшая сюжет, судьбу, представления о верхе и низе, очень точно проецируется на мир героинь «Сестер», без отдыха и пристанища кочующих по питерским окрестностям. И это ощущение заброшенности, бездомности, переданное столь точно, само по себе способно было бы спасти бодровский фильм.

Тут надо сказать пару слов о том, что само пространство «Сестер» радикально отличается от пространства «Братьев». Это не стерильный, стилизованный Петербург «Брата-1» и не аляповатая, состоящая из штампов Москва или Америка «Брата-2». Перед нами не гравюра и не лубок, а фотография, практически не преобразованный мир петербургских пригородов или окраин, — и узнаваемость оказывается дороже эстетической завершенности. Бодров чрезвычайно тактично и точно показывает разрушающийся город, его деловитые и равнодушные к пришельцу пригороды, его жующие и торгующие электрички. Поезд вообще давно стал в России неким универсальным символом Родины: герой либо уезжает от себя, либо устремляется к себе, но едет все время не туда и вообще не пойми куда; символом страны в ее нынешнем состоянии закономерно стала у Бодрова переполненная и загаженная электричка, в которой попрошайничают цыгане, поют инвалиды и все время что-то едят дачники. В этой электричке господствуют грязь, вонь и теснота, но вне ее, на пустынных полустанках, еще страшнее — потому что в ней по крайней мере есть люди, живые люди. У Бодрова по крайней мере они живые.

Так что пришло время римейка, фильмов несложной, но точной сборки, экстраполяции военных условий на нынешние, внешне мирные, внутренне куда более безнадежные. Проблема ведь еще и в том, что в той войне нам была нужна одна победа, она была в принципе возможна, — здесь же победой выглядит всякий прожитый день, всякий отвоеванный рубль, и никакими фанфарами, никаким всенародным ликованием такая победа не сопровождается. То-то в «Сестрах» и хорошо, что главная победа героини здесь — спасение без убийства, без необходимости лично участвовать в кровавом побоище. Роль бога из машины сыграл бандит-отчим, который сам перемочил всех плохих. И хоть это победа настоящая, серьезная, фанфары по этому поводу преждевременны: один отморозок, похитивший вдобавок воровскую кассу, убил других отморозков... торжеством добра это отнюдь не пахнет. И Бодров — молодец, он и не хочет делать из этого торжество добра. Торжество не в том, что плохих убили, а в том, что хорошие не замарались.

Есть и еще одна привлекательная фигура в этом сценарии, который отец и сын Бодровы сочиняли совместными усилиями. Я говорю, конечно, о просветлившемся милиционере, который передумал сдавать девочек плохим бандитам (к слову сказать, особую прелесть картины составляет то, что хороших бандитов в ней нет — враги девочек сделаны даже пообаятельней, нежели их защитник-папа, пустоглазый и совершенно отмороженный). Милиционер этот, правда, почуял в себе человечность только при виде отличной стрельбы, которую устроила положительная девушка Ксения по врагам, — но это вполне нормально, милиционеру как раз нужен сильный шок, чтобы в нем пробудилось человеческое. И хорошо, что Бодрову достало ума и такта сделать его именно таким — туповатым и коррумпированным. Потому что и добро в современном человеке пробуждается внезапно, вследствие сильного стресса, — он ведь тоже живет в мире без верха и низа, и его «чувства добрые» могут быть только спонтанными. Они уже не результат воспитания или давления среды — они возникают сами собой, как чертополох на пустыре. Вот

так в современном Петербурге вдруг вырастает живая, здоровая, упрямая девочка с врожденным чувством долга. Ничто вокруг к этому не располагает, но она растет. Фильм Бодрова в этом смысле получился вызывающе, концептуально несоветским: хорошие люди получают не благодаря, а вопреки среде. Тут есть благородный протест против этой самой среды — советский-то герой формировался в семье, в школе, в детсаду... Новый герой возникает сам. И это, наверное, ближе к истине, чем исконная советская убежденность в спасительном влиянии коллектива.

...Есть в «Сестрах» и ряд других влияний и отсылок: первая и наиболее явная — к нугмановской «Игле». Там страдающую и слабую героиню тоже зовут Динной, а спасает ее немногословный «человек ниоткуда», Виктор Цой. Ксения — точно такой же «человек ниоткуда», генезис ее неясен, он явно не советский, — скорее перед нами именно пример человека, возникшего на пустом месте; Цой присутствует в бодровской картине очень наглядно — мелькают кадры его концертов и фильмов, звучит его музыка, героиня перенимает его немногословие и суровость... Другая отсылка, думаю, вполне сознательная, — к удивительному фильму Алана Паркера «Багси Мелоун», где роли гангстеров и полицейских исполняли дети, и весь Чикаго тридцатых годов с его утомительной крутизной представал огромным детским садом, где вместо навороченных автомобилей раскатывают навороченные четырехколесные велосипеды, а вместо коктейлей алкогольных накачиваются коктейлями молочными. Рэкетирь-цыганята смотрятся в фильме Бодрова совершенно по-паркеровски. Дулая серьезность всех отечественных бандитов в детском исполнении замечательно «опускает» всех этих романтических героев, на которых без тошноты давно уже смотреть невозможно.

Что касается самого Данилы Богрова, возникающего в бодровском исполнении буквально на две минуты, — так ведь и он здесь фигура знаковая, и он со всей наглядностью демонстрирует бодровское отношение к прославленному Даниле. Данила появляется, чтобы пострелять с героиней в тире, бросить ей: «Обидит кто — скажешь» — и уехать. Да как же она скажет, милые мои? Да чем же он ей поможет, коли его жизнь давно происходит совершенно в других сферах? Вся дутость этого героя, вся беспомощность героини явлены в этом эпизоде более чем наглядно, — так что едва ли стоит усматривать в «Сестрах» концептуальное продолжение «Братьев». Это фильм о том, что происходило на самом деле в то время, пока все наше кино более или менее успешно творило убогую новорусскую реальность последних лет.

Главное же, что утешает, — Бодров не так уж и ошибся, как не ошибся Эйсмонт в своей «Девочке». Такие девочки есть, я их знаю. Есть и такие мальчики — вроде симпатичного еврейчика, который по первому зову прибегает на помощь к своей Ксении (так что все упреки в ксенофобии на этот раз мимо, Бодров — не Балабанов, да и того демонизируют напрасно). В общем, жизненное кино, как принято было в подростковой среде с уважением говорить о хорошем фильме двадцать лет тому назад. «Сестры» — тоже жизненное кино. Про войну, про блокаду. Доживем — посмотрим и что-нибудь про победу.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*О появлении романа Беккета в переводе Михаила Бутова;
о прозе сетевого конкурса «Улов — весна 2001»*

Начну с новости собственно литературной и, на мой взгляд, значительной. В Интернете на сайте «Лавка языков» появился перевод романа Сэмюэла Беккета «Мерсье и Камье», выполненный Михаилом Бутовым (<http://spintongues.vladivostok.com/Beckett2>). Такое, когда один из наиболее интересных современных писателей в самом плодоносящем возрасте на два года откладывает собственное творчество для полного погружения в перевод чужого произведения, происходит

редко. Честно говоря, кроме ситуации с аксеновским «Регтаймом» Доктору, переведившимся-писавшимся как собственный роман, мне сейчас ничего не приходит в голову. Из истории русской литературы я знаю о существовании перевода «Евгении Гранде», сделанного молодым Достоевским, но перевод этот так и остался не более чем фактом творческой биографии самого Достоевского. В поэзии — другое дело: есть русский Гёте Лермонтова («Горные вершины спят во тьме ночной...»), русский Петрарка Манделштама («Промчались дни мои — как бы оленей косящий бег...») и т. д. В прозе такое сотворчество — исключительный случай. А здесь именно сотворчество — меня в этом убеждает завораживающая, литая русская проза Бутовского Беккета.

Тексту романа предшествует уведомление «От переводчика», выполняющее отчасти свою прямую «уведомляющую» функцию: информация о месте этого романа в творчестве Беккета, история написания, уникальность существования в двух (французской и английской) авторских версиях. И одновременно текст «От переводчика» — автобиографическое эссе о том, как скрестилась молодость автора и его друзей с очередным поворотом времен; о свободе, в которую было отпущено это поколение, — свободе не созревшей и окрепнувшей в обществе, а обрушившейся на него, как абсолютная глухая пустота (об этом — в романе «Свобода»). Один из сюжетов эссе — судьба экземпляра английского издания «Мерсье и Камье», привезенного бродяжившим полгода по странам Европы другом:

«Но книгу мы оставили себе. И ее неспешное фрагментарное чтение, порой вслух, порой с фантастическими вариантами перевода, служило поводом шуткам, подъялдыкиваниям, скупым выражениям суровой мужской солидарности и общего понимания бессмысленной, палаческой жестокости устройства жизни и долгим спорам, у кого из нас тоньше, измученнее душа. Мы научились также подкарауливать в себе особенный тип речи — она вроде бы предметно начиналась, однако некая внутренняя, трудно уловимая ее логика независимо от наших намерений за три-четыре реплики сводила ее к простым и очень общим констатациям, благодаря чему достигался абсурд. Так и называлось у нас подобное говорение „Мерсье и Камье”».

Из тех читателей... ныне один лежит в гробу, другой живет в Ганновере, играет на бирже, третий стал довольно известным — в Европе более, чем в России, — театральным режиссером. А я здесь дожидаюсь, пока наступит полная темнота. Но все прошедшие десять лет я чувствовал — и даже почти не выдумывал себе — как будто обязательство перед этим романом. Теперь пора его исполнять».

Отдельным микроисследованием — историческим, эстетическим, филологическим — является блок примечаний, выполненных Бутовым параллельно с переводом.

Ну а теперь о, так сказать, литературной повседневности в Интернете.

Закончился очередной, весенний 2001 года, сетевой литературный конкурс «Улов»¹, которым я пользуюсь в своих обзорах для регулярного «замера» уровня и интенсивности литературной жизни в Интернете.

Вот результаты конкурса.

В номинации «Поэзия» лауреатами стали: **Вадим Месяц**, «Несколько мифов о Хельвиге» (первое место); **Наталья Горбаневская**, «Из книги 2000 года» (второе место); **Дмитрий Воденников**, «Как надо жить — чтоб быть любимым»; **Сергей Завьялов**, «Диалоги в царстве теней» и **Дарья Суховой**, «Элегии эпохи Путина» (третье место).

В «Прозе» на первом месте оказался **Лев Усыскин** с фрагментом из повести «В городе N», на втором — **Леонид Костюков** с фрагментом из романа «Великая страна» и **Ольга Шамборант** с эссе, на третьем — **Николай Байтов** с рассказом «Летчики».

В большинстве своем и в числе лауреатов, и в числе участников — известные имена и тексты (в этом обзоре я буду говорить о прозе весеннего «Улова», вот адрес страницы, с которой удобно открыть любой из перечисляемых ниже текстов: <http://rating.rinet.ru/ulov/2001v/prose>). На мой взгляд, несомненными лидерами в

¹ Об осеннем, 2000 года, конкурсе я писал в № 3 — 4 за этот год, а в мае вышел второй «бумажный» выпуск альманаха «Улов», составленный по его итогам, — подробнее см. в этом номере, в разделе «Библиографические листки. Книги».

нынешнем собрании текстов стала эссеистика **Ольги Шамборант** (выставлена часть подборки, опубликованной «Новым миром» в № 5, 2001), проза **Сергея Соколовского** из повести «Фэст фуд» и **Леонида Костюкова** из романа «Великая страна» (о ней писалось в предыдущем обзоре), рассказы **Льва Усыскина**, **Николая Байтова**, **Аркадия Бартова**, **Бахыга Кенжеева**, а также тексты новых (для меня) писателей **Сергея Крюкова** и **Фарита Гареева**.

Проза **Сергея Крюкова** «Словарь-Путеводитель-Справочник» (избранные страницы), состоящая из «никак не систематизированных» прозаических фрагментов, имитирующих форму словарной статьи, неизбежно вызовет у читателя ассоциации со «словарной прозой» Милорада Павича. Да и сам автор ссылается на «Хазарский словарь». Возможно, Крюков действительно считает Павича своим учителем (или предшественником); а возможно, и нет — ирония, с которой написаны отдельные статьи, часто обращается не только на объект описания, но и на саму используемую стилистику. То, что Крюков находится в мощном поле притяжения Павича, — это несомненно. Но при чтении его прозы отмечаешь не только притяжение, но отталкивание от прозы Павича. Причем отталкивание принципиальное. Крюков сопротивляется самим законам той игры, что изобрел Павич, настаивающий в своих текстах на периферийных смыслах привлекаемых им образов и понятий, которые (периферийные смыслы) в свою очередь должны образовать некое особое смысловое эстетическое пространство, и вот там-то, в этом пространстве, и будет происходить главное. И замороженный читатель до слез всматривается, пытаясь разглядеть это пространство, и даже видит в нем нечто, ну а если и не видит, то что-то такое сам достраивает, выкладывает, вчитывает. Предполагается что-то вроде книжки-раскраски для взрослых: есть контуры, которые вы должны заполнять сами. Крюков же при формальной близости приема принимает его не вполне — он возвращает произносимым словам и используемым образам их изначальный смысл и содержание: «ИСКУССТВО — то, что существует само по себе, а значит, в него нельзя вмешаться и исправить. Древние китайские мудрецы говорили: то, что нельзя исправить, не имеет смысла». Некоторую неизбежную в контексте нынешней нашей словесности комичную пафосность самого жанра философской максимы Крюков снимает иронией. Точнее, не снимает, а закрепляет: «СВОБОДА — ощущение, данное нам в детстве, как сейчас выясняется, в долг. Любимая тема Райнера Фасбиндера».

И еще одна цитата, демонстрирующая, что такое художественное мышление, не отвергает, а как раз предполагает проверку мысли вполне конкретными образами, впечатлениями, переживаниями: «МОРЕ — подсознательно для многих путешественников оно является прообразом Рая. Море еще не небо, но уже и не земля. Наша цель — в сторону моря. В Симеизе, равно как и в других любимых сердцу каждого уголках Крыма, можно купить сносный дом за 500 баксов. Летом — работать, например, катать стокилограммовых сибирячек на лодке под парусом. Зимой — играть в дурака или писать стихи».

На фоне эстетических изысков прозы Крюкова рассказ **Фарита Гареева** «На скамейке, в городском сквере» воспринимается как запоздалое подражание Чехову или Сэлинджеру-новеллисту. Что-то вроде короткой одноактной пьесы, написанной средствами повествовательной прозы, с единым местом и временем действия, не меняющейся точкой обзора, с которой зритель-читатель наблюдает за двумя основными персонажами на сцене: молодой вдовец с маленькой дочкой на прогулке, отец пытается скрыть от дочери исчезновение матери (похоже, это трагическая смерть, а может, бегство от мужа с упоминаемым в тексте мужчиной) и собственное бессилие перед жизнью — он пьет, и, судя по всему, это уже безнадежно. Минималистская по средствам проза: описание внешности героев, нескольких мизансцен (проход по аллее, закуривание сигареты, покупка джина с тоником и т. д.), несколько коротких диалогов с дочкой и проходящими в разное время через сквер бывшим одноклассником, бывшей подругой, случайными знакомыми; и это все при полном отказе от передачи внутреннего состояния героя; в рассказе как бы ничего не происходит — и соответственно происходит все. И странно, а может, и закономерно: абсолютно традиционная, даже как бы архаичная по эстетике проза читается как неожиданно острая и современная.

Другой автор, успешно опробовавший разные стилистики современной прозы, многоопытный **Лев Усыскин**, такой эффект неожиданной свежести «литературной архаики» использует вполне сознательно: на конкурс была выставлена стилизованная под классическую русскую прозу второй половины XIX века вещь под названием «В городе N» — о тридцатипятилетнем удачливом помещике, приехавшем в губернский город по торговым делам и встречающемся со старым товарищем. Героя зовут Петр Ильич, два года назад он похоронил жену, но уже оправился от потрясения, и «лицо его вернуло гладкие мягкие черты, столь характерные, по мнению наших новомодных литераторов, для нынешнего типа просвещенного барина русской провинции».

Автор не позволяет себе ни одного выхода за пределы тем, мотивов, интонаций, традиционно закрепленных за этой стилистикой. (Если, разумеется, не считать самой этой стилистики, являющейся, по сути, одним из закадровых персонажей его прозы.) На конкурс выставлен лишь фрагмент повести, и сам по себе он может читаться только как — пусть вполне внятный и выразительный — эстетический жест. Этого, может быть, и достаточно. Но все же лучше обратиться к полному тексту повести, вывешенному на сайте Александра Левина (<http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/USYSKIN/N.html>). После попавшего на «Улов» описания вечера, проведенного Петром Ильичом с другом, и их разговора, закончившегося темой одиночества Петра Ильича, собственно и начинается короткий сюжет этой повести. Друг уговаривает Петра Ильича поехать в известное заведение мадам. Быстро там протрезвевший, досадающий на себя за излишнюю покладистость Петр Ильич размышляет, как бы половчее, не обидев заботливого друга, покинуть этот «эдем», и вдруг узнает в одной из девушек бывшую у них с женой в услужении и отпущенную ими на волю крепостную девочку-сироту. Он остается с девушкой и под утро вынуждает ее рассказать о своей судьбе на воле. В рассказе девушки нет ничего необыкновенного — обычная судьба, обычная жизнь. В финале повести Петр Ильич увозит девушку из заведения с собой, надо полагать, совсем. И делает это он не для того, чтобы спасти, перевоспитать, пожертвовать собой или что-то еще из этого ряда. Финал повести уже мало похож на позднетургеневскую или даже толстовскую прозу — здесь появляется нехарактерный для русской классической литературы того времени мотив экзистенциального одиночества человека: «...откуда-то вдруг подул забытый, казалось, напрочь ветерок — свежий и бодрящий. Извозчик поднял верх, и тотчас же, словно по команде, они прижались друг к другу — проживший лучшую половину жизни мужчина и молодая женщина, привыкшая к несчастью, — две тихие души, два маленьких нелепых человечка, потерявшихся среди русских равнин. А сверху, из черной, непостижимой человеческого рассудку небесной выси, своими равнодушными золотыми глазами глядели на них неподвижные июльские звезды».

Как ни странно, но именно это использование отдельных стилистических черт старорусской литературы и помогает писателю достичь в финале такого пронзительного звучания темы одиночества. Герои прижались друг к другу не как два сблизившихся человека, а как два одиночества — ничего, кроме проживания собственного несчастья, их не объединяет, да и не может объединить...



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ СЯЩЕННИКА ВИГИЛЯНСКОГО

К сожалению, «Новый мир» идет в Канаду достаточно долго, и мне лишь недавно удалось прочитать статью священника Владимира Вигилянского «Новое исследование по старым рецептам» («Новый мир», 2001, № 4), в которой подвергнуты критике выводы социологического исследования «Старые Церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России», проведенного проф. Киммо Каарияйненом и Дмитрием Фурманом.

Не понимаю, чем это исследование вызвало гнев священника Вигилянского? Научным скептицизмом? Но скептицизм ученых обоснован не только статистическими данными, приводимыми в книге, но и цифрами, на которые ссылается сам священник Вигилянский. Так, не оспаривая показатели Каарияйнена — Фурмана (3 процента посещают церковь еженедельно, 4 — раз в месяц, несколько раз в год — 19, раз в год — 11, реже, чем раз в год, — 18; затем: причащаются чаще раза в месяц — 2 процента, раз в месяц или несколько реже — 2, чаще одного раза в год — 4, реже одного раза в год — 5, несколько лет назад — 12, когда-то в детстве — 17), Вигилянский делает весьма спорный вывод: «26 процентов... сознательно посещают церковь», а 13 — «являются церковными людьми». Такой вывод особенно странен в устах священника, который должен знать правило Отца православной литургии святого Иоанна Златоуста о том, что человек, не причащавшийся 3 недели подряд, отлучается от Церкви вплоть до возвращения в нее через покаяние. Следуя этому никем не отмененному правилу, мы получаем от силы 4 процента православных христиан в России по частоте причащения и 7 процентов — по частоте посещения храма.

Вигилянский порой принимает иронию исследователей по поводу модности религии в современной России, которую Каарияйнен и Фурман противопоставляют моде на атеизм в эпоху Добролюбова, за издевательство. Конечно, неверно и бестактно с их стороны говорить о религиозности Солженицына, Аверинцева и других православных интеллектуалов современной России в контексте моды, но нельзя отрицать, что такая мода имеет место в постсоветской России.

Теперь поговорим о цифрах, с помощью которых Вигилянский пытается доказать наличие широкого православного возрождения в России, в противоположность гораздо более скептическим выводам исследования Каарияйнена — Фурмана. Вигилянский прав, что опираться на данные советской статистики не следует, ибо у тогдашних «религиоведов» была заданная программа: преувеличивать религиозность, когда требовалось оправдать усиление антирелигиозных кампаний, и, наоборот, преуменьшать эти данные, когда Совет по делам религий хотел похвастаться своими достижениями в борьбе с религией. Однако, поскольку Вигилянский пользуется некоторыми советскими данными, мы также последуем его примеру. Вот отчет атеистического цербера Москвы Трушина за 1965 год: общее число богомольцев на всех богослужениях в сочельник и в праздник Рождества Христова достигало 180 тысяч человек — это менее чем в 50 храмах тогдашней Москвы! На 2001 год, согласно официальным данным Московской Патриархии, регулярные богослужения совершаются примерно в 400 храмах Москвы. Тем не менее, по приблизительным подсчетам, даже на Пасхальной заутрене, когда по традиции во всех православных странах самая большая посещаемость церкви, в 1999 году во всех храмах Москвы было менее 200 тысяч молящихся¹. Из этих данных можно

¹ Читатель может придаться, что тут сравнение несравнимого: несколько служб на Рождество сравниваются с одной ночной пасхальной службой. Но разница в том, что по традиции пасхальную заутреню посещает значительно больше людей, чем рождественские службы, так что, грубо говоря, цифры сопоставимы.

сделать вывод, что в лучшем случае церковная посещаемость по Москве увеличилась примерно на 10 процентов. А это мало отличается от данных социологической группы МГУ 1996 года, согласно которым 12 процентов стали верующими «за последние 5 лет». Причем в Москве число православно верующих на 70 процентов выше, чем в среднем по России.

Да, формально процент лиц, называющих себя верующими, растет — хотя, по некоторым наблюдениям, рост почти прекратился после 1991 года; а по другим данным — продолжается, составив в 1993 — 1997 годах еще 10 процентов. Но вопрос в том, *что* люди, называющие себя православными верующими, понимают под верой. Мы уже видели, что если веру определять церковностью — а православие не может быть внецерковным, — то реально православных в стране не более 4 процентов. Вот другие показатели религиозности. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом летом 1995 года выборочно по всей России, 53 процента из почти 60 процентов верующих в Бога назвали себя православными. Затем, не указывая, к какой религии они принадлежат, 19 процентов заявили, что религия играет значительную роль в их жизни. В жизни остальных роль религии незначительна или вовсе отрицается. По опросу МГУ 1996 года, верующими себя назвал почти 51 процент респондентов, православными — 43 процента; из последних соблюдают обряды и таинства и посещают храм не реже одного раза в месяц 7 процентов (то есть из общего населения страны — менее 3 процентов), остальные — пассивно верующие, изредка посещающие храм и обрядов не соблюдающие.

А как насчет богословских понятий российских православных? Оказывается, только 4 процента «православных» верят в Бога как в Личность и только половина этого числа верит в воскресение мертвых. Зато 29 процентов номинально православных увлекаются астрологией и 41 процент верит в переселение душ, то есть, по сути, являются мусульманами-измаилитами или буддистами. Но православный священник Вигилянский признает всех их православными!

Нельзя не согласиться с Вигилянским в том, что заключения Каарияйна и Фурмана относительно перспектив православия в России все же чрезмерно пессимистичны. Положительные надежды внушает рост численности верующей молодежи за последнее десятилетие. И сегодня грамотно верующих среди лиц моложе 40 лет значительно больше, чем среди старшего поколения. Вигилянский в связи с этим приводит сравнительный опрос религиозности старшеклассников в России и Финляндии, проведенный в 1997 году, который на первый взгляд говорит в пользу России. «Глубоковерующих» в России 9,3 процента, в Финляндии — 6,2; «достаточно верующих»: русских — 37 процентов, финнов — более 24. Почти 90 процентов русских старшеклассников назвали себя православными. Но это мало о чем говорит, поскольку целый ряд социологических опросов в России показал, что граждан, называющих себя православными, больше, чем лиц, признающих себя верующими в Бога, то есть православие воспринимается в первую очередь как атрибут культуры, как признак принадлежности к русской нации, что является скорее язычеством, а не христианством. Таким образом, остается под вопросом, что респонденты понимают под православием, под глубокой религиозностью — будь то молодежь или лица старшего поколения.

Не знаю, каков критерий глубокой веры в Финляндии, но в Америке, например, таковыми считаются люди, регулярно читающие Священное Писание (в США читающих Священное Писание почти каждый день 20 процентов, и более 30 читает не реже раза в неделю), посещающие церковь не реже одного раза в неделю и регулярно причащающиеся (в тех религиях, в которых существует таинство причастия). Вряд ли религиозная жизнь более 9 процентов русской молодежи отвечает этим критериям. Вот опрос 2 тысяч юношей и девушек в возрасте 18 — 26 лет, проведенный в 13 территориально-экономических районах Российской Федерации: 3,2 процента посещают церковь или религиозные собрания, не уточняя частоты. Но и эти 3 процента распределяются совсем не в пользу православия: 13 процентов из этого числа мусульмане, 57 — протестанты, и только 4 процента православных парней и девушек ходят в церковь, хотя из общего количества опрошенной молодежи более 46 процентов назвали себя православными (очевидно, по

крещению)². Если мы прибавим к этому данные самого же Вигилянского о том, что в России зарегистрировано 300 тысяч колдунов и ведьм против 15 тысяч православного духовенства, то радоваться действительно нечему. Такое количество фактически языческих шаманов в условиях рыночной экономики означает, что спрос на них превышает спрос на православное духовенство в 30 раз!

Вместо того чтобы честно признать трагическое положение русского православия на сегодняшний день (как это открыто признают католики и протестанты большинства западноевропейских и латиноамериканских государств), Вигилянский возмущается дотошностью Каарияйнена и Фурмана в связи с тем, что они «сначала отобрали тех, кто посещают церковь не реже раза в месяц, — таких оказалось 7 процентов, затем... тех, кто причащались не позже чем месяц назад, — таких оказалось 4». Но больше всего его возмущает комментарий этих социологов: «Если же мы... добавим [критерии] соблюдения поста или прочтение хотя бы раз... Нового Завета или отсутствие веры в астрологию... то статистически они — бесконечно малая величина».

Почему Вигилянский считает, что социологами руководил не критерий научной честности, а выгода? В чем выгода, какая выгода? Оказывается, «чтобы раз и навсегда рассчитаться» с российскими верующими, Каарияйнен и Фурман переводят свой опрос уже в другую плоскость под заголовком «Религия и политика в массовом русском сознании». Вигилянский возмущен тем, что социологи находят религиозный сектор населения страны более пассивным, чем арелигиозный, экономически более бедным и менее образованным, чем неверующие, и что верующие более других «ностальгируют по СССР», что они являются самой социалистической группой и «скорее на стороне КПРФ». Однако о большей социальной и политической пассивности православных (равно как и о большей традиционности, патриархальности и законопослушности христиан, чем неверующих) говорят и результаты других опросов. Да и сам Вигилянский соглашается с тем, что, хотя верующие пострадали от большевиков, они «симпатизируют социалистическим представлениям о справедливости и равенстве». А к рыночным реформам верующие относятся подозрительно потому, пишет Вигилянский, «что именно „либералы” и „демократы” советской складки загнали огромную часть нашего населения в оппозицию...». Нельзя не согласиться, что в этом аргументе есть доля правды, хотя и крайне упрощенной. Но не долг ли просвещенного духовенства это все объяснить своей пастве, указать на то, что обворовывают народ те же вчерашние коммунисты и комсомольцы, которые, будучи в непосредственной близости от пирога власти и капиталов, первые воспользовались междувластием и превратились в капиталистов и олигархов? Вместо этого тот же Вигилянский оставляет без комментариев симпатии верующих к КПРФ, не считает нужным оберегать свою паству от опасности тоталитаризма, будь то коммунистического или фашистского типа. Ведь нашлись же священники, открыто призывавшие верующих православных голосовать за коммунистов и по телевидению, и в пресловутом альманахе Шаргунова «Антихрист в Москве»³.

В заключение следует сказать о некоторых странных арифметических выкладках в статье. Так, священник Вигилянский некритически воспроизводит данные, объявленные российским правительством года три назад, согласно которым большевиками было уничтожено 200 тысяч и репрессировано «еще полмиллиона» православных священнослужителей. Цифры совершенно нереальны, ибо накануне большевистского переворота было всего около 20 тысяч приходских храмов и чуть больше 50 тысяч священнослужителей, и численность выпускников семинарий,

² См. опрос, проведенный в августе 1997 года Мчедловым («НГ-религии», 1998, № 1). Ветеран «научного атеизма» советских времен, Мчедлов тем не менее отмечает стопроцентный рост религиозности среди молодежи по сравнению с советским временем. Он подтверждает, что «православие или ислам воспринимаются... как культурная среда, национальный образ жизни. ...К православным отнесли себя не только 56 процентов колеблющихся, но и 8,8 процента индифферентных и даже 2,1 процента неверующих».

³ Даже зачислив профессоров Никиту Струве и Дмитрия Поспеловского в число агентов и «белых магов» Антихриста! (См.: «Антихрист в Москве». Вып. 2. 1996, стр. 61 — 70 и 85 — 89.)

принимавших сан, резко сокращалась (в течение двух лет после выпуска из семинарий принимало сан около 30 процентов выпускников, какая-то часть рукополагалась позже, но большинство семинаристов, по крайней мере в начале XX века, уходило на гражданскую службу). В начале 20-х годов как реакция на большевизм и государственный атеизм был некоторый приток в духовенство интеллигенции. Психологически и интеллектуально это было значительным явлением, но численно вряд ли превышало несколько сот человек. Определенно можно сказать, что численность рукоположений при советской власти сокращалась, а естественная смертность увеличивалась, поскольку удельный вес пожилых священников все возрастал. Так что никаким образом большевики не могли расстрелять 200 тысяч священников, даже если бы были расстреляны все священники поголовно. Данные, опубликованные «Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий», явно имеют в виду общее количество служителей Церкви — это и священнослужители (епископы, священники, диаконы), и псаломщики, и монашествующие (а их перед революцией было чуть меньше 100 тысяч, и численность их тоже сокращалась).

Далее Вигилянский говорит: «При всех городских, поселковых храмах, а также при монастырях воскресные школы». Сомнительно, чтобы при всех. Еще несколько лет назад Московская Патриархия говорила о нескольких тысячах учеников воскресных школ по всей России. К тому же в Отделе духовного образования и катехизации известно много примеров закрытия воскресных школ — в советское время семинаристы педагогике не обучались. Иными словами, даже если за последние годы число воскресных школ росло в геометрической прогрессии, то и в таком случае речь может идти далеко не о всех храмах и монастырях. Что касается богословских школ, то их, во всяком случае на 2000 год, были десятки, а не сотни. Если говорить только о России, то это 20 семинарий, в которых обучается до 3 тысяч семинаристов; Высшая православно-богословская школа в Красноярске, 2 духовных академии, 2 православных университета примерно с 500 учащимися и 1 богословский институт с очной, заочной и вечерней программами, общее количество учащихся которого превышает полторы тысячи студентов. Кроме того, при некоторых госуниверситетах создаются православно-богословские факультеты. Еще существует более 20 двух- или трехгодичных духовных училищ, уровень образования в которых оставляет желать лучшего.

Недавно на глаза мне попала статья в одной из российских интернетовских газет, которая начиналась так: «Человек изменился, а Церковь?» И действительно, тут противоречие: с одной стороны, во имя якобы ортодоксии недопущение никаких подвижек, которые облегчали бы современному человеку приход в Церковь, преследование священников, которые пытаются приблизить Церковь к современному человеку, сделать богослужение более понятным, хотя бы при помощи перевода его на живой язык, а с другой — признание православными полужызычников.

Чувствует это противоречие, по-видимому, и сам священник Вигилянский, когда примером отклика на злобу дня со стороны Церкви ссылается на «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», предоставляющие Церкви право «в экстремальных ситуациях» призвать свою паству к «мирному гражданскому неповиновению». Несомненно, это положительный шаг, заявляющий о неслиянии Церкви и государства. Но еще следовало бы увидеть серьезные шаги в этом направлении. Так, нельзя умолчать о главном и, вероятно, не случайном упущении: Церкви следовало бы ясно определиться в своем отношении к политическим учениям — не связываться с той или иной партией, но и не быть всеядной. Не может быть Церковь Христова нейтральной к таким человеконенавистническим учениям, как марксизм, нацизм или фашизм. Вот тогда «Основы социальной концепции» обретут «плоть и кровь», перестанут быть простой декларацией.

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Антология французской поэзии. Перевод с французского В. М. Козового. М., «Дом интеллектуальной книги», 2001, 238 стр., 5000 экз.

Гюго, Бодлер, Малларме, Верлен, Лотреамон, Рембо, Жакоб, Аполлинер, Элюар, Мишо и другие в переводах Вадима Михайловича Козового (1937 — 1999), с предисловием Бориса Дубина.

Ирина Василькова. Поверх лесов и вод. Стихи разных лет. М., Некоммерческая издательская группа «ЭРА», 2001, 64 стр.

Первая книга поэта, пишущего давно и наконец нарушившего многолетнее молчание, — микроизбранное за разные годы. «Несовершенство нашего ума — / как безупречно боги рассчитали! — / не видя, в чем гармония сама, / улавливать мельчайшие детали».

Анатолий Гладилин. Большой беговой день. ФССР. Романы. М., «Вагриус», 2001, 335 стр., 5000 экз.

Авантюрное, с элементами политического гротеска повествование о бегах, КГБ, эмиграции и т. д. («Большой беговой день») и антиутопия о Франции, ставшей Французской Советской Социалистической Республикой («ФССР»).

Дос Пассос. Лучшие времена. Перевод с английского В. Вебер. Послесловие А. Зверева. М., «Культура», 2000, 360 стр.

Поздняя, 1966 года (умер в 1970-м) книга, по жанровым признакам — автобиография писателя, представляющая полноценную художественную лирико-философскую, исповедальную прозу, написанную без признаков надвигающейся старческой писательской немощи, с неутоленным молодым голодом по жизни и путешествиям, одной из самых больших радостей, подаренных Дос Пассосу судьбой после литературы.

Виктор Кривулин. Стихи юбилейного года. М., О.Г.И., 2001, 80 стр.

Последняя подготовленная поэтом книга, вышедшая посмертно.

Владимир Корнилов. Перемены. Стихи и короткая поэма. 1999 — 2000. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2001, 112 стр., 1000 экз.

Десятая книга известного современного поэта. «Слова, слова, слова — / Безумная работа. / Вернусь к ней. Но сперва / Мне музыки охота».

Новая японская проза. Он. Сборник новелл. Составители Мицуёси Нумано, Григорий Чхартишвили. М., «Иностранка», 2001, 540 стр., 8500 экз.

Новая японская проза. Она. Сборник новелл. Составители Мицуёси Нумано, Григорий Чхартишвили. М., «Иностранка», 2001, 526 стр., 8500 экз.

Двухтомник современной японской прозы, широко представляющий сегодняшнее — 80 — 90-х годов — литературное поколение. Цель «проекта» — «сломать укоренившиеся в России стереотипные представления о японцах». В каждом томике участвуют 12 авторов, в сборнике «Он» — мужчины: Ян Согиру, Макоето Сиина, Нацуки Икэдзава, Масахико Симада, Хидэо Леви, Кёдзи Кобаяси и другие («Характерная особенность японской прозы последних двух десятилетий... безыдейность, ломка традиционных ценностей, намеренная углубленность в повседневность и детали быта... высоко-развитое общество потребления, представленное множеством ярлыков, брендов и фирменных названий. Японские мужчины будто утратили ориентацию, они не могут больше навязывать свою волю Другому (женщине), зато они стали гораздо *добрее*... Японская литература, можно сказать, обновилась почти полностью» — из предисловия Мицуёси Нумано «Не только самураи. Про женоподобных японских мужчин и немощно странную литературу»; в сборнике «Она» представлены женщины: Каору Такамура, Анна Огино, Миюки Миябэ, Ёко Огава, Эми Ямада, Ю Мири и другие («Во-первых, в последние двадцать — тридцать лет женщины в Японии пишут больше, многообразнее и смелее. Во-вторых, большинство читателей в Японии (как, впрочем, и в России) — опять-таки не мужчины, а женщины. А в-третьих, японские писательницы только в конце XX века по-настоящему вернулись в литературу, долгие века считавшуюся безраздельной вотчиной мужчин» — из предисловия Григория Чхартишвили).

Вл. Новиков. Роман с языком. Три эссе. М., «Аграф», 2001, 320 стр., 3000 экз.

Книжное издание романа, опубликованного журналом «Звезда» (2000, № 7 — 8), явившегося дебютом Новикова-романиста, и отрецензированного «Новым миром» (2001, № 5).

Дмитрий Новиков. Танго Карельского перешейка. Рассказы. СПб., «Геликон Плюс», 2001, 116 стр.

Первая книга молодого прозаика из Петрозаводска, начавшего свою литературную деятельность в Интернете. О двух рассказах, вошедших в эту книгу — «Муха в янтаре» и «Sectio», — журнал писал в № 8 за 2000 и № 2 за 2001 год.

А. Нуле. После запятой. Роман. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 576 стр., 3000 экз.

Дебют русского писателя, живущего в Германии, — роман о смерти, о том, что остается или что не остается в человеке перед ее лицом. Предисловие Андрея Битова: «Нескромна амбиция этого романа (по-видимому, принадлежавшего женщине) и потому, что молодой автор взялся за задачу, за которую не возьмется автор умеющий... По-видимому, только... с правом молодости и можно с подобной задачей справиться».

Владимир Орлов. Бубновый валет. Роман. М., «АСТ», «Олимп», 2001, 544 стр.

Новый роман автора бестселлера 70-х «Альтист Данилов»; теперь писатель возвращается к временам написания своей первой громкой повести «Соленый арбуз», в 60-е, чтобы рассказать духовную историю своего современника.

Д. А. Пригов. Только моя Япония. Непридуманное. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 320 стр., 5000 экз.

Несоизданная — для «прижизненного классика» отечественного соцарта — просто-душно-истовая проза путешественника про действительно Японию, писавшаяся обстоятельно, со вкусом к деталям и подробностям и отсылающая к старинной традиции (Карамзин, Киплинг, Готье и т. д.).

Александр Пятигорский. Рассказы и сны. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 128 стр.

Семь прозаических текстов известного философа.

Ян Сатуновский. Среди белого дня. М., О.Г.И., 2001, 112 стр.

Избранное одного из самых значительных поэтов отечественного андерграунда, «лианозовца», абсурдиста и ирониста. Составители: М. Айзенберг и И. Ахметьев.

Андрей Соболев. Человек за бортом. Повести и рассказы. Составление и послесловие В. А. Широкова. М., «Книгописная палата», 2001, 320 стр., 3000 экз.

Первое за 75 лет переиздание прозы Андрея (Юлия Михайловича) Соболя (1888 — 1926). Содержит повести «Салон-вагон», «Человек за бортом», «Паноптикум» и еще семь рассказов, посвященных событиям Гражданской войны и интересных, по мнению сегодняшних критиков, прежде всего как уникальный человеческий документ, основной пафос которого — разочарование бывшего эсера, возможно, и приведшее автора к самоубийству: «В застенках, под пытками, на каторге и на чужбине эсеры спасались верой в „Россию молодую“. Оказалось, что по природе своей она лишь прекрасное видение мученика и аскета, жертвующего личным счастьем ради всеобщего: с революционной действительностью „Россия молодая“ не имеет ничего общего», «Образы Соболя причудливы, ярки, порой карикатурны... эсеры, которые мечутся между красными и белыми, устраивают теракты против большевиков и пытаются сагитировать русского мужика в пользу Учредительного собрания, белогвардейский Крым, заполненный „обломками“ прежней жизни, незалежно-демократический Киев под немцами, белогвардейские офицеры-налетчики времен нпа» («Вести.Ру»).

Улов. Современная русская литература в Интернете. Выпуск 2 (осень 2000). М., «АРГО-РИСК», Тверь, «КОЛОННА», 2001, 228 стр.

Сборник прозы и стихов, представленных на втором сетевом литературном конкурсе «Улов» и признанных членами жюри лучшими. Авторами сборника стали Георгий Балл, Сергей Соколовский, Асар Эппель, Лев Усыскин, Марина Фольки, Владимир Строчков, Юлий Гуголев, Бахыт Кенжеев, Глеб Шульпяков и другие.



Исайя Берлин. История свободы. Россия. Предисловие А. Эткинды. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 544 стр., 5000 экз.

Вышел второй том двухтомника одного из известнейших современных английских философов (при этом — выходца из России), представителя англосаксонской либераль-

ной мысли Исаяи Берлина (1909 — 1997)¹. Философское наследие его составили в основном записи лекций, которые Берлин читал перед студентами Оксфорда. Постоянными темами его размышлений были национализм и социализм, последнее определило его особый интерес к русской истории и общественной мысли России XIX — XX веков. Издание содержит работы о Белинском, Герцене, Бакунине, Толстом, о движении народников, а также о явлении сталинизма в самых разных областях русской жизни. Двухтомник вышел в новой издательской серии «Либеральное наследие». Редактор переводов, осуществленных группой переводчиков, — Н. Л. Трауберг.

Чарльз Диккенс. История Англии для юных. Перевод с английского Т. Бердиковой, М. Тюнькиной. М., Издательство «Независимая газета», 2001, 511 стр., 10 000 экз.

История Англии в лицах (прежде всего королей и королев), в сюжетах интриг и заговоров, войн и религиозных противостояний, написанная Диккенсом для своих детей в 1853 году и охватывающая период от момента зарождения нации и государства до «Славной революции» 1688 года, то есть более чем полтора тысячелетия.

Е. А. Диренштейн. А. К. Воронский. В поисках живой воды. М., «РОССПЭН», 2001, 360 стр., 2000 экз.

Первая монография об Александре Константиновиче Воронском (1884 — 1937), редакторе-основателе главного в 20-е годы толстого советского журнала «Красная новь», публицисте, литературном критике, прозаике.

Крестьянские истории. Российская деревня 20-х годов в письмах и документах. Составитель С. С. Крюкова. М., «Российская политическая энциклопедия» («РОССПЭН»), 2001, 232 стр., 2000 экз.

История доколхозной деревни глазами самих крестьян. Основу сборника составили читательские письма из архива «Крестьянской газеты» 20-х годов; материал расположен в разделах: «Экономика крестьянского двора», «Крестьянин и власть», «Крестьянин и закон», «Частная жизнь».

Григорий Кружков. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 704 стр.

Литературно-критическая эссеистика поэта и переводчика англоязычной поэзии.

Афанасий Фет. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 480 стр.

Впервые собранные вместе очерки Фета, публиковавшиеся в русских журналах в 1862 — 1871 годы и представляющие осмысление собственного опыта русского помещика, а также — «своеобразный сплав воспоминаний, лирических наблюдений и философских размышлений о сути русского характера». В «Приложении» помещена подборка стихов, написанных Фетом в Степановке.

Ефим Эткинд. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., «Академический проект», 2001, 496 стр., 3000 экз.

Мемуары известного филолога и переводчика Ефима Григорьевича Эткинда (1918 — 1999), содержащие историю отстранения Эткинда от преподавательской деятельности, лишения ученого звания профессора и доктора наук, а также рассказ об одновременном (в тот же день — 25 апреля 1974 года) исключении его из Союза писателей СССР; о предшествующей этому профессиональной и гражданской казни (неизбежным продолжением которой стала вынужденная эмиграция), о событиях личной жизни автора и общественном климате страны, в частности, о процессах над Бродским и Михаилом Хейфицем, о противостоянии либерально настроенной русской интеллигенции давлению советской идеологии.

Составитель **Сергей Костырко.**

¹ О первом томе «Философия свободы. Европа» (с предисловием того же автора) см. в «Книжной полке Елены Ознобкиной» («Новый мир», 2001, № 8).

ПЕРИОДИКА



«Вести.Ru», «Вестник Европы», «Время МН», «День литературы», «Дипкурьер НГ», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Крещатик», «Круг жизни», «Кулиса НГ», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Наши современник», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая русская книга», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Русская мысль», «Русский дом», «Русский Журнал», «Север», «TextOnly», «Урал», «Фигуры и лица»

Сергей Аверинцев. Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации. — «Независимая газета», 2001, № 84, 15 мая <<http://www.ng.ru>>

Полный текст доклада Сергея Аверинцева на Международной конференции «Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков» (Москва, май 2001 года), заранее обещанный автором нашему журналу, см. в настоящем номере «Нового мира».

Алексей Автократов. Вьючные люди. — «Дружба народов», 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/druzha>>

В Китай и обратно. Челноки. Уйгуры. Китайцы.

Надежда Ажгихина. Новые амазонки изящной словесности. Писательницы России, Украины и Белоруссии выступили с феминистическим манифестом. — «Круг жизни». Приложение к «Независимой газете». 2001, № 10, 25 мая <<http://life.ng.ru>>

У женщин все впереди, считает прозаик **Светлана Василенко.**

Игорь Андреев. Мазепа. Герой или изменник? — «Знание — сила», 2001, № 4 <<http://www.znanie-sila.ru>>

«Лучше его (гетмана. — А. В.) сегодняшнее открытое и безудержное вознесение, чем прежнее полуподпольное почитание».

Виктор Астафьев. «В провинции надо все время себя спасать». Беседу вела Нина Краснова. — «Новая газета», 2001, № 31, 7 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Заискивать перед народом писателю не надо... Бунин никогда не заискивал... и стал великим писателем. <...> Очень, очень многие обижаются на меня! Говорят мне: вы не любите русский народ... А чего его любить-то? За что я должен его любить? Предъявите мне документы, назовите по пунктам: за что я должен его любить? (Смеется.)».

Дмитрий Бавильский. «Одну из них сам бог благословил...». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«[Светлана] Кекова и есть связующее звено между тихими радостями [Александра] Кушнера и метафизическим головокружением [Ольги] Седаковой».

Дмитрий Бавильский. «Парадокс Курносенко», или П(р)оиски литургического звука. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Важно: в „Свете тихий“ соблюдена пропорция между формальной сложностью и интересами производственного романа (нравы и внутреннее устройство церковного хора как экзотическая для читателя среда обитания)». Рецензируемую повесть Владимира Курносенко см. — «Дружба народов», 2001, № 4.

Д. Бартон Джонсон. Странные соседи: Эйн Рэнд и Владимир Набоков. Перевод с английского Н. Жутовой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

Айн/Эйн Рэнд (урожденная Алиса Розенбаум) и Владимир Набоков (псевдоним — Владимир Сирин) родились в Санкт-Петербурге в 1905 и 1899 годах. Они стали знаменитыми американскими писателями в конце 50-х годов. Их наиболее известные произведения «Атлант расправил плечи» (1957) и «Лолита» (1958) почти одновременно оказались бестселлерами.

«На презентации русского перевода „Атласа, [расправляющего плечи]” в апреле 2000 года экономический советник российского президента Андрей Илларионов назвал

Рэнд своим кумиром и сообщил, что рекомендовал читать эту книгу Владимиру Путину», — читаем во вступительном слове Александра Эткинда к докладу Айн/Эйн Рэнд «Большой бизнес — преследуемое меньшинство американского общества», опубликованном в обновленном «Неприкосновенном запасе» (2001, № 1 <<http://novosti.online.ru/magazine/nz>>), который с этого номера заявляет о себе как о *журнале дебатов о политике и культуре*.

Недобрая киевлянка Инна Булкина («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/period>>) считает, что «Неприкосновенный запас» меняет дизайн, концепцию и общую стилистику (по крайней мере декларирует это), поскольку ранее был неуспешен как «проект»: «Так бывает, но тем хуже для „проекта“. Потому как „журнал“ и „проект“ — предметы разные. Нимало не изменившись как журнал, „НЗ“ стал позиционировать себя как другой проект».

Павел Басинский. Штиль в стакане воды. Борис Акунин: *pro et contra*. — «Литературная газета», 2001, № 21, 23 — 29 мая <<http://www.lgz.ru>>

Акунин — писатель *очень серьезный*, хотя сам это всячески отрицает, а Фандорин — противный выморочный тип, взявшийся из какой-то неведомой книжной «Японии».

Михаил Безродный (Мюнхен). Пиши пропало. Отрывки из книги. — «Крещатик». Издается благотворительным Фондом Сергея Параджанова. Главный редактор Борис Марковский. 2000, № 4 (10) — 2001, № 1 (11) <<http://www.kreschatik.demon.nl>>

«Смерть автору! Закат Европе! Конец цитате!..»

Международный литературно-художественный журнал «Крещатик» создан несколько лет назад в Германии эмигрантами из Киева. Обзор его последних номеров см. — «Знамя», 2001, № 5.

Михаил Берг. Гимн ленивым в любви, фригидным и некрасивым. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2001, № 6 <<http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html>>

«Успех романов Марининой, пришедшийся на эпоху реформ, не менее симптоматичен, чем успех в свое время романов Бальзака. Бальзак, описывая становление буржуазного общества во Франции, воспел породу порочного, рвущегося к власти и успеху, изысканного и обольстительного Растиньяка; это оказалось созвучным общественным интересам динамично менявшейся Франции. Настя Каменская сажает русских растиньяков в тюрьму, описывает их неизбежную гибель и противопоставляет усталую, но непримиримую и остервенелую женскую консервативность мужской, безрассудной тяге к успеху. <...> Она репрезентирует русский вариант эпохи политкорректности, делая акцент на той репрессированной традиционной советской культурой форме сознания, которая представляет собой женскую асоциальность, помноженную на асексуальность в стиле унисекс. <...> Александра Маринина показывает, что у этой асоциальности усталое, помятое лицо фригидной женщины в климактерической фазе, не желающей, да и не способной воспроизводить жизнь».

Н. Я. Берковский. Письма к Алисе Коонен. Вступительная заметка Надежды Таршис. Публикация, подготовка текста и примечания Л. А. Николаевой-Ниновой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

Письма 1961 — 1971 годов. «Вы были женщиной на сцене, после Вас пошли „бабы“, с классиком этого амплуа во главе — с Аллой Тарасовой, которая провалила Анну Каренину именно по этой причине — сделала Анну „бабой“, идеалом от прапорщиков до толстых генералов включительно. <...> Бедный Пастернак, Борис Леонидович, я знаю только один проступок за ним — в поздних стихах он назвал Тарасову „великой актрисой“, и это, очевидно, за „Марию Стюарт“ в его переводе» (из письма от 14 марта 1963 года).

Зинаида Блинова (Симская школа, Владимирская область). Рецензия по-ученически. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 18, 8 — 15 мая <<http://www.1september.ru>>

Как научить школьников писать рецензии на *новомирскую* прозу.

Иосиф Бродский. Демократия! Пьеса. Вступительная заметка Я. Гордина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 5.

В полном виде пьеса, написанная на рубеже 80 — 90-х годов, публикуется впервые. См. также «Послание директора библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона поэтическому вечеру, посвященному 5-й годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. (Спасо-Хаус, Москва, 25 января 2001 г.)» («Иностранная литература», 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>).

Дмитрий Быков. От благодарных бесов. — «Литературная газета», 2001, № 19 — 20, 16 — 22 мая.

«К чести [Игоря] Волгина, следует заметить, что весьма путаные взгляды петрашевец он изучил детально и [в книге «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года»] умеет ненавязчиво намекнуть читателю, *чем* была бы Россия, исполнись в те времена мечты русских утопистов. Поневоле посочувствуешь царю». См. также рецензию **Юрия Кублановского** в настоящем номере «Нового мира».

В огонь! — «Лимонка». Газета прямого действия. 2001, № 169, май <<http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/5336>>

Рубрика «На фронтах контркультуры». 26 апреля с. г. в Москве состоялась *очистительная акция, направленная против негативных явлений в современной культуре*. Представители «Художественной Воли» предали огню экземпляры журналов «ОМ», «Художественная Жизнь», «Радек» и др., а национал-большевики отправили в костер пластинку Окуджавы, фильм «Сибирский цирюльник» и обед из «Макдоналдса». Последний сожжен как символ глобализации, которую в «Лимонке» пишут через два О — *глоблизация*, но зато везде, где надо, в газете проставлена буква ё.

Андрей Ваганов. «Ядерные технологии — надежда России». — «Независимая газета», 2001, № 82, 11 мая.

Говорит министр РФ по атомной энергии, академик **Александр Румянцев**: «Мы 25 лет безопасно занимаемся этими вещами — транспортировкой, технологическим хранением, переработкой, регенерацией ОЯТ (отработанного ядерного топлива. — *А. В.*)».

Андрей Воронцов. Пыль и камень. — «Наш современник», 2001, № 5 <<http://read.at/nashovr>>

О том, что сегодня армяне в Армении — такие, как есть, а не такие, как их избразил Битов.

Высокий уровень коррупции препятствует нормальному развитию государства. — «НГ-Политэкономия», 2001, № 8, 8 мая <<http://politeconomy.ng.ru>>

Говорит один из участников «круглого стола», директор Центра по изучению теневой экономики и коррупции фонда «ИНДЕМ» **Марк Левин**: «13-м пунктом программы Национал-социалистической партии Германии, составленной в середине 20-х годов, была борьба с коррупцией. Как известно, задумка осуществилась достаточно быстро, однако это привело к тому, что уже к концу 30-х годов в Германии велась дискуссия о замене Гитлера, если не ошибаюсь, на Геббельса, поскольку тот был сильно коррумпирован. Да и все его окружение понимало, что война им невыгодна, это нарушит их, так сказать, частный бизнес. Но тем не менее... Считается, что уже к 44-му году Германия была коррумпирована абсолютно».

Белла Гвардейская. Опыт корпоративного анализа двух литературных журналов. — «TextOnly», выпуск восьмой <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue8>>

Социокультурная интерпретация совпадений в двух корпоративных объектах, а именно — в эмигрантском журнале «Числа» (издавался в Париже в 1930 — 1934 годах) и в сетевом журнале «TextOnly» (существует с 1999 года).

«Герой — это социально приемлемый преступник». Беседу вел Сергей Завьялов. — «TextOnly», выпуск восьмой <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue8>>

Говорит питерский поэт **Сергей Стратановский**: «[Геннадий] Айги, думаю, фигура дутая, Всеволод Некрасов, может быть, излишне однообразен, излишне заиклен на приеме, [Генрих] Сапгир — очень интересен, не вполне прочтен и не вполне оценен. <...> Только что [в Москве] вышла книга „Время Ч“, посвященная чеченской войне. На мой взгляд — это абсолютный провал всего этого направления: целый народ поставлен на грань геноцида, на грань выживания (я не буду сейчас говорить, кто прав, кто виноват в этой войне), а при попытке писать об этом произошел совместный провал московской, петербургской и киевской тусовок, провал прежде всего гражданский, свидетельство того, что настоящее гражданское общество еще не сформировано, у поэтов, в частности, нет гражданской позиции. Приходится вспомнить Некрасова: „По-этом можешь ты не быть...“»

Стихи Сергея Стратановского см. — «Новый мир», 2001, № 9. Рецензию **Владимира Губайловского** на новую книгу Сергея Стратановского см. — «Новый мир», 2001, № 7. Статью **Сергея Завьялова** о современной поэзии см. — «Новый мир», 2001, № 5. Критические суждения о сборнике «Время Ч» см. в «Книжной полке **Павла Крючкова**» («Новый мир», 2001, № 7).

Анатолий Гладилин. «Сахаров меня пытался отговорить». 25 лет назад писатель Гладилин покинул родину. Беседу вел Георгий Елин. — «Новая газета», 2001, № 34, 21 мая.

На Запад Гладилин уехал с *поручением* Сахарова — смягчить «Континент» и помирит Максимову с Синявским.

Татьяна Глушкова. Когда не стало Родины моей... Из книги «Грибоедов» и другие стихи. — «Кулиса НГ», 2001, № 8, 18 мая <<http://curtain.ng.ru>>

«Но был весь мир провинцией России, / теперь она — провинция его...» Эту подборку Татьяна Глушкова передала в газету незадолго до смерти (умерла 22 апреля 2001 года). См. также статью **Валентина Курбатова** и другие материалы в связи с ее кончиной в газете «День литературы» (2001, № 6).

Иван Давыдов. Интерпол, выпуск 47. Тезисы к наступлению неинтересной эпохи. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/interpol>>

«Оказывается (именно оказывается, все происходит здесь и сейчас), что *осмысленное содержательное противостояние* власти более невозможно. Незачем. <...> Когда власть работает, она неинтересна. Когда власть неинтересна, неинтересно и содержательное ей противостояние. А единственная возможность для профессионалов противостояния держаться на плаву — постоянно привлекать внимание к собственным персонам и деяниям. Вывод из несложного силлогизма каждый в состоянии сделать сам».

Олег Дарк. Смысл, которого не было. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«В *прежние времена* полное академическое собрание сочинений было итогом долгой исследовательской работы, к нему *шли*. Сейчас — попытка выдать его сразу, махом. Ничего *академического* тут, конечно, не получается. И вовсе не из-за частной нехватки — черновиков или *всех* редакций. Другая *интонация*. Академическому изданию присуща неторопливость, даже медлительность, тяжеловесность речи (если издание — это речь), а новые издания окружает атмосфера особенной торопливости, поспешности, они все немного впопыхах, запыхавшись, словно бы можно не успеть или кто-то гонится».

Аман Давлятшин. Мой Шолохов. — «Литературная Россия», 2001, № 20, 21 <<http://www.litrossia.ru>>

«Во время одного из застолий, без которых не обходилась ни одна встреча в доме писателя, когда мы все, да и Шолохов, были уже крепко „на взводе“ и не было единой нити в разговоре, он как-то без выраженного повода, негромко и не совсем внятно произнес выражение „вёшенский узник“ применительно к себе. <...> „Вы не ждите от меня ничего более значительного, чем „Тихий Дон“, — как-то негромко сказал он, отвечая на один из дежурных вопросов, по-видимому, неприятных для него. — Я сторел, работая над „Тихим Доном“...» Здесь же: «Вопреки потугам фанатиков культа Шолохова изобразить его этаким радетелем юных дарований, нет ни одного значительного писателя, которому он помог бы стать на ноги. Хотя несколько довольно посредственных авторов все же воспользовались его поддержкой».

Димитар Димитров. Антропологический взгляд на албанский экстремизм. Перевод Ирины Курочкиной. — «Дипкуррьер НГ», 2001, № 8, 24 мая <<http://world.ng.ru>>

«Исходная мысль данного текста состоит в том, что албанский экстремизм в своей основе является выражением цивилизационного кризиса албанской общности, то есть имеет имманентный характер — с причиной, заключенной в себе, а не в другом. <...> Сам же цивилизационный кризис албанской общности в общем смысле может быть определен как несоответствие между внутренним собственным укладом жизни и преобладающей культурной тенденцией у окружающих народов Юго-Восточной Европы к концу второго и началу третьего тысячелетия». Автор — доктор философских наук, посол Республики Македония в Российской Федерации.

Евгений Евтушенко. Площадь Маяковского в Сантьяго-де-Чили. — «Литературная газета», 2001, № 19-20, 16 — 22 мая.

«Когда он (Сальвадор Альенде. — *А. В.*) приезжал в Россию, единственное, что он увез оттуда, были галоши фабрики „Красный треугольник“. Он их прежде никогда не видел, и они ему очень понравились».

Жилец Вешин (так в газете, но я подозреваю, что надо по-хлебниковски — Жилец Вершин. — *А. В.*). Селин в России. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2001, № 169, май.

Луи-Фердинанд Селин — наше всё, лучший и талантливейший.

Сергей Земляной. Свобода и Империя. Родовые травмы отечественного либерализма. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 2001, № 9, 17 мая <<http://faces.ng.ru>>

«Завораживающее воздействие на отечественный либерализм [конца XIX — начала XX века] оказал тотальный факт Российской империи. Если отечественный либерализм и умел помыслить политическую свободу, то мыслил ее как свободу от, в и для Империи. Империя находилась внутри той свободы, которую исповедовал отечественный либерализм». Струве. Милюков. Кизеветтер. Новгородцев.

Михаил Золотоносов. Документальный триллер. Культурологические заметки о поэтике власти. — «Московские новости», 2001, № 20, 15 — 21 мая <<http://www.mn.ru>>

«Неоконсерватор в России — это вчерашний либерал, только смертельно запуганный за десять лет. Устав бояться в XX веке и взвесив на весах, с одной стороны, бунт толпы, под которым он понимает любую ее непредсказуемость, а с другой стороны, бюрократический государственно-монополистический „райх“, он выбрал на XXI век второй, как „механизм безопасности человека от человека“. Как инструмент стопроцентной предсказуемости, пусть и негативный по своему абсолютному качеству».

«Конечно, могут возникнуть опасения, что опека государства в свою очередь чревата для культуры некими угрозами, — пишет в „Литературной газете“ (2001, № 21, 23 — 29 мая) директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, член-корреспондент РАН **Николай Скотов.** — Кто спорит, государство — вещь страшная, но не более, чем его отсутствие». В том же номере «Литературки» **Максим Соколов** на вопрос «Почему это вы вдруг стали таким рьяным государственнымником?» отвечает: «Не вдруг, а постепенно. Только государство защитит каждого из нас от врагов, как внешних, так и внутренних. Только государство может гарантировать исполнение сделок и обязательств, защиту от бандитов. Другой вариант — вызывать на помощь братков, чего не хотелось бы. Анархия всегда хуже порядка. Но с порядком в России можно переборщить. Я об этом никогда не забываю».

Михаил Золотоносов. Ускользнул от нас Булат. — «Московские новости», 2001, № 21, 22 — 28 мая.

«Такая форма „полного собрания“, [как „Новая библиотека поэта“], годится только для „абсолютных классиков“, и <...> Окуджава не устоял».

Тимур Зульфикаров. Открытое письмо Президенту Российской Федерации господину В. В. Путину. — «Наш современник», 2001, № 5.

«Но не зря во Владимирской области появилась народная странница, кликуша-пророчица Марья, которая все время вопиет-шепчет, показывая в сторону Москвы, что видит огромный белый гриб над блудницей Москвой — столицей русского зла! да! Атомный гриб, Господин Президент!..»

Наталья Иванова. Чужие письма читать рекомендуется. — «Знамя», 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/znamia>>

Чтение переписки Сергея Довлатова и Игоря Ефимова неожиданно приводит критика к мысли, что *только обеспеченная талантом мораль влиятельна, иначе вместо академика Сахарова мы получаем Сергея Ковалева.*

Валерий Исаков. Читатель Чехова. Роман. — «Дружба народов», 2001, № 5.

Герой (тоже писатель) читает две книги, которые сами в свою очередь *читают друга друга.* См. рецензию **Андрея Урицкого** «Виртуальный тупик» («Независимая газета», 2001, № 96, 31 мая).

Борис Кагарлицкий. Введение в кролиководение. Протест как предмет первой необходимости демократии. — «Новая газета», 2001, № 35, 24 мая.

«Десять лет назад слова „социализм“ или „рабочее движение“ вызывали у большинства молодых людей лишь ассоциации с унылыми лекциями советских специалистов по общественным наукам <...>. После 1998 года ситуация начала резко меняться, и первым симптомом этого стали многочисленные попытки создания профсоюзов среди служащих коммерческих банков и транснациональных предприятий. <...> Прошел еще год, и среди молодых представителей среднего класса начала распространяться мода на левые идеи».

Александр Казинцев. Кристаллы времени. — «Наш современник», 2001, № 5.

«Со смертью одного человека рушатся целые направления в патриотической публицистике. Умерла Галина Литвинова — и на 10 лет (до появления Медведевой — Шишовой) исчезла [в „Нашем современнике“] тема демографии. Умер Иван Васильев — некому писать о деревне. Со смертью Вадима Кожинова наверняка на долгое время окажется без призора советская история...»

Елена Калашникова. «Я никогда не считал, что перевод — это донорство». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит переводчик **Александр Михайлович Ревич**: «[Ахматова] плохо переводила. Думаю, [Арсений] Тарковский-переводчик лучше Тарковского-поэта. <...> Гениальным поэтом и переводчиком был Аркадий Акимович Штейнберг».

Елена Калашникова. Точность в переводе невозможна. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит переводчик **Евгений Владимирович Витковский**: «Мне известен другой случай — человек хорошо перевел четыре книги одного автора, а потом сам стал писать по-русски книги *почти* того же автора. Это Виктор Пелевин, переведивший Кастанеду. Без Кастанеды не возникло бы Пелевина. И я считаю это его достоинством. Перенять тоже очень трудно».

Владимир Кантор. Русский европеец как задача России. — «Вестник Европы». Журнал европейской культуры. Главный редактор В. Ярошенко. 2001, том 1. E-mail: herald_of_europe@libfl.ru

Надо ли русским европейцам бежать из России. Не надо, даже если очень хочется.

«Вестник Европы» основан в Москве в 1802 году. Первый главный редактор — Н. М. Карамзин. Возобновлен в Санкт-Петербурге М. М. Стасюлевичем в 1866 году. Запрещен большевиками в 1918 году как контрреволюционное издание. Возобновлен в 2001 году. Учредители Е. Гайдар, Е. Гениева, В. Ярошенко. Первый том журнала, выпущенный тиражом 1000 экз., издан при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса), ВГБИЛ имени М. Н. Рудомино, Института экономики переходного периода, Фонда экономической политики.

Гарри Каспаров. История с географией. — «Огонек», 2001, № 21, 22 <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>>

Каспаров — *фоменкианец*.

Ирина Каспэ. Народ за Гарри Поттера. — «Иностранная литература», 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/inostran>>

См. разные мнения о «поттеромании» — «Новый мир», 2001, № 7.

Надя Кеворкова. Монархические тупики. Или как на ниве нового русского благочестия создано мощное еретическое учение. — «НГ-Религии», 2001, № 9, 16 мая <<http://religion.ng.ru>>

Накануне канонизации царской семьи вышла книга историка Игоря Васильевича Смыслова «Царский путь», автор которой, по мнению рецензента, не надеялся повлиять *на процесс* — «слишком мощные рычаги были приведены в действие и обрабатывали церковную общественность на протяжении трех лет, <...> а вот дальнейшие действия, в частности канонизацию Распутина и многих других смутных фигур российского прошлого, он считал необходимым предупредить».

Артур Кёстлер. Анатомия снобизма. Перевод с английского М. Наумова. — «Иностранная литература», 2001, № 4.

Эссе 1955 года.

Илья Кириллов. Средь зерен и плевел. — «День литературы», 2001, № 6, май <<http://www.zavtra.ru>>

«Роман [Дмитрия Быкова «Оправдание»] действительно слабый, но это неудача, которая стоит иных удач».

Е. А. Ковалевская. Реквием. Светлой памяти моих родителей. Публикация и вступительная заметка Ольги Михайловой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 5. «9 мая 1945, «Чкалов». <...> Как же это, любимый мой, кончится война, а тебя нет. Я по старой привычке написала „кончится“, а она кончилась...» Письма-дневники, обращенные к мужу, убитому на фронте. См. также публикации **Александра Рьженкова** «Оккупация. Воспоминания фронтовика» («Наш современник», 2001, № 5) и **Татьяны Репиной** «Солдатский аттестат зрелости. Страницы фронтового дневника» («Москва», 2001, № 5).

Михаил Ковров. О драматургии. (Русский Канон). — «Наш современник», 2001, № 5.

«Ставя Рощина, Володина, Гельмана и Шатрова, неизбежно сопьешься...»

Николай Коляда. По есенинскому следу. Стихи русского поэта странным образом хорошеют после его смерти. — «Кулиса НГ», 2001, № 8, 18 мая.

7 мая в Екатеринбурге покончил с собой поэт Борис Рьжий.

Николай Кононов. Рассказы. — «Знамя», 2001, № 5.

См. также статью Ольги Лебедушкиной «Детский мир» («Дружба народов», 2001, № 5) о книгах Николая Кононова «Похороны кузнечика» и Олега Павлова «В безбожных переулках».

Сергей Константинов. «Я человек очень мягкий, не могу ломать...». Михаил Калинин пытался противодействовать репрессиям против Церкви и насильственной коллективизации крестьянства. — «Фигуры и лица», 2001, № 10, 31 мая.

Среди прочего — фрагмент направленной стенограммы выступления Калинина перед жителями аула Урус-Мартан 17 мая 1923 года. *«Калинин:* Мы обсуждаем вопрос о выселении отсюда казачьих станиц, и должен вам прямо сказать, что выселение станиц с населением в несколько тысяч человек — абсолютно не под силу советской власти... <...> *Цока Антимиров, представитель бедноты* (заявляет): ...Казачи являются в отношении чеченцев такими же помещиками — они живут на чеченской земле, почему же в отношении их нельзя применить тот порядок, который применен к русским помещикам, чтобы выселить русских казаков из станиц, а землю отдать чеченскому народу. *Калинин:* Как бы это ни было неприятно вашему аулу, но я должен еще раз повторить, что казаков мы выселять не можем... <...> Я был у ингушей, у осетин, в Дагестанской Республике, в Карачаеве, посетил здешнюю казачью станицу Петропавловскую, и все повсюду жалуются на чеченцев, что чеченцы их грабят, что чеченцы убивают. <...> *Ата Шантукаев:* <...> Советская власть не сумела создать такой обстановки, чтобы люди могли жить не нуждаясь, а раз чеченец не может прокормить своей семьи, если он должен отдать власти 60 пудов кукурузы, которой при всем желании взять ему неоткуда, то, естественно, он должен идти воровать и грабить. <...> *Калинин:* Должен открыто сказать, что речь товарища Шантукаева проникнута полным лицемерием. Безусловно, жить всем трудно, но разве налоги советская власть берет только с чеченского народа? Наш русский мужик платит в три, в четыре раза больше, чем чеченцы, а между тем он не грабит...»

Геннадий Красников. Все, что сбилось и не сбилось... — «Москва», 2001, № 5
<<http://www.moskva.muslib.com>>

«Сегодня уже невозможно представить русского человека на вечере поэзии [Александра] Кушнера, как и его самого на вечере русского поэта, — слишком много взаимно раздражающего, неприятного пришлось бы им услышать». *Редакция журнала «Новый мир»* выдвигала А. Кушнера на соискание Государственной Пушкинской премии, которую он, как известно, получил.

Анатолий Кузнецов, Алексей Кузнецов. Мама, я жив-здоров! Все хорошо. — «Знамя», 2001, № 5.

Письма невозвращенца. С комментариями сына.

Евгений Кузнецов. Война и «Мир». За похвалу нашей послушности мы распродавали кирпичи из здания страны-завода. — «НГ-Сценарии». 2001, № 5, 16 мая
<<http://scenario.ng.ru>>

«Надеюсь, теперь вывод о том, что мы втягиваемся в неизбежную новую мировую войну, не покажется читателю необоснованным...»

Майя Куликова. Голубой Онегин. — «Огонек», 2001, № 21, май.

Говорит психолог **Мария Черемисинова** (тема ее диссертации — «Латентная гомосексуальность в русской классической литературе»): «И таких пар, кроме Обломова со Штольцем, в русской литературе видимо-невидимо. Иван Иванович и Иван Никифорович Гоголя. Базаров и Кирсанов Тургенева. У Тургенева еще несколько: Хорь и Калиныч, Чертопханов и Недопюскин (фамилии-то какие говорящие!), Лежнев и Рудин... <...> Или, например, вспомните про лермонтовского Максим Максимыча. Что за странные чувства питал он к Печорину? И тосковал-то он по нему, когда они „расстались“, и встреча радовался, чуть не прыгал (это похилой военный-то!), и даже плакал (!), обоженный его холодностью. <...> „Карету мне, карету!“ Скорой интимной помощи тебе карету!.. Это они от себя убегают. <...> „Крейцера соната“ — вообще, в сущности, описание страданий гомосексуала, вынужденного жить с женщиной, потому что он на ней вроде как женился из социальных соображений, а вообще ему так это все проти-и-ивно... <...> Надо заметить, [голубой] перекос только в так называемой классической литературе золотого века. Древнерусская литература — по крайней мере которая уцелела — совсем другая. Былины — эти описания подвигов разных героев, и женщин и мужчин, — напрочь лишены того, о чем мы тут говорили. В былинах мужчины ведут себя как мужчины, женщины как женщины. Всяких там душеспасительных дружб и бесед не заводят, мыслями не мучаются, от невест не сбегает, а вместо этого воюют, торгуют, любят, поют, пьют, рожают детей и вообще всячески радуются жизни».

«Автору не раз приходилось отмечать латентную педерастию антигероев детского экрана <...>, — пишет в „Известиях” (2001, № 82, 12 мая <<http://www.izvestia.ru>>) кинокритик **Денис Горелов**, — однако лидерство царствующего дома Йагупопов из „Королевства кривых зеркал” (детский фильм Виталия Губарева и Александра Роу 1963 года. — *А. В.*) было бесспорным. Сам король Йагупоп Седьмой вершил славные дела преимущественно у зеркала — в пудре, туфлях, драгоценностях, панталонах с кружевами, вертеться и причитая слобным голосом трансвестита. Герцог Нушрок носил длинный парик, чувственные ноздри и густые черные тени под демоническими очами. Дочка его предпочитала чернокожаное трико-обтягайку, плетку-семихвостку и прочие садомазоаксессуары вплоть до странноватой и крайне симпатичной лошадки. Все трое воевали друг с другом за право сажать на цепь и запирать на ключ маленьких детей...»

Милан Кундера. Семьдесят три слова. Предисловие и перевод с французского Натальи Санниковой. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 5 <<http://www.art.ural-info.ru/literat/ural>>

Словарь ключевых слов (например — *Легкость*), которые проходят по романам Кундеры, ключевых слов его эстетики, впервые опубликованный в 1985 году.

«**Лауреатов чествовали в „Астории”**. Беседовал Александр Вознесенский. — «Ex libris НГ», 2001, № 19, 31 мая <<http://exlibris.ng.ru>>

«Прекрасная, тонкая психологическая интерпретация, совершенно субъективная, но подход интересный и литература хорошая. Русский язык очень хороший», — говорит *почетный* председатель Малого жюри премии «Национальный бестселлер» **Ирина Хакамада** о романе Дмитрия Быкова «Оправдание». Но — «победителя определила не Хакамада, а я, — утверждает **Вячеслав Курицын** („Курицын-weekly от 29 мая 2001 года” <<http://www.russ.ru/krug/news>>) — <...> Покупается большая бутылка водки „Охта”, 300 гр. колбасы, столько же сыра. Подпаивается накануне церемонии член жюри — в данном случае им оказался [питерский прозаик Павел] Крусанов. И выведывается тихой сапой: а за кого же ты, милый член, отдашь свой голос? Паша человек не жадный, не стал кичиться тайной. Сказал: за Быкова. Дальше — дело техники. Пришлось горько хлопнуть себя по лбу, сказать: „Я так и знал, что закончится все большим кердыком”, — и на пальцах объяснить другу, что роман „Оправдание” есть полный отстой и что пацаны Пашу реально не поймут, если он вляпается в такую калошу. И Паша не только понял правоту моих слов, не только дал зуб, что перепишет вечером письмо на [Леонида] Юзефовича, но и, как настоящий пацан, честно переписал. В результате у Юзефовича оказалось 2 голоса, а у Быкова один. Без Пашиной рокировки, как вы понимаете, было бы ровно наоборот. Смею вас уверить, что решения по РАО ЕЭС принимаются примерно так же». Роман Леонида Юзефовича «Князь ветра» и был признан настоящим/будущим *национальным бестселлером* всего двумя голосами — Павла Крусанова и Елены Шварц — из пяти членов жюри (при отсутствующем шестом).

Наум Лейдерман. «Уходящая натура», или Самый поздний Катаев. — «Октябрь», 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

«Уже написан Вертер».

«**Либеральное движение — атеистическое, как КПСС**». Беседу вел корреспондент «Вести.Ru» Дмитрий Старостин. — «Вести.Ru». Ежедневная интернет-газета. 2001, 28 мая <<http://www.vesti.ru>>

Говорит **Аркадий Мурашев**, глава московского отделения СПС: «Коммунизм сделал все, чтобы веру в Бога в России вытравить. Либеральное движение унаследовало это в полной мере. Оно такое же атеистическое, каким была КПСС. К сожалению. Я думаю, что со временем положение изменится. Кстати говоря, СПС отличается от ДВР еще и тем, что в СПС людей, серьезно относящихся к этой проблематике, уже больше, чем в ДВР. Это уже хорошо. А в „Единстве” еще больше».

Эдуард Лимонов. Ужасный сон Вождя. — «Лимонка». Газета прямого действия. 2001, № 169, май.

«В день взятия власти выйду на центральное телевидение с двумя обрезанными (так в тексте. — *А. В.*) головами, неся их за скальпы. Грохну их об стол, сяду, и мертвая тишина воцарится в государстве...» Нет, нет, не пугайтесь, это всего лишь *сон* руководителя НБП — *с ужасом проснулся, пошел и записал*. «Мне всегда казалось, что в Лимонове есть одно чувство — чувство справедливости и достаточно справедливый взгляд на мир», — это добрая **Мария Розанова** выступила в защиту арестованного писателя («Лимонов — не носитель зла» — «День литературы», 2001, № 6).

Владимир Личутин. Миледи Ротман. Роман. — «Наш современник», 2001, № 3, 4, 5, 6.

Любострастие.

Владимир Личутин. Писатель и власть. — «День литературы», 2001, № 6, май.

«А что мы [члены Союза писателей России] имеем от[того, что находимся в] оппозиции, кроме гордого сердца?»

Любимая игра Дины Рубиной. Беседу вела Ольга Дунаевская. — «Московские новости», 2001, № 22, 29 мая — 4 июня.

Дина Рубина снова в Москве. У нее свой сайт: <http://www.dinarubina.wallst.ru>

Александр Маркович. Надежда Григорьева берет интервью у Александра Эткинды. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 5 <<http://novosti.online.ru/magazine/zvezda>>

«А я не считаю, что деньги — это симулякр. Вообще, мало что симулякр. <...> И даже наше интервью сейчас — это не симулякр, как и деньги, которые вам за него заплатят», — говорит Эткинд.

Андрей Медушевский. Бонапартистская модель власти для России. — «Вестник Европы», 2001, том 1.

Наполеон. Де Голль. Путин.

Александр Мелихов, Андрей Столяров. Солнце мертвых. — «Октябрь», 2001, № 5.

Столяров — Мелихову: «Зачем им (старшекласникам. — А. В.) „Роман с простатитом“, представляющий собой эхо Виктора Ерофеева?» Мелихов согласен — ни к чему, но он мог бы прибавить: Ерофеев — фантаст, а я — реалист.

Сергей Михалков. «Я живу надеждой...». Беседовала Нина Метельская. — «День литературы», 2001, № 6, май.

Говорит автор гимна Советского Союза и гимна России: «При Сталине страна стала благополучной державой». См. также сайт: <http://www.stalinism.da.ru>

Наркомания в России: угроза нации. — «Круг жизни». Приложение к «Независимой газете». 2001, № 9, 11 мая.

Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике (Москва, 2001 год): «Если время будет упущено, то Россия прочно займет в мировом сообществе место „наркогосударства“, к которому будет соответствующее отношение со стороны других стран».

Андрей Новиков. Точка плавления. Антропологическая революция демократии. — «День литературы», 2001, № 6, май.

«Мне уже приходилось высказывать странное наблюдение, сделанное еще в начале 1990-х годов: *демократы повернули историю вспять*. Смена ориентиров начиная с 1985-го и кончая концом 1990-х словно повторяла развитие начала XX столетия, но... в обратном направлении: сначала андроповско-горбачевский неосталинизм („наведение порядка“), затем идея НЭПа и „социалистической демократии“ (поздняя перестройка), затем идея Февральской революции, затем идеализация Столыпина и Николая II, затем идеализация Александра III...»

Борис Носик. «Кто ты? — Майя». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

Майя Кудашева о своем знаменитом муже Ромене Роллане: *он был дурак!*

Евгений Носов. «Отвалите камень!» Речь на вручении премии Александра Солженицына. — «Литературная газета», 2001, № 19-20, 16 — 22 мая.

«Но и то благо — [в конце XX века] нас минула гражданская междоусобица, ибо нет ничего страшней, кровавей и противонародней, чем зло этой неукротимой стихии. <...> Был предгроховой момент, когда в окнах наших домов едва ли не высветились зловещие всполохи гражданской схватки. В громкоговорителях уже было загромыхал площадной мат, заклацали обтертые от смазки оружейные затворы. Неким воспаленным головам, самовозбужденным революционной психотропией, очень не терпелось поскорее подпалить фитиль, чтобы по столичным улицам и переулкам помчался багровый пузырящийся поток, неся в своих кроворотках детский башмак, плюшевого Винни-Пуха или резиновую пустышку...» Речь **Александра Солженицына** на этой церемонии см. — «Новый мир», 2001, № 5.

Остановить либеральную революцию. Беседа Александра Проханова и Глеба Павловского. — «Завтра», 2001, № 19, 7 мая <<http://www.zavtra.ru>>

Говорит **Глеб Павловский:** «Мы во второй раз попадаем в капкан, из которого Советский Союз, в сущности, так и не вышел: быть наследником того, кого ты убил. СССР уничтожил Россию и полвека ее переваривал, но так ее и не переварил. А теперь РФ — формально — наследник Советского Союза, который был уничтожен восстановлением российского суверенитета».

Теоретически возможен еще один наследник/убийца уже Российской Федерации — гипотетическое европейское русское национальное государство.

Виктор Перельман. Краткое опровержение мифа о детях. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Детей не существует.

Николай Переяслов. Современная русская литература перед необходимостью обновления. — «Север». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал. Учредитель — Правительство Республики Карелия. Тираж 1100 экз. Петрозаводск, 2001, № 1-2.

Того народа, к которому апеллируют русские писатели, больше нет. Русскому писателю нужно иметь перед глазами пример не Валентина Распутина, а Виктора Пелевина, потому что Распутин пишет для «своих», «а нам надо выигрывать битву — у чужих». См. также полемическую рецензию Михаила Эдельштейна на книгу Николая Переяслова в следующем номере «Нового мира».

Евгений Пономарев. Соцреализм карнавалыный. Василий Аксенов как зеркало советской идеологии. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

«Возвращение Аксенова в русскую литературу напоминает возвращение Горбачева в российскую политику».

Светлана Попова. Право на оружие. — «Известия», 2001, № 114, 29 июня.

«— Лишение населения права на оружие — признак страха власти перед народом, — заявил [в Центре имени Андрея Сахарова] представитель оргкомитета [движения „За право граждан на ношение оружия“] Андрей [Викторович?] Василевский», *который является тезкой/однофамильцем составителя настоящей «Периодики». Юмор ситуации в том, что и составитель «Периодики» — Андрей Витальевич Василевский — вполне симпатизирует целям упомянутого выше оргкомитета.*

Протонный лучемет — к бою! Петербургский ученый, изобретатель, писатель Виктор Новиков выпустил книгу, которую назвал «Оружие III мировой войны...». Беседу вел Борислав Михайличенко. — «Московские новости», 2001, № 22, 29 мая — 4 июня.

Оружие возможно. Война неизбежна.

Александр Проханов. Дума взмахнула топором русофобии. — «Завтра», 2001, № 21, 23 мая.

«Было бы правильным запретить в России слово „антисемитизм“ как разжигающее национальную рознь...»

Вячеслав Пьецух. Два рассказа. — «Вестник Европы», 2001, том 1.

«Чудо-юдо» и «Старуха Изергиль».

Разговор о войне. Беседу вел В. Н. Шкурко. — «Русский дом», 2001, № 3 <http://www.rusk.ru/Press/Rus_home>

Говорит(л) **Вадим Кожинов:** «Вот, допустим, было французское Сопротивление. Подсчитано, что примерно 20 тыс. французов, партизан и подпольщиков, погибло за годы войны. Но одновременно выяснено, что по меньшей мере 40, а по более вероятным данным, 50 тыс. французов погибли, воюя на стороне Германии. Не говоря уже о том, что была создана добровольческая французская дивизия СС, которая называла себя „Шарлемань“, — это по-французски значит „Карл Великий“, император, который, кстати, одновременно создал и Германию, и Францию. Это европейское единство Оно уходит корнями в IX век...»

Станислав Рассадин. Похвальное слово черновикам. — «Литература», 2001, № 20, 23 — 31 мая.

Батюшков — «черновик» Пушкина, Квитка-Основьяненко — «черновик» Гоголя

Рустам Рахматуллин. Небо над Москвой. Второй Иерусалим Михаила Булгакова. — «Ex libris НГ», 2001, № 18, 24 мая.

«Если роман [Достоевского] „Бесы“ есть опыт экзорцизма, изгнания бесов, то Булгаков, наоборот, привел их в небо над Москвой. Но метафизик города не всегда может обойти тяжкую книгу Булгакова [„Мастер и Маргарита“] стороной...» См. еще один метафизическо-московедческий очерк Рахматулина «Облюбование Москвы» в следующем номере «Нового мира».

Мария Розанова. Кавказская пленница. Таковой, увязнув в Чечне, постепенно становится Россия. — «Независимая газета», 2001, № 82, 11 мая.

«Когда-то мы завоевывали Кавказ, сегодня Кавказ захватывает нас».

Россия не будет католической. Беседу вел Мариуш Сельский. — «Новая Польша», 2001, № 4 (19).

Говорит начальник независимого Российского региона Общества Иисуса (Ордена иезуитов) отец **Станислав Опеля:** «Центры Общества Иисуса в Москве и в Новосибирске безусловно создаются с ориентацией на университетскую среду...»

Владимир Санько. Фред Харрисон: «Налоги снижают стимулы к труду». Английский ученый уверен, что они должны быть заменены рентной платой. — «Независимая газета», 2001, № 90, 23 мая.

Говорит директор Центра изучения земельной политики **Фред Харрисон** (Великобритания): «Когда же феодальная аристократия ее (земельную ренту. — *А. В.*) приватизировала, то государству пришлось искать другие источники доходов, например подоходный налог. То есть налоги — это решение, которое принимается от безвыходности. <...> И вот уже двести лет мир живет с налоговой системой, а все ее отрицательное влияние направлено на тех, кто каждый день должен ходить на работу. И хотя экономика развивалась, это происходило не благодаря введению налоговой системы, а вопреки».

Всеволод Сахаров. Немецкий студент, симбирский помещик Владимир Ленский... — «Литературная Россия», 2001, № 22, 1 июня.

Николай Языков (1803 — 1846) — один из героев «Онегина».

Александр Севастьянов. Россия и русские. — «Независимая газета», 2001, № 92, 25 мая <<http://www.ng.ru>>

«Есть несколько пунктов, по которым, как показывает практика многочисленных публичных (в том числе в Госдуме) дебатов, русские расходятся с нерусскими. Во-первых, это признание русского народа не только коренным и титульным, но и единственным государствообразующим на всей территории России. <...> Во-вторых, это признание России мононациональной, а не „многонациональной“ страной. <...> Согласно международным нормам, государство, в котором не менее 67 процентов населения представлено одной национальностью, является мононациональным. <...> В-третьих, бесконечно важнее поддерживать не абсолютную численность русского народа (нам приходилось веками удерживать гораздо большую территорию гораздо меньшим числом жителей), а его удельный вес в составе страны. <...> В-четвертых, болезненную реакцию нерусских вызывает утверждение о праве единого русского народа, оказавшегося в разделенном положении, на воссоединение. Даже мирным путем и в полном соответствии с международным правом. <...> В-пятых, нерусские даже и слышать не хотят о геноциде, которому были подвергнуты русские в XX веке, и о необходимости преодоления его последствий. <...> Точно так же нерусские возражают против причисления русского народа к числу репрессированных народов, имеющих право на реабилитацию со всеми вытекающими из этого политическими и экономическими последствиями. <...> В-шестых, русофобия необходимо рассматривать как тяжкое преступление против безопасности государства (сегодня она рассматривается в порядке ст. 282 УК РФ как преступление средней тяжести, и за нее еще никого не осудили). <...> Но нерусские даже и слышать не хотят о такой постановке вопроса. Таковы основные принципиальные позиции, по которым русским не удается достичь взаимопонимания и согласия с нерусскими в России». См. также статью Михаила Кузнецова «Дискриминация» («Независимая газета», 2001, № 22, 8 февраля) о проблеме русских национально-культурных автономий.

Ср. тезисы *национал-демократа* Севастьянова с мнением *евразийца* **Александра Дугина** («Независимая газета», 2001, № 95, 30 мая): «Русские не являются этнической и расовой общностью, имеющей монополию на государственность».

Игорь Сид. «Мадагаскар, страна моя!» — «Книжное обозрение», 2001, № 18 — 19, 7 мая <<http://www.knigoboz.ru>>

Куратор Крымского геопоэтического клуба — об образах Мадагаскара в русской литературе. «По мнению прозаика и психотерапевта Александра Грановского, слово „Мадагаскар“ благодаря четырем „а“ обладает определенным гипнотическим свойством, являясь некой ловушкой сознания или даже „русской мантрой любви“...» См. также сайты «Мадагаскарский проект» — <http://www.madagascar.liter.net> и «Африкана.ру» — <http://www.africana.ru>

Ольга Славникова. Наши ресурсы. О полезных и вредных ископаемых. — «Октябрь», 2001, № 5.

Инвентаризация *топоров* — для варки литературного супа.

Илья Смирнов. Пузыри. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture/textonly>>

«Если писать о „художнике [Олеге] Кулике” под рубрикой „Искусство”, то не имеет значения, ругаешь ты его или хвалишь. Ты поддержал его уже тем, что назвал „художником”...»

И. Сольский. Писатель под запретом. Публикация Рашита Янгирова. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4366, 24 мая <<http://www.rusmysl.ru>>

«Так погиб человек, который справедливо может быть назван наиболее выдающимся писателем нашей эпохи, погиб потому, что не захотел повергнуть свой талант к ногам тирана». Небольшая статья о Михаиле Булгакове из газеты „Голос Крыма” (1943, 23 мая), выпускавшейся под эгидой немецких оккупационных властей в Симферополе в 1941 — 1943 годах.

Борис Сосновский. Колыванское восстание против коммунистов (Западная Сибирь, 1920). — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4367, 31 мая.

Земля — крестьянская, но хлеб — «комиссарский».

Стоматологи с телекамерой. Беседа Александра Соколянского с Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство кино». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

Д. Д.: <...> Известно же, к примеру, что генералы КГБ, включая Андропова, очень любили ходить в Театр на Таганке. И просто обожали песни Высоцкого.

А. С.: „Меня зовут к себе большие люди, чтоб я им пел „Охоту на волков”...”

Д. Д.: Вот именно! И Владимир Семенович, и многие другие прекрасно понимали, в какой стране они живут. Тут все генералы КГБ — чуточку диссиденты...

А. С.: А все диссиденты — чуточку кагэбэшники?

Д. Д. (опять смеется): Да, это страшная фраза... особенно если думать о модернизации российской жизни. Но я готов увидеть ее напечатанной».

Ян Стшалка. Ловушка для мух. — «Новая Польша», 2001, № 4 (19).

«Асар Эппель — прозаик загадочный...»

Игорь Сухих. Живаго жизнь: стихи и стихии. (1945 — 1955. «Доктор Живаго» Б. Пастернака). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 4.

«В мире „Живаго” есть новый век, но нет „серебряного века”, есть многочисленные размышления об искусстве, но нет самого нового искусства. <...> Автора „Близнеца в тучах” и „Поверх барьеров” для поэта Живаго тоже не существует».

Татьяна Толстая. Квадрат. — «Время MN», 2001, № 80, 16 мая <<http://www.vremyamn.ru>>

«[„Черный квадрат” Малевича] возвещает конец искусства, невозможность его, ненужность его, он есть та печь, в которой искусство сгорает, то жерло, в которое оно проваливается, ибо он, квадрат, по словам Бенуа, <...> есть „один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через посприание всего любовного и нежного приведет всех к гибели”. <...> Я числюсь „экспертом” по „современному искусству” в одном из российских фондов, существующих на американские деньги. Нам приносят „художественные проекты”, и мы должны решить, дать или не дать денег на их осуществление. Вместе со мной в экспертном совете работают настоящие специалисты по „старому”, доквадратному искусству, тонкие ценители. Все мы терпеть не можем квадрат и „самоутверждение того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения”. Но нам несут и несут проекты очередной мерзости запустения, только мерзости, и ничего другого. Мы обязаны потратить выделенные нам деньги, иначе фонд закроют. А он кормит слишком многих в нашей бедной стране. Мы стараемся по крайней мере отдать деньги тем, кто придумал наименее противное и бессмысленное. <...> После очередного заседания мы выходим на улицу и молча курим, не глядя друг другу в глаза. Превращение *искусной писательницы в ломового публициста* (именно так — с переменной полой) крайне огорчило/раздражило **Дмитрия Бавильского** («Круг (оммаж квадрату)» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>), но сердится он напрасно: публицистика/эссеистика Татьяны Толстой лучше ее «Кыси».

«...И в связи с этим я бы тоже поубавил (свои в том числе) восторги по поводу этого мастерского текста [Татьяны Толстой], — пишет **Никита Елисеев** („Новая русская книга”, 2001, № 6). — В сущности, перед читателями — роман-фельетон вроде замечательного в своем роде „Хулио Хуренито” Ильи Эренбурга. Но „Хулио Хуренито”

был актуален тогда, когда он писался, а роман „Кысь” — неактуален, что для романа-фелетона — убийственно».

«Роман ее в рукописи успел устареть, умереть и переродиться, став символом уже иного общества и иных, [антиреформаторских, антилиберальных], настроений, — уверен **Владимир Бондаренко** („День литературы”, 2001, № 6), считающий, кстати, что Татьяна Толстая *сама похожа на кысь*. — И потому нынешние либеральные санитары могут, учуя в книге запах ностальгии, возмутиться, подобно персонажу из „Кыси”: „Это пахнет газетой „Завтра”! Душок! Не в первый раз замечаю! Пахнет!” И что Татьяна Толстая ответит? Как будет оправдываться? Такие случаются приключения с книгой, ежели она пишется четырнадцать лет вдали от родины».

Дмитрий Хмельницкий (Берлин). Фашизм во имя антифашизма. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4366, 24 мая.

«Получается, что в стране, которая потеряла 40 — 60 миллионов в результате коммунистического террора, можно ходить с красным знаменем и красной звездой. <...> А доморощенных балаганных нацистов, одурченных мальчишек, надо убивать ногами. За этим якобы антифашизмом стоят циничная сталинская двойная мораль и вполне фашистский призыв к погромам. Обратим внимание: речь идет не о самообороне против хулиганов. Тут милиция справляется. Убивать следует за жесты и использование символики. Для этого поэт Григорий Поженян предлагает [в „Литературной газете”, 2001, № 17 — 18] создавать штурмовые отряды из людей „с чистыми руками и чистой совестью”, прошедших Афганистан и Чечню...»

Михаил Ходаренок. Зенитные ракетные страсти. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 5.

Эта армейская повесть, по предположению М. Ремизовой («Независимая газета», 2001, № 93, 26 мая), приглянулась питерскому журналу своей *соразмерностью*: и саркастической критики хватает, но налицо и жизнеутверждающее начало.

Александр Храмчихин. В России партий нет, но завтра они должны появиться. — «Знамя», 2001, № 5.

«Русский правый должен ощущать себя гражданином России, а не СССР и не США (или мира). Русский правый должен понимать, что тезис „в советское время было много хорошего” — наглая ложь. Коммунистический режим был преступен целиком и полностью, и страна в целом прожила 73 года зря. При этом десятки миллионов жителей СССР не стали соучастниками преступлений большевиков и остались людьми в условиях одного из самых бесчеловечных режимов в истории. Эти люди не просто прожили не зря — они совершили подвиг, которого никто не заметил (особенно они сами). Они свергли поистине антинародный режим КПСС. И не надо ставить русским в пример немцев, которые „покаялись” за преступления Гитлера. Попробовали бы они не покаяться под дулами танковых пушек трех крупнейших армий мира! Русские свергли своих большевиков сами, поэтому им не надо каяться и оплакивать напрасно прожитую жизнь. Русский правый должен понимать, что эпоха Ельцина — это начало возрождения России. Первый президент дал нам всем возможность стать свободными людьми — впервые в русской истории. Осталось только реализовать эту возможность. <...> Мы нужны только и исключительно самим себе. И мы должны научиться уважать самих себя, чтобы нас начали уважать другие. И наконец, русские правые обязаны объединиться и начать всерьез отстаивать свои интересы».

«В патетической части статьи (впрочем, ее курсивные „метастазы” пронизывают и деловую) выясняется, что строгий аналитик Храмчихин — все-таки идеалист и романтик: настоятельная необходимость появления в России реальной политической системы кажется ему достаточным условием для ее появления», — комментирует **Александр Агеев** («Время МН», 2001, № 88, 26 мая).

Алексей Цветков[-«младший»]. Призрак антиглобализма. — «Завтра», 2001, № 21, 23 мая.

Приведу одну из записей в гостевой книге на сайте газеты «Завтра»: «24/05/01 14:41:35 — Sapiens: Думаюшм. Из статьи [Цветкова] следует, что антиглобалистами были и „красные кхмеры”, а [предводитель индейского восстания на юге Мексики] команданте Маркос — просто Пол Пот номер два. Наверное, большинство обывателей предпочтет хоть как-то жить при „глобализме”, чем получить мотыгой по черепу во имя борьбы с ним».

Александр Ципко. Ослепление и наказание. Итоги и смысл русского антикоммунизма. — «Литературная газета», 2001, № 21, 23 — 29 мая.

«Действительно, нелегко признаться себе, что твоя интеллигентская свобода и твое личное преуспеяние куплены ценой обнищания, деградации, преждевременной смерти,

просто ценой мук и страданий твоих соотечественников. <...> Или отказаться от христианского „не убий” и одновременно от ценностей европейского гуманизма, или согласиться с тем, что наша последняя демократическая революция в гуманитарном смысле не удалась, была бесчеловечной. Лично я выбираю второе».

Георгий Циплаков. Что в «Матрице» тебе моей? — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 5. «Матрица» как экранизация философии Э. Гуссерля.

Мария Чегодаева. Я с вами до скончания века... — «Знание — сила», 2001, № 4. Компьютерные изображения лика на Туринской плащанице и иконы Пантократора из монастыря Святой Екатерины на Синае (одного из первых «портретных» образов Иисуса) полностью совпали, что возможно только с изображениями одного и того же человека. Очерк ранее публиковался в «Общей газете» (№ 52/1, 26 декабря 2000 — 10 января 2001 <<http://www.og.ru>>).

Эмиль Мишель Чоран. Молитва неверующего. Записные книжки 1957 — 1972 годов. Предисловие и перевод с французского Бориса Дубина. — «Дружба народов», 2001, № 5.

«1958. <...> Россия! Я всем существом тянусь к этой стране, которая превратила в ничто мою родину (Румынию. — А. В.)».

Лидия Чуковская. Памяти Тамары Григорьевны Габбе. Вступление, публикация и комментарии Е. Ц. Чуковской. — «Знамя», 2001, № 5.

«Тусенька была первым интеллигентным религиозным человеком, с которым я встретилась в жизни...» Отрывки из дневников 1944 — 1960 годов. Отрывки из воспоминаний 1960 — 1961 годов.

Игорь Шафаревич. По пути трагедий. Беседу вел Владимир Бондаренко. — «Завтра», 2001, № 21, 23 мая.

«Сейчас кажется, что у России нет шансов выжить, очень мощное давление Запада, но я уверен, что это давление скоро закончится, главное — выдержать».

Игорь Шевелев. Митя из «Митинога журнала». — «Время МН», 2001, № 83, 19 мая.

Говорит писатель, переводчик, сотрудник радио «Свобода» **Дмитрий Волчек** (род. в 1964): «[„Митин журнал”] выходит с января 85-го года, это единственный журнал доперестроечного самиздата, сохранившийся до сих пор. Секрет живучести, вероятно, прост: я его делаю один и на свои собственные деньги. <...> Решетников, Костьлева, Масодов, Осипов, Маргарита Меклина, Ярослав Могутин — это новый круг авторов „Митинога журнала”, люди, которые пишут без правил. В одной из рецензий на роман Сэмюэла Дилени „Хогг” была такая фраза: „Когда я читал эту книгу, мне казалось, что со страниц сползают черви и прыгают ко мне на колени”. Вот такого эффекта мне хотелось бы добиваться в каждом номере журнала». Полный текст беседы с Дмитрием Волчком можно прочитать на сайте <http://www.ishevelev.narod.ru>

Ян Шенкман. Толстые и Достоевские? — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/news>>

«Не вызывает сомнения, что среди красных разных оттенков есть писатели крупные, значительные (те же Астафьев с Распутиным), но последний текст Проханова...» Это Астафьев — *красный?*

Герман Штрумпф. Воронцов бросает на Пушкина всю азиатскую саранчу. — «Субботник НГ», 2001, № 21, 2 июня.

Пушкин и насекомые.

Татьяна Щербина. Берлин и Психея. — «Вестник Европы», 2001, том 1.

«Циклотимия, в выраженном виде свойственная Москве, затянула Берлин по крайней мере на сотню лет...» См. также «Прогулки по Берлину» Марка Печерского («Интеллектуальный Форум», 2001, № 4 <http://www.russ.ru/ist_sovr/if_IY.html>).

Михаил Эпштейн. De'but de siècle, или От пост- к прото-. Манифест нового века. — «Знамя», 2001, № 5.

«Мне это мироощущение [*fin de siècle* 'я] было близко примерно до 1992 — 1993 годов, после чего я почувствовал притяжение нового века...» Квазиманифест, дополнен замечательным квазилексиконом новых понятий XXI столетия. См. в следующем номере «Нового мира» полемический отклик Валерия Сендерова.

Сергей Юрский. Четырнадцать глав о короле. — «Октябрь», 2001, № 5. Король — Товстоногов.

Игорь Яковенко. Россия в Европе. — «Вестник Европы», 2001, том 1.

Любые общества и любые культуры смертны. Жить — значит изменяться.

ЛИКБЕЗ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

ПОПРАВКА: в апрельском выпуске «Периодики» за этот год (стр. 226, 13 строчка сверху) следует читать: «Аким Арутюнов. Кто был настоящим отцом Ленина. Тайна семьи Ульяновых раскрыта? — «Независимая газета», 2000, № 241, 21 декабря». Составитель «Периодики» приносит свои извинения автору статьи за неточное воспроизведение его имени.

ДАТЫ: 29 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Аркадия Викторовича Белинкова (1921 — 1970).

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

5 лет назад — в № 9, 10, 11 за 1996 год напечатан роман Антона Уткина «Хоровод».

10 лет назад — в № 9 за 1991 год напечатан роман Андрея Платонова «Счастливая Москва».

25 лет назад — в № 9, 10 за 1976 год напечатан роман Георгия Семенова «Вольная натаска».

55 лет назад — в № 9 за 1946 год напечатан Доклад тов. А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

60 лет назад — в № 9 — 10 за 1941 год напечатана речь Председателя Государственного Комитета Оборона и Народного Комиссара Оборона товарища И. В. Сталина на Красной площади в день XXIV годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

70 лет назад — в № 9 и 11 за 1931 год напечатаны главы из романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

1

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе.
Я ждал ее, как можно ждать любя.
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И день настал, закончилась война.
Я шел домой, навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

.....

5

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнуть из жизни.
А жил я там, где сер и сед,
Подобный каменному бору,
И голубой, и в пепле лет
Шумит, поет великий город.
Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что пережил я все и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

«Новый мир», 1945, № 9.

SUMMARY



This Issue contains the novel «Love to fatherly graves» by Aleksander Melikhov, stories by Georgy Petrov, and also a text «Tricotage», written by the culturologist and literary critic Aleksander Genis, the genre of which is named by the author as «an auto-version». The poetry section includes new poems by Sergey Stratanovsky, Tatyana Milova, Tatyana Beck and Sergey Ostrovoy.

Under the heading «From Heritage» the poet and literary critic Aleksey Smirnov publishes the material «Prutkoviada» (named after the mythological popular literary figure of the XIX century Kozma Prutkov).

The section «Essays» includes a new cycle of short texts «Life as Remake» by Olga Shamborant.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» is published the text of the Sergey Averintsev's speech «The Problem of Overcoming the Totalitarian Regime: an Attempt of Orientation».

Vladimir Osheroev is responsible for the permanent section «Letters from Far Away».

Literary critique is represented by Vitaly Kaplan's article «Let's Glance over the Wall. The Topography of the Contemporary Fantastics», Larisa Miller's essays «The Angels' Tea-drinking» and «My Pushkin» and also by Aleksey Smirnov's essay «For the Name of».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.2001 г. Подписано к печати 26.07.2001 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 350 экз. Зак. 2360. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ.
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена Благотворительным Резервным фондом и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2001 года.

Состав жюри:

**МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
АНДРЕЙ ВОЛОС, прозаик,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда,
ОЛЬГА НОВИКОВА, прозаик,
зам. зав. отделом прозы «Нового мира»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА, прозаик, эссеист.**

**Координаторы премии:
главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

Сумма премии — 3000\$.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии произойдет в январе — феврале 2002 года.

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru